НОВАЯ ИСТОРИЯ

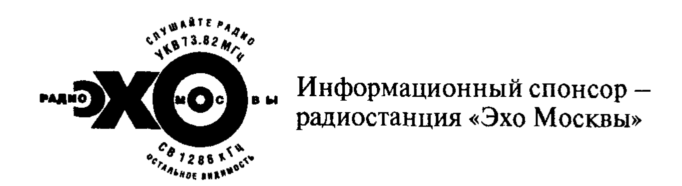
ВИКТОР
БЕРДИНСКИХ

Крестьянская цивилизация в России



Москва
2001

Книга печатается в авторской редакции



Информационный спонсор –
радиостанция «Эхо Москвы»

Бердинских В.А.

Б 483 Крестьянская цивилизация в России. – М.: «Аграф», 2001. – 432 с.

Книга, основанная на воспоминаниях о жизни, быте, нравах, обычаях, верованиях русского крестьянства, представляет собой попытку нравственно-философского осмысления последствий одного из самых драматичных социальных сдвигов XX века, который принято называть раскрестьяниванием России. Это первая книга по устной истории в России.

ББК 63.3

ISBN 5-7784-0182-5

МНОГОГОЛОСИЕ

> Какая жизнь отликовала,
> Отгоревала, отошла!
> И все ж я слышу с перевала,
> Как веет здесь, чем Русь жила.
>
> *Н. Рубцов*

В XX веке Россия раскрестьянилась. Ушел в прошлое огромный материк русской народной культуры, лишь сейчас осознаваемый нами как величайшая ценность. Но крестьянская цивилизация, создававшаяся в нашей стране сотни лет, имеет в лице ныне живущих стариков своих последних свидетелей. Еще живы люди, пахавшие по единоличному, мерившие день уповодами, а год — постами и мясоедами, находившиеся внутри великого круговорота природы. Их рассказы о прошлом драгоценны, поскольку они видят тот, оставленный в прошлом мир изнутри, а не снаружи, как мы.

Для нас пока непредставимы ценности этого мира, его пневмосфера, миропонимание людей, то есть — то идеальное, что не фиксируется ни в каких документах, поскольку это повседневность, но для нас сейчас загадочно не менее, чем сокровища скифских курганов. Соха, выставленная в музее, мертва, поскольку пахарь, для которого она была частью жизни, никогда

уже не покажет нам своей работы. Но наши старожилы, родившиеся в начале этого века, еще могут многое рассказать. Постараемся увидеть мир крестьянской России первой половины XX века, воссозданный на основании такого рода рассказов стариков-крестьян. Мы можем увидеть самое ценное и самое главное, то — без чего мертвы горы специальной информации об эпохе — ОТНОШЕНИЕ людей друг к другу, природе, одежде, пище, власти. Попытаемся взглянуть на мир крестьянской культуры как на остановленное время, самостоятельную ценность, а не преддверие нашего дня. Это был гигантский, полнокровный, бурлящий мир, в котором жили.

Устная история — новое и замечательное течение в исторической науке России 1990-х годов — стала для меня компасом в этой работе. Многое пришлось делать впервые. Слишком уж необычен исторический опыт России в XX веке.

Это авторская работа... Единственным источником для нее послужили рассказы моих земляков-вятчан. Опрос велся по строго определенным и нацеленным на структуру этой книги программам. Большую помощь в сборе рассказов мне оказали вятские студенты, за что выражаю им искреннюю благодарность. Все, что пережила Россия, отразилось в ее вятской глубинке, поэтому я уверен — источниковая база вполне достаточна. История России преломилась в судьбе каждого отдельного человека. Великие испытания человечности в XX веке выпали на долю русского народа. Да, эти рассказы субъективны, пристрастны, глубоко личностны. Но именно в этом их ценность. Они честны и исповедальны. Хитрить и изворачиваться перед лицом вечности никто не желает. Тайна ушедшего времени не раскрыта и не раскроется, но мы видим в этом многоголосии попытки людей понять ее на склоне лет. Нам от-

крывается огромная вселенная, скрытая в каждом человеке. Порой под слоем пепла времени горят угли непогасших страстей. События переживаются в их незавершенности. Мать, и через 40 лет после войны ждущая погибшего сына... Это реальность. Мы не имеем права судить ушедшие поколения со своей колокольни, мы должны понять их, исходя из их системы ценностей.

И последнее. Исторический путь России в XX веке уникален. Политическая судьба ее беспримерна. Мы еще только-только начинаем осознавать — что же произошло за минувшие десятилетия с нашим народом. В честном осмыслении нашего пути нуждается весь мир. Без этого он не сможет развиваться дальше. А история России? История России состоялась, как состоялись судьбы миллионов ее сограждан, прошедших горнило тяжелейших за всю ее тысячелетнюю историю испытаний и оставшихся людьми, сохранивших великий дар человечности. Сможем ли мы передать его дальше? Вероятно, только в том случае, если осознаем утраченные ценности жизненно необходимыми в будущем. Об этом и речь...

РАЗДЕЛ I

МИР, В КОТОРОМ ЖИЛИ

Глава 1. ПРИРОДНЫЙ ОКОЕМ

ВОКРУГ ДЕРЕВНИ

Крестьянская цивилизация... Понять населяющих ее людей нам ой как не просто. Тогда, может быть, мы просто послушаем их. Послушаем без привычной снисходительности и самодовольства, а с тем тревожным вниманием, которое появляется, когда говорят, ну хотя бы об инопланетянах. Войдем в круг жизни этих людей, проникнемся их мыслями и чувствами, и тогда, может быть, многие из нас позавидуют гармонии и цельности этого мира, наполненности его осмысленным, приносящим радость трудом, достойному месту человека в этом мире, единству человека и природы.

У крестьянина, по меткому выражению писателя Глеба Успенского, жизнь полнехонька до краев: «...В своем доме он вникает в каждую мелочь, у него каждая овца имеет имя, смотря по характеру, он не спит из-за утки ночи, думает о камне и так далее... В мыслях, поступках, в словах Ивана Ермолаевича нет ни единого, самого мелкого, который бы не имел основания самого реального и для Ивана Ермолаевича объяснимого, — тогда как моя жизнь постоянно, на каждом шагу, пере-

полнена и мыслями, и поступками, не имеющими никакой связи».

И, пожалуй, самая прочная, самая коренная, самая капитальная связь русского крестьянина — это связь его с окружающей природой. Он вряд ли отделял себя от нее. Лишь сегодня, когда потеряна эта ценность, наши старики-современники могут сказать, например, так: «Природа была прекрасной: много лесов, лугов, небольших озер, рек и речек, и еще больше ключей и родничков. Сена на лугах снимали в два раза больше, чем сейчас. 90 процентов хозяйств могли содержать лошадь, до двух коров, до десятка овец или коз, свиней. Короче говоря, круглый год обеспечивали себя мясом, маслом, молоком и еще возили продавать в город. И этому способствовало бережное, человеческое отношение к окружавшей его природе. Регулярно все, от малолетних до стариков, выходили на вырубку кустарников на лугах, зарослей возле пашен, чистку деревенских улиц, речушек, ключей. Вода была чистая, как слеза. Рыбы было множество, никто не злоупотреблял. Надо на уху — сходишь за полчаса наловишь, — и все. На сенокосе бабы снимут нижние юбки, завяжут с одного конца и таким мешком поймают с полведра рыбы, варят на всю деревню общественную уху. И не то, чтобы наестись досыта, а так... попробовать для разнообразия. Не дай Бог, кто навалит мусор в речку или озеро — насрамят. Припоминаю такой случай. Раз в нашей деревне у одного соседа подох двухнедельный жеребенок. Дело было зимой. Они свезли его на санях на лед реки Чепцы и там выбросили. Соседи тут же собрали сход и заставили отвезти все это на скотское кладбище и там закопать» (И.И.Зорин, 1918).

* После фамилии крестьянина здесь и далее дается дата его рождения. В некоторых случаях фамилия заменена инициалами или вовсе отсутствует. (*Примеч. авт.*)

И вот такая практичность, утилитарность в отношении к природе способствовала ее сохранности. В отношении к лесу, водам, лугам, ягодникам свято из поколения в поколение соблюдались определенные нормы, обычаи. Как раз дикой-то природы у деревень и не было. Хвойные деревья в русских деревнях не садили. Обычно — рябину, калину, черемуху, позднее тополя. Вся природа вокруг деревни была очеловеченная, составлявшая с этой деревней единое целое. Ведь сейчас, например, при распаде русской деревни распадается и природа, ее окружающая. Люди приезжают в родные места и не узнают их: лес, вырубленный и загаженный, обмелевшие речки, заглохшие родники, заросшие и заболоченные луга. Всякая деревня не мыслилась отдельно от своих окрестностей. Так ее и вспоминают сейчас.

«Деревня наша небольшая, всего 23 дома, расположена на берегу небольшой речки. Как сейчас вижу, вся деревня — одна улица. В верхней стороне — все дома двухэтажные, а у реки — одноэтажные. Вижу зеленую площадь, поросшую чистой травой, на которой мы каждый день играли в детстве. За домами, в сторону реки, располагались огороды. Весной река разливалась и заливала луга и поля, поэтому соломы и сена хватало скоту на всю зиму» (М.М. Булдакова, 1919).

Или вот, например: «Деревня была на 32 двора. В полкилометре течет река, метра два в ширину всего, но у деревни была сделана запруда и был широкий пруд, где мы, ребятишки, очень любили кататься на плотах. В этой же запруде купались и ловили рыбу. В общем, самое любимое место деревни летом. Кругом травы, все чисто: не было ни одного стеклышка, гвоздя. Бегали все лето босиком. Деревню огораживали изгородью из жердей: в поле и на другом конце деревни — ворота. За деревней была поскотина, пастбище с неболь-

шим перелеском. В перелеске скот отдыхал во время жары. Сейчас деревни нет совсем, все перепахано, речка заросла травой» (А.И. Бояринцева, 1911).

«Очеловечены» были не только пашня, речки, сенокосы, в которые был вложен труд многих поколений жителей этой деревни, — все окрестности ее были говорящими сердцу и уму жителя. У каждого оврага, переправы, переката, омута было свое имя — имя говорящее, которое порой так сладко катать во рту: как речную гальку, омытую водой многих веков.

«Деревня наша была на баском месте. Нашу речку пошто-то звали Крутец. Наверное, из-за того, что было шибко круто. Сбегали в нее малые речки: Водяниха, Борисовка. А вода-то в них была! Каждый камешек по цвету увидишь. А мельниц-то сколь на них было! Ерменская, Скоковская, Борисовская, Боровлянская, Ботяниха. Мельницы мололи муку на три сорта. Страсть хорошо жить, коли мельницы-то близко» (Е.И. Платунова, 1900).

Взглянем на окрестности северной вятской деревни Великий Починок Подосиновского района. В ее окрестностях речки — Талица, Озерница, Попадина. Поля вокруг — Большое, Круглое, Заполье, поле за Поршонком. Человек вкладывал в них душу, а не только сметку и ум. И эта внутренняя духовная связь крестьянина с окрестностями помогала ему жить.

Но привязанности эти были избирательны. Слушая сегодня рассказы крестьян-стариков, отчетливо видишь, что были места, к которым лежало сердце, прикипела душа, а были места, где вроде и все есть — лес, пашня, луга, а не нравилось людям. Может, и не хватало им там как раз духовной, человеческой красоты, растворенной в окрестностях. Боялись крестьяне оторваться от родных обжитых мест. Ютились порой в тесноте, малоземелье — но там, где жили их деды и

прадеды. Обойдя зимой пол-России, отходники возвращались в родные избы. Вот как Пырегова Александра Алексеевна (1900) вспоминает свою родную деревню Кычаново: «Недалеко от деревни протекали две речки с хрустальной родниковой водой — Коробовка и Сверчиха. Богатые были места лесом и зверем, птицей и рыбой. И луга заливные были, а вот земли под пахоту мало. Приходилось корчевать лес, освобождая для своих нужд землицу. Но поля... Лоскутья среди леса. Зато места были вольные. Уходить с них никто не хотел. Сыновья ставили дома рядом с отцовскими. А поднимали эти дома всей деревней. Чаще всего после страды, когда с полей все уже убрано, будущие новоселы собирали всех на помочь. Приходили семьями, здесь всем хватало работы. Мужики собирали бревна сруба, дети подносили и раскладывали по бревнам мох, женщины занимались приготовлением общего застолья. А когда дом был поднят под крышу, все заканчивалось общим весельем. За работу не платили, рассчитывались так же: помогали соседям и родственникам на тяжелой работе».

ДЕНЬ И НОЧЬ

Поражают замечания стариков-крестьян о самых простейших вещах. Если от них не отмахнуться, как от надоедливой болтовни, а вслушаться... Там есть ощущения людей, которые, идеализируя природу детства, тем не менее во многом правы. Многие из них не знают слова экология, но чистый воздух и нестесненность духа они не променяют на все прелести городской цивилизации.

Вспоминает А.В. (1905): «А вот раньше какое было приволье, выйдешь из дому — тут Суровые видно; рядом — Грудигы, Козлы, перелесок пройдешь — Вере-

щаги. Я вот не знаю, как ты в городе живешь, я бы не вытерпела, там и есть-то по-нормальному нечего. А здесь — приволье, там и дышать-то нечем».

Люди, живущие среди природы, имели и более острые многообразные зрительные, слуховые, вкусовые ощущения. Как насыщенно, полнокровно воспринимались день и ночь, зима и лето?! Е.И. Маклакова (1914) удивляется: «А ночи-то раньше какие звездные были! Месяц светил, а сейчас редко звезд увидишь. И куда подевались? Солнце стало реже показываться. Почему? Не могу понять. И дни-то раньше были яркие, светлые, особенно весной».

Ей вторит А.К. Михайлова (1911): «И ночи уж сильно темные были, не то что сейчас, а может, потому, что сейчас фонари везде стоят, не знаю уж. Почему-то кажется мне, что электричество глаза портит. А раньше рано спать ложились, темнало быстрее потому, или пряли при лучине — нащепаем их, да и прядем. А что делать-то было?»

Люди часто обращали свой взор к небу — и к дневному, солнечному, и к ночному — звездному. Они зависели от природы и с тревожным нетерпением пытались угадать — что же будет завтра. В.Б. (1916) категорично заявляет: «В общем, раньше лето было летом, а зима зимой. Летом на небе появлялись звезды. Сейчас тоже есть звезды, но тогда были другие. Они были яркими-яркими, их было больше».

ПТИЦЫ

В разное время года у людей был интерес к разным птицам. По ним сверяли приметы, создавали новые. «К птичкам я относилась хорошо. Ловила, кормила, дорожила. Была такая примета: кто потрогает воробья, будет семенастым, но все равно брали в руки, но

отпускали. Я любила даже мышей» (З.Е. Салтыкова, 1920).

Весь мир был Божий, и все живое было Божьим. Нередко именно к птицам относились с особым почтением. «В церкву ходили в воскресенье. Одевались нарядно и всей деревней шли. Из церкви приходили, и мы всегда голубей кормили. В каждом доме голуби жили, семьи по две обязательно. Голубь у нас считался священной птицей. Их не били, держали в ограде. У нас было меньше куриц, чем голубей. Летом, да и зимой, голуби по всей деревне гуляли» (Т.Ф. Татаринова, 1922).

Многие вспоминают неведомое ныне птичье изобилие. Птиц было много и самых разных: в лесу, поле, на лугах, у реки — они окружали человека, были неотъемлемой частью его мира. Птиц знали и любили. Специально ходили слушать соловья в рощу. Хорошо представляли кто за кем прилетает весной и улетает осенью. Мир без птиц стал очень ущербен. Но мы сегодня этого уже не замечаем. Мы в нем выросли.

ЗВЕРИ

Окружающие человека дикие, домашние животные были близки и понятны. Их всех хорошо знали. Умели с ними обращаться. Мы ведь сегодня многого боимся по невежеству. Т.С. Кадесникова (1931) хорошо помнит: «Ко всему живому относились бережно, нельзя было обижать ни птиц, ни скотину, ни зверей. Взрослые заставляли нас, когда улетали журавли, кричать: «Бог вам на помощь, счастливого пути!» Когда караулили овец и, если прибежит заяц, мама учила кричать: «Огонь да яма, у зайца уши в лес горят!», чтобы заяц убежал, не побежал в деревню, где его могли убить охотники. Вечером шли домой, играли, и пролетела

летучая мышь, какая-то белая. Мы за ней бегаем, но взрослые не разрешили ее ловить. Однажды караулила овечек — прибежал волк. Я испугалась, стала кричать, стучать палкой. Он постоял, посмотрел и ушел. А у соседей волк задрал собаку».

Человека трудно было застать врасплох. Он знал, в чем разница между ужом и гадюкой. Многообразие живого мира радовало, а не подавляло.

ЛЕС

Воистину отношение к лесу было трепетным. Это была Божья, священная собственность. За участком леса, принадлежавшим деревне, ухаживали как за садом. Но и давал этот сад крестьянам немало: дрова, лес для избы, доски, жерди для усадьбы, грибы, ягоды... — всего не перечислишь. А ведь тогдашняя русская деревня — это деревянное царство. От рождения (люльки) до смерти (гроба) русский крестьянин жил в деревянном мире. И были в этом свои преимущества, отчетливо видимые сегодня нам, обитателям кирпичных и панельных трущоб.

Со своим, принадлежащим деревне лесом сживались, он был родным. Нередко его использовали как выгон для скота. «А вот как мы в нашей деревне свиней выращивали. Рядом с деревней был лес — дубы, березы, так вот свиноматок и хряков мы в этот лес выпускали, и все лето они в этом лесу были, а осенью мужики все собирались и шли в лес, выгоняли свиней из лесу, а их там много было, уже поросята подрастали, такие все дикие. И вот у нас в деревне устраивали пир горой, все усадьбы мясо заготовляли» (Е.И. Емельянова, 1913).

Ольга Егоровна Стародумова (1914) помнит еще о том высоком уважении к лесу, какое жило среди людей.

Больше всего сейчас ее удручает бесцельное и безжалостное уничтожение леса. Просто так, походя! «Ну, лес, — медлит она, — лес берегли дай Боже! Указ Петра I гласил: не вырубать по берегам больших рек лес за 50 верст, малых — 20-25 верст. А сейчас не лес — а одна опушка, лес просто уничтожается. Раньше даже сук был подобран, а сейчас деловая древесина попросту гниет. 30% только используется, а остальное загрязняет окружающую среду. Помнится, вырубишь заполосок, так граблями загребаешь, босиком идешь — так ногу не наколешь».

Каждая семья имела свою долю в общедеревенском массиве. Отношение к ней было хозяйским. Е.И. Платунова (1900) рассказывает: «Леса около деревни были вот уже сколь хороши. А берегли-то как! В середнем поле лес был строевой. Идешь по нему, сосны стоят одна к одной, только в вершинах пошумливает, ровнехонькие. Разделен был на полосы. Каждый и ухаживал за ним. На дрова рубили в верхнем поле, и там был у каждого заполосник. Вырубишь сколь на дрова, весь сук подберешь. Мелочь всю осенью сжигали. Бурелом весь сразу подбирали. По заполоснику как по избе ходили, перешагивать нечего было — вот какой был порядок».

Лес, как драгоценное ожерелье, окружал хорошую деревню. Им любовались, гордились. У деревни Малая Ворона, что в Арбажском районе, и по сю пору сохранился небольшой березовый лесок (в километре от деревни), который называют «красивый березняк». Раньше все деревенские праздники летом только в нем отмечали. Березы все ухоженные, красивые, места между ними достаточно — можно и в игры играть, и хороводы водить. А землю всю в лесочке граблями прочищали, чтоб ни сучка, ни веточки не осталось. И впрямь! Какой праздник без леса!

А неписаные законы сохранения своего леса действовали в деревне лучше царских указов. Вот какой случай вспомнил Иван Иванович Зорин (деревня Зоринцы, 1918) из своего детства: «Раз мы, подростки, человек 8, пошли в лес за грибами на другой берег реки. Один умудрился тайком от родителей взять спички. В лесу от нас отделился, развел костер, набросал сырых еловых веток, дыму знаете сколько. Этот дым заметили в деревне и один мужик переехал реку на пароме, пришел в этот лесок, нашел нас. Допросил, обыскал каждого — не нашел спичек. Тут мы хватились этого парня (лет 10 ему было). Мужик заставил нас найти его и костер, а потом фуражками носить воду из болота и тушить костер. А болото в километре от леса. Потом повел нас на паром и сказал, что отведет в сельсовет, где дадут штрафу. Но не доплывая до берега метров 20, сказал: «Прыгайте в одежде в реку, тогда в сельсовет не поведу». А сейчас в лесу сутками ходишь — ни одной птицы не встретишь ни зимой, ни летом. У города в речушке ни лягушки, ни пиявки, ни другой живности... Даже муравьев не найти».

Разрушение такого хозяйского догляда произошло лишь в 30-е годы. Все стало государственным, то есть общим, то есть ничьим.

А.В. Сычугов (1920) припоминает такой случай: «У нашей деревни не было своего леса. У каждой деревни был свой лес, а мы вот были обделенными. Много леса было у Боровых, у Мосальщины, Головановых. Мы у них покупали на дрова пни, чащу. Каждая деревня за своим лесом ухаживала, растила его, никто лишнего сучка не срубит. В 30-х годах леса начали у деревень отбирать, советская власть все делала общим. И вот случай у нас такой был. Нам нужны были дрова. Взяли мы разрешение на порубку леса в Бахтинском лесничестве. Пошли рубить в головановский лес. Мужики голова-

новской деревни узнали об этом и нас — в топоры. Мы, конечно, приостановились, кто-то за лесничим убежал. Пришел лесничий Требухин и сказал: «Сейчас лес не ваш». Мужики уже ничего против не смогли сказать. Мы же полоску свою вырубили, да уехали».

А в наши дни отношение к лесу как к святыне осталось лишь у доживающих свой век стариков, для которых лес — свой, родной, близкий. Лишь они оплакивают его гибель.

Вот какие слова вырвались у 80-летней крестьянки: «Наш лес русский — сосновый бор. Да разве укладешь красоту его в какие-то слова?!» Всю жизнь лес был рядом с ними, был частью их судьбы, столь круто повернутой в XX веке.

ВОДЫ

Жизнь любого крестьянина в средней полосе России неотделима от его родной речки, ключа, пруда, любого водоема. Ведь даже с колодцем в родном дворе его связывают десятки невидимых нитей. Речка формировала ландшафт деревни, но и деревня создавала такую речку, какую ей нужно — облагораживала ее, благоустраивала. В рассказах крестьян много поэтического, много чувственного любования природой времен своего детства. И очень часто эта поэзия звучит в речи, когда они вспоминают о родной речке. Приведу лишь один такой монолог. Вспоминает Клавдия Константиновна Салтыкова (1912): «Подумай, какое прекрасное название было у деревни! Заполица! Она действительно была на склоне трех полей. И если на нее посмотреть с увала, то казалось, что эта деревня, как зеленый островок, уложенный на громадную тарелку. Дома утопали в зелени! Просматривались ухоженные улицы и дворы. Какая чистота! Реки около Заполицы не бы-

ло, но был ключ (он и по сей день есть). Ключ вытекал из основания вала. Вода чистейшая! Устроена громадная колода, в которой полоскали белье. Брали воду и для питья. За водой ходили с ведрами на коромысле и возили на тачках или салазках в бочонках. Воду, вырвавшуюся из ключа, направляли в русло, сделанное селянами. Это русло лежало за лужками одвориц южной стороны деревни. За одворицами образовалась своего рода речка с ключевой водой, текущей по устроенному руслу к реке Вое. Воя принимала воду ключа. В этом месте на крутом берегу Вои была расположена деревня Волки, а на пологом берегу — мельница, ее звали Волковская мельница. Какое это было красивое место! Вдоль пологого берега Вои раскинулись луга, в половодье они заливались водой. Травы росли прекрасные. Сколько стогов сена сметывали на этих лугах!

За ключевой речкой следили, чистили ее. Помню, за деревней Заполицей сделали небольшой пруд, в котором купались в жаркое время года. Но вода в пруду была холодной, не успевала нагреваться. Помню еще одну «услугу» ключа. В деревне, в конце лужка, строились бани. Почти у каждого дома были баньки. Так вот, в субботний день напарятся в баньке, выскочат — и бух в речку; поныряв, побулькавшись — снова обратно в баню. Красота!»

Были деревни жившие рекой. А в большинстве других деревень были свои заядлые рыбаки, которые жить не могли без реки и рыбалки. Так что река не только поила людей, землю — она еще и кормила крестьян, привязывала к себе цепко людей круглый год. Река — это отрада души и сердца человека на Руси.

ЗЕМЛЯ

В узком смысле слова для крестьянина «земля» — это пашня под хлебом, а в широком — это и луга, леса, реки... — все, что его окружало. Не в переносном, а в прямом смысле слова крестьянин кормился с этой земли. Потому и цена ей — его жизнь. Помнят об этом старики: «А земля для крестьян раньше дороже золота была. Раньше землю делили по мужикам. Да еще ведь как? Если родится парень в семье, дак ждали еще пока подрастет он лет до десяти, а то ведь, может, умрет. А потом уж стали по едокам делить. А обрабатывали-то землю ей-е-ей как! Сперва по весне вспашут, потом навозу навозят, по осени снова вспашут да проборонят. Земля-то ведь как пух станет, не то что сейчас». М.С. Семенихина (1909) также говорит о таком уважительном, чувственном отношении крестьянина к своему полю: «Чтобы земля родила, надо было за ней хорошо ухаживать. Работы было много. Только паровое поле пахали 3 раза в год: один раз весной под пар, перед сенокосом возили на него наво́з и запахивали, а третий раз пахали в августе, чтобы посеять озимую рожь. В полях, жите сорняков не было. Я вот думаю, что травы в жите не было потому, что хорошо пахали землю, не топтали ее, ведь пахали сохой, не выворачивали красную землю, старательно боронили. Я помню, как боронила за тятей (он сеял) и он не разрешал на изборонённую землю ступать даже босой ногой».

Реки и воды, леса и пашни, луга и воздух — все это жило в каком-то единстве с человеком. Культ природы был частью целостного религиозного миропонимания русского крестьянина. Вот как это проскользнуло в рассказе А.И. Русановой (1915): «Деревенька стояла в очень хорошем, благодатном месте. Вокруг были луга. Трава была такая, что когда пастух собирал коров, так

они не видны были — только одни черные спины виднелись из травы. А воздух-то какой был! Как вдохнешь — так выдыхать не хотелось. Наша деревенька-то стояла на холме, а под холмом у нас бежал родничок. Вся деревня туда по воду ходила. Было два колодезя-журавля, но как-то из них воду не очень пили — все к родничку ходили. Любовь к земле у всех была — от старых до малых. Перед севом старики выйдут в поле и «разговаривают» с землей — мнут в руках, приложат к губам и скажут потом, можно начинать сеять или нет».

Настоящий хозяин ухаживал за землей так, как не ухаживал более ни за чем в своей жизни. Вот несколько мыслей вслух об отношении крестьянина к земле. Утрилова Татьяна Ивановна (1910): «Раньше землю-матушку очень жалели. Относились к ней бережно. Пахали на быках, а где вспахать было невозможно, то вскапывали вручную лопатами. Вскапывали каждый сантиметр, не оставляли никаких огрехов».

Стародумова Ольга Егоровна (1914): «Пашни... Пашни, конечно, были, но относились к ним совсем не так, как сейчас. Ведь хозяин чувствовал себя хозяином своей земли. Пашню удобряли навозом, удобрения не признавали. Пахали на лошадке, захват плуга был маленький, не больше 25 см по ширине. Сейчас корпус берет до 40 см, пашут землю сырую и ее сдавливают как бульдозером, структура разрушается. По пашне лишний раз не пройдут, а сейчас так примнут землю, как асфальт прикатают. Все трактора такие тяжелые... Землю берегли».

Вот это крестьянское отношение к земле, как к живому существу, которое надо кормить (удобрять навозом), поить, обихаживать — главное, что следовало бы перенять из прошлого современному фермеру. Многие вспоминают, что и коров-то держали не из-за

молока и мяса, а чтобы полосу свою удобрить. Мелочей в отношении к земле не было, драгоценным было все, что растет на ней.

Ручей, калиновый куст, пядь земли — все это было огромной ценностью в глазах крестьянина. Поэтому-то узкие полоски земли в некоторых деревнях не пахали на лошади, а вскапывали лопатами, чтобы «земля в межу не укатилась». «Попробуй, ссеки на меже елку, так тебе и голову ссекут, — вспоминает о родной деревне Дарья Зиновьевна Зубарева (1913). — Вишь как было, земля-то полосами была, а между ними вьюнка (это так огород называли). Кричат: "На твоей вьюнке в поле коровы попали!" Вот и идешь опять вьюнку городить. Любили землю-то».

Эта любовь к земле драгоценна еще и потому, что была связана с пониманием взаимосвязи всего живого в природе. Как заключила Т.А. Шубина: «Я так думаю, природу понимать и чувствовать надо, а без этого никакие слова ей не помогут!»

Но крестьянин насыщал своими чувствами — радостью, тревогой, страданием, надеждой — окружавший его мир природы. И был в центре этого мира. Воистину, для него всходило солнце и зажигались звезды... И все-таки в этом мире он был не один.

Глава 2. РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ

ПОСЕЛЕНИЕ

В судьбе многих наших стариков жизнь в деревне — это светлый уголок памяти, та часть жизни, что дороже целого. Вспоминают они об этом так: «Жилось раньше не в тягость. И жилось веселее, чем сейчас ны-

нешней молодежи. Особых случаев не вспоминается из детства, памяти не стало, а вспоминается деревня, беготня босиком, птицы поют. Когда утром встанешь вместе с отцом или матерью пораньше, вместе с солнышком — солнышко всходит, везде жаворонки поют. Цветы, трава, утины за домами были; так валялись в траве на этих утинах. Черемухи стояли за каждым домом, лазили по ним. За деревней везде тропочки были, так бегали только по этим тропочкам. Траву не мяли, дороги были только лошадиные, шириной в телегу — а дальше уже посевы. Их не топтали. Хорошо жилось в деревне, хорошо было быть ребенком, сидеть на коленях отца!» (И.А. Мальцев, 1908).

Вы можете сказать — о детстве тяжких воспоминаний не бывает. Но ведь лет с 7-8 детство, в нашем понимании, кончалось. Ребята становились маленькими взрослыми и сетований на тяжелую работу в детстве хватает. Здесь речь идет о микроклимате каждого села, открытости человека навстречу природе, устойчивости духовного мира, благодатной атмосфере этих людских сообществ. Сбалансированность, притертость во взаимоотношениях была традиционной. Объединял и общий круг забот и совместный труд. Вот как говорит об этом Нина Федоровна Стремоухова (1922): «В деревне тогда были все неграмотные, не могли сами расписаться. Да и собственно — где было расписываться-то? Мои родители тоже были неграмотные. Но вот запомнилось, люди необразованные, а какие вежливые! Культура от природы, видимо. Всегда ужо поздороваются друг с другом, поклонятся, шапку снимут. И не ругались матом, как сейчас. Это был и грех большой, и осуждалось — ведь на деревне все-все друг про друга знали. Вот известно будет — живо осудят за такое!»

Во всякой деревне жили устные предания, порой по-

этические, мифологизированные, о ее происхождении, первых обитателях. Даже в большой деревне зачастую все жители носили две-три фамилии, были тесно связаны родством. Вот что запомнил и рассказал И.А. Мальцев (1908): «Деревня, где я родился, стоит на взгорке. Деды рассказывали, что тут был родничок, звали его кипуном. Первым жителем деревни был беглый, пришлый человек, роста маленького. Когда стали давать первые фамилии, — а поп какую фамилию даст, та и будет, а он был маленьким, — поп дал ему фамилию по прозвищу — Малец. От дедов слышал — пашни расширяли, лес берегли, садили его. Все старые полоски, межи — все сохраняли. Садили лес — звали вересники. Землю берегли — это ужас как! На лугах не росло ни кустика, все выкорчевывали. От родника недалеко протекал ручеек, его называли Лавра. Дальше тек как маленькая речка, в ней полоскали белье и у родника поставили колоду, где полоскали белье и брали воду пить. На Лавре поставили мельницу, зимой река замерзала. Был кипун у поскотины за деревней. Он никогда не замерзал, пар окутывал его. Родничок и кипун были обнесены камешками. Деревня была на три конца».

На первый взгляд русская деревня — хаотическое скопление домиков, разбросанных совершенно случайно и мало связанных друг с другом. Правильная геометрическая планировка, действительно, раньше отсутствовала. Но дома ставились так, чтобы не заслонять друг другу солнышко; глухой стеной (без окон) на север, горницей — на восходящее или закатное солнышко. Многовековой опыт позволял при строительстве дома не наносить вреда природе, ставить его наиболее удобно для хозяев. Так что ничего случайного в таком хаотическом расположении домов не было. Меня просто до глубины души поразило образное описа-

ние родной деревни, данное Марией Федоровной Бобкиной (д.Малая Липовка Архангельской губернии, 1913): «Деревня наша круг пригорка, как поясок круг пупка: десять домов вперехлест глазами; кой в задворки другому глядит, кой на соседа, а все главным-то оком на солнце праводенное».

Деревня, как правило, хорошо была вписана в излучину реки, подножие холма, склон оврага. Дома ориентировались на реку, дорогу (причем эта дорога чаще всего не была пыльной и грязной). Архитектурным центром села чаще всего была удачно поставленная на пригорке церковь. Об этом помнят многие. «Деревня, в которой я родилась, была очень красивая, избы над рекою, у самой воды — баньки, амбары, за домами овины, гумна, а на холме — церковь. Избы были просторные, добротные, с летними горницами. Ставились они обычно лицом к реке или к дороге» (П.А. Колотова, 1909).

Идеализация стариками времени своего детства и юности несомненна, но для нее есть свои причины. Ничего случайного не было в расположении улиц (концов). Все было продумано и для всего были веские основания или давно забытые поводы. Конечно, внутри деревня часто была очень неоднородна.

«А до колхоза наша деревня была разбита на 3 части. Кто побогаче — жили в Вишневке, середина деревни — Старинцы, здесь жили одни вдовы и солдатки, и Новосельцы — тут жили середняки. Тогда делили землю на каждого члена семьи. Полосы меряли четями. У богатых было столько же земли, но она была лучше. Зажиточные держали и пчел, и скотину. До колхозов было трехполье» (Т.И. Перминова, 1916).

В маленьких северных деревнях, как правило, равенства было больше. На другие улицы в большой деревне родители детей играть не отпускали. Корени-

лась издавна непонятная вражда между мальчишками с соседних улиц, не редкими были драки. Даже взрослые без дела, просто так на соседние улицы не заглядывали. «Деревни были всякие: и богатые, и бедные. Как сейчас, по-разному жили. Были у нас в деревне богатые — так весной мама и крестна ходили к ним шерсть мыть. Так на другую улицу не больно-то пустят. У нас в деревне было 5 улиц: Потки, Ичетки, Обдалы, Сметники, а последнюю называли Нагая Масляница. У нас была самая большая деревня — 52 дома. Были деревни Вершининцы, Прокаши, Власовцы, Петровцы, Бесстрашны, Оглоблины, Соковни, Бараники» (С.П. Желвакова, 1917, Слободской район).

Сможет ли сегодня ваш сосед — городской житель — назвать без запинки хотя бы с десяток названий соседних улиц? А между тем у людей, покинувших родную деревню 30-40 лет назад, названия соседних деревень воскресают в памяти мгновенно! А как эмоционально они их произносят! «Округу всю знала километров на 10-15 хорошо. Рядом лишь село Березово. Вокруг него много деревень: Пискуны, Шишкари, Дороницы, Кисели, Савиновы, Бобинцы, Мехрени, Бобичи, Тутуни» (В.Н. Кислицына, 1918).

«У нас в округе много деревень было: Масляны, Шары, Трапицино, Могильник, Заяки, Слобни, Кочегары, Шаляпа, Карпячи, Маленовщина, Мочкалы, Деряши, Мечунаи, Угрюм, Оглашенники, Сосновицы, Фетюки, Пердуны, Гачи, Мальцевы, Епиха, Годневщина» (А.А. Феофилактова, 1918).

В большой округе крестьянин знал не только жителей всех 15-20 соседних деревень, их семьи, родство, происшествия (а слухи распространялись быстро), но и норов, характер каждой деревни — изюминку в ее облике и нравах. Действительно, у каждой деревни было свое лицо, порой не очень приглядное. Вспоминает

Соколова Татьяна Петровна (1919): «Все деревни одинаково жили. У нас деревня форсистая была. Не столько богатства, сколько форсу у каждого было. Любили все делать с блеском. Крыши тесом покрывались. Облицовка была красивая. Кирпичные дома были. Дома большие, были и двухэтажные. Котегово — зауголками звали. Они жили попроще. Бабкино. Избенки были маленькие, бедно жили. Маленькие избушки, как баньки. У нас жили хорошо, потому что работали. Как ни глянешь, в каждом доме то столяр, то овчинник, то маслобойник. Машины были у одного, его раскулачили. Молотилку он давал напрокат, да и то за хлеб. Сапоги у нас шили в деревне. Лапти плели. Портные были, шили одежду. Красили холсты всякими узорами. Пчеловодством занимались. Пчелы были у многих».

Родством в богатой деревне гордились, родства в нищей деревне стыдились. Помнили всех своих многочисленных родственников не только ныне живущих, но и давно умерших. Человек силен был родней, ее помощью и незримой поддержкой. Правда, счет родства вели чаще всего старики, но и молодые парни знали свою родословную на 5-6 поколений назад. Хорошо сохранялись предания об основателях деревень. Петр Петрович Малых (1917) так вспоминает об основании своей родной деревни: «Примерно лет 180 прошло, а может, больше, около двухсот, когда сюда приехали мы из села Быково, из-под Вятки. Приехал Малых Иван Антоныч, привез сына Фадея. Еще привез Феофана — сироту, ну а потом у их здесь родился еще сын Петр — мой прадед, значит. Сына этого, Петрушу, отделили. Дали ему полдуши земли. У отца-то его три души всего-то было. От Петруши родился сын Николай — мой дедушка. Жену Николая, бабушку мою, значит, звали Ирина Яковлевна. Дедов-то своих я всех помню».

Много теплых слов говорится в рассказах стариков о своих прежних соседях. Пожалуй, складывались нити дружбы не менее крепкие, чем родственные. Очень часто говорится и об атмосфере доброжелательства, взаимной поддержки, господствовавшей в родной деревне.

Вот как вспоминает о взаимоотношениях людей в родной деревне Анна Прохоровна Новоселова (1917): «В деревнях раньше жили мирно и дружно. Сосед с соседом утром встретятся — “доброе утро” говорят. Были и злые, и жадные, но их как-то и незаметно было. В основном добрые, дружные, открытые люди были. Мужики свои дела решали, бабы свои. Песни, частушки пели чуть не каждый день. Помню, еще малехонькой девчушкой была, а у нас в деревне два мужика были. До чего задиристые, да ругачливые, да все назло соседям... Так крупно поссорились они из-за чего-то, но люди их пристыдили. Мол, нельзя же задирать постоянно, устали уж от ваших выкрутасов. Так один из них на примирение пошел — частушки забавные сочинил и под окном своего соседа спел под гармошку. Тому потом пришлось таким же макаром сделать. Так вот и помирились. У нас в деревне гармонист был дядя Тима, весельчак такой, особенно подопьет когда, так его и не остановишь. А весной река разольется, девки с парнями на лодках катались... А раздавались песни как, аж душа радовалась!»

Двадцатые годы нашего века в этом смысле были тесно связаны с обычаями деревенской жизни России дореволюционной. Эту пуповину перерезал только 1930-й, начавший полное уничтожение всей крестьянской цивилизации России. Двадцатые же годы были еще патриархальные. Жизнь была более спокойной и слаженной, меньше было неожиданностей, стрессов, страхов. Все вокруг было привычным, знакомым и

двигалось по заведенному века́ назад кругу. Тепла для души каждого отдельного человека внутри этого хорошо обжитого мира было больше.

«До колхозной жизни самые важные черты у человека были: твердость характера, честность, дружелюбность, добрососедство. Сплетников и болтунов не любили, осуждали. Презирали воров, доходило вплоть до убийства миром. Вообще народ был дружелюбен» (А.И. Семенова, 1908).

А В.А. Ведерникова (1925) считает даже так: «Важной чертой моей семьи и других было гостеприимство. Простота, доброта, правдивость, большая сила воли в преодолении трудностей — вот что характеризовало наших селян в те годы. Почти все в селе носили одну фамилию, всех объединяло родство, ближнее или дальнее. Люди были внимательны друг к другу в селе и к тем, кто оказывался в наших краях. Запоздавший путник находил приют в любом доме. И малышу, оказавшемуся вдруг без родителей, помогали. Так, в ближней деревне Верхнее Брагино мальчик Коля оказался сиротой. Когда он был маленький, часто из своей деревни приходил в Мокино, заходил в любой дом, ночевал. Накормленный и одетый потеплее уходил в свою деревню, где еще оставалась его родня. Таким же образом осталась у моих родных жить до конца своих дней пришедшая в село старушка Анисья».

Русская деревня как тип поселения людей, как форма их общности, как культурное целое — безусловно, явление уникальное в русской истории и культуре.

ДОМ, ДВОР И УСАДЬБА

Если деревня — это сельский мир, то ячейка его — отдельное хозяйство. И каждое хозяйство — это тоже очень сложный живой организм, развивающийся по

своим законам и правилам. Давайте взглянем на него вначале снаружи. Оказывается, крестьянский дом полон для нас сегодня различными тайнами и загадками, притягивающими неизъяснимо. Вспоминает Т.С. Ситчихина (1917): «Дома в нашей деревне в 20-е годы были в основном с двумя окнами на улицу, 3-е окно выходило на двор. В 30-е годы некоторые построили новые дома, более высокие, большего размера. В избе на правой стороне стояла печь, от нее к окну шла дощатая заборка (перегородка из досок). Это место за перегородкой называли середа. Тут стояла вдоль стены толстая лавка, на которой стряпали. Повыше — полка длинная для посуды. Выше окна — небольшие полати. Печи в основном были битые из глины. Для входа на кухню было пространство между печью и стеной. Тут находился умывальник, обувь, вешалась одежда. У стены от порога и до стола, который стоял в переднем углу, стояла толстая лавка. В избе были полати, на которых спали.

Дворы у всех были крытые жердями. У нас было 2 конюшни для лошадей. Одна была для новорожденного жеребенка. В конюшне ясли, в которые с повети спускали корм — сено. Поветь находилась над конюшнями и продолжалась до ворот. На другой стороне двора — хлевы для коровы, овец, свиней. Над хлевами опять поветь, где хранилась солома. Между хлевами и конюшней было большое пространство на дворе. Через него был ход на огород, где находились баня, колодец. Было место и для погреба, в котором хранили летом молоко, квас. Там был лед. На огороде была выкопана глубокая яма, в которой хранились овощи: репа, брюква, морковь. Она была утеплена, так что зимой ничего не замерзало. У каждого была клеть».

Смотрите, сколько незнакомых названий! Из нашего языка не просто выпали слова — клеть, середа, гол-

бец и тысячи других... Из нашей культуры выпал тот образ жизни, в котором они были нужны. А между тем крестьянский дом был отлично приспособлен для жизни человека. Не случайно Василий Белов сравнил его с непотопляемой подводной лодкой, которой были нипочем самые тяжкие испытания.

На Вятке дом обычно делился на две половины: зимнюю и летнюю. Они разделялись коридором, который вел в клеть, где хранились все припасы семьи. Никакой мебели в современном понимании этого слова в доме не было. Стоял, чаще всего, большой самодельный стол, вокруг стен — широкие скамейки, приделанные к стене неплотно, и несколько табуреток. Все было некрашено: пол, стол, скамейки хорошо промывались с речным песком и имели приятный желтоватый цвет. Дети спали на полатях, старики чаще на печи, взрослые на скамейках, на полу, позднее — на кровати. В красном углу, под иконами, бросались в глаза ярко вышитые красивые полотенца — рушники. Это дело рук заневестившихся дочерей. От них в углу было веселее.

Печь стояла посреди избы. Нередко крестьянский дом состоял из двух, трех изб под одной крышей. Задняя изба и была кухней. Около печи — шкаф с посудой, сзади умывальник, а от печи через всю избу сделаны полати, где спали вповалку все дети. Нередко с другой половины печки делались вторые, маленькие полати, где хранили лук, чеснок или спал кто-то из стариков. Сундуки с одеждой на всю семью стояли в клети. Там было холодно и одежда хорошо сохранялась. На Вятке делали в XIX веке сундуки веселые, расписные. У хозяев побогаче и сундуки были мощнее — нередко не просто деревянные — с железными уголками, накладками, замками. В ряде деревень в избах стояли отдельно — мужские, отдельно — женские лавки.

Горница (передняя изба) была чистая, уютная. Уже ближе к нашим дням на пол стелились самотканые половики (из старых тряпок), стояли комод, горка (для посуды у богатых хозяев, тянувшихся к городской жизни). Стены обоями стали обклеиваться очень поздно, во многих случаях уже после войны. Помнят еще вятские старожилы избу-дымницу (на севере в Подосиновском районе такие избы были еще в 20-е годы), где печь была по-черному, то есть дым выходил в дверь. Такую избу там называли дымницей. Деревянного пола в ней не было (пол был земляной). Окна были маленькие и их было немного: затягивались они пучиной. «Скотину зарежем, пучинные окошки сделаем», — вспоминает жительница такой избы. «В окольницах у нас вместо стекла была овечья брюшина вставлена. Овец резали, так ее выдирали. Ее и вставляли вместо стекол», — припоминает другая крестьянка. Освещались обычно избы лучиной, керосиновые лампы — уже на памяти многих стариков. Позади дома была ограда со скотным двором для овец, коров, лошадей. Там же стоял сеновал. Летом дети спали в чулане или на сеновале на соломенных матрасах без простыней, укрываясь тулупами или шубами.

У Прасковьи Евдокимовны Пенкиной (1909) из Арбажского района, судя по всему, деревня была богаче, чем северные поселения: «Расположенье, так вроде одинаково у всех: изба, клеть, за клетью промежуток, затем двор, хлев теплый. Так у нас под одной крышей 2 связки. Во второй связке — тоже изба, клеть, промежуток, конюшня для лошадей, теплый хлев для коров, свиней. Только колодезь был за оградой».

На усадьбе располагался, чаще всего сразу за хлевами, — огород. На самом конце огорода обычно был ток, где веяли зерно. Молотили иногда тоже тут — вручную, цепами. Размеры крестьянских усадеб были

очень разные, но уже при колхозном строе — больше 30-50 соток ни у кого земли не было.

Машин до 30-х годов в деревне не было, не было и вечно грязной разбитой дороги у домов. Земля была зеленая, с чистой травой. Перед многими домами стояли скамейки, где вечерами собирались люди. Обсуждали дневные дела, пели. Молодые даже плясали.

Хвойных деревьев в деревнях не оставляли и не садили. Около церкви порой росли большие березы или тополя. Около домов, в основном, садили черемуху, рябину, калину.

У всякой вещи, предмета обихода внутри дома — в этой домашней вселенной — было свое место, свое предназначение. Ничего случайного, мало нужного там просто и быть не могло. Этот микрокосм отражал представления людей о времени и пространстве, сложившиеся веками. Поэтому любой деревенский житель отлично знал что, как и почему именно так расположено в домах его соседей.

Посуды обычно было немного: горшки, чугунки, сковороды, ухваты, глиняные чашки, деревянные ложки, блюда. В чулане ставили ларь для муки. Обязательно было сито, квашенка, чаруша, сельница; ведь хлеб хозяйки выпекали дома. Кадки, бочки, лари, кадушки, рукомойники, кочерги, пестери, бураки — все это имелось в каждом хозяйстве и требовалось чуть не каждый день. Много съестных припасов хранилось в подполье. Ход туда был чаще всего возле печи. В подполье человек мог ходить не согнувшись. Там, в основном, хранили овощи со своего огорода, припасы на зиму.

На столе главное место занимал медный (а позднее белый) самовар. К праздникам его до блеска начищали кирпичной мукой, насыпанной на суконную тряпочку, слегка смоченную в керосине. Самовар пылал как солнце и веселил сердца хозяев. На кухне же у за-

житочных хозяев стояла лаковица — медная корчага, покрытая лаком и рисунком. В ней держали воду.

Поскольку ткань на Вятке крестьяне ткали сами изо льна, то в доме обязательно был ткацкий стан, обычная прялка, пряха-самопряха, прясница, чесалка и трепало для обработки льна.

Баня — это предмет особого разговора. Без бани русский человек жизни себе не мыслил. Не случайно одной из самых больших тягот в годы войны фронтовики единодушно называют отсутствие бани. Ставилась она поближе к воде: речке, ключу, пруду — в задах усадьбы. В бане мылись из деревянного ушата. Вместо мочалок во многих местах рвали лопухи и мылись ими. На зиму с лета (обычно в конце июня) заготовляли березовые веники. Изредка (чаще для лечения) употребляли пихтовые, дубовые, можжевеловые веники. В бане же хранили все необходимое для стирки (в первую очередь — валек).

Многое из всего вышеперечисленного хозяева делали для себя сами. Поэтому относились к этим вещам очень бережно, дорожили ими. В случае поломки быстро чинили, стремясь сохранить вещь для дальнейшего пользования. У каждого из многих десятков и сотен предметов домашнего обихода было свое, только ему предназначенное место. Поэтому хозяева не бродили по дому в поисках того или иного нужного предмета, а, попользовавшись, стремились быстро и в чистоте и исправности возвратить его на место. Относится это и к орудиям крестьянского труда, которые тоже, в основном, были деревянными: соха (плуг появился позднее), мотыга, серпы, топоры, косы-горбуши, бороны, грабли, вилы, деревянные сани-дровни, сани-розвальни, кошовки, волокуши, деревянные лопаты.

Для хранения зерна, мяса стоял деревянный амбар. В среднем по зажиточности доме чаще всего было три

хлева. В одном — лошадь, в другом — корова с теленком, а в третьем — овцы. В ограде же была и подызбица, где топилась печь, грелась вода, заваривался зимой корм скоту. Рядом с колодцем иногда делали и погреб. В него весной метали снег, утаптывали (иногда привозили лед), закрывали соломой (чтоб не таял). И летом здесь хранили молоко, мясо, квас, другие продукты.

Место для избы и усадьбы могло быть большим или маленьким, красивым и не очень, удобным или не очень удобным, но в своем доме крестьянин ощущал себя защищенным от многих бед и горестей. Это была не просто крепость, это было данное ему Богом место в жизни. Только здесь он был под охраной высших сил. Нередко хозяева хорошо знали и своего домового, живущего в их доме, хранителя домашнего очага. Дарья Николаевна Казакова (1901) хорошо помнит: «Был обычай: если из дома в дом переезжали, то лапоть с собой на веревочке везут и приговаривают: «Дедушка Ваханушка, пои, корми, по двору ходи». А как спать ложишься, шепчешь: «Бог с тобой, избушка, до единого бревнышка. Ангелы в окошко, Богородица в избе, Божья Матерь на избе, соловечки на крылечке, Егор Храбрый на дворе».

СОСЕДИ

Жизнь каждого человека в деревне от рождения до смерти проходила на глазах всех ее обитателей. Мельчайшие события интересовали других, обсуждались, из них строились дальние прогнозы, вспоминались очень давние происшествия. «Пришло письмо, бегут читать, ведь в деревне каждого знаешь с рождения, вся жизнь на глазах» (Н.А. Богомолова, 1910). Эмоциональная, духовная взаимосвязь жителей каждой деревни была и средством их защиты от опасностей внешне-

го мира. Поэтому все вместе легко плакали, вместе легко радовались. «Весело жили, как-то дружно. Деревня была, как одна большая семья. Праздники встречали всей деревней и горе делили поровну. Сейчас как-то обособились люди» (А.П. Степанова, 1923).

Пожалуй, в современной жизни больше всего огорчает стариков разрушение связей между людьми, их обособление, закрытость каждой семьи для других. Контакты между людьми стали трудными. Такой раскрытости души и искренности чувств, как раньше, старые крестьяне не видят совсем. Ностальгия, тоска по радости человеческого общения, такого же свободного и легкого, как в прошлом, ощущается во всех без исключения беседах.

А.Е. Кочкина (1923): «Отношения между соседями были вполне доброжелательные. Очень часто на огонек заходил сосед к соседу, особенно в зимние вечера. Посидеть, поговорить о крестьянских делах, о предстоящих работах, поделиться планами, мнениями, посоветоваться. У женщин-соседок тоже были свои разговоры о детях, о предстоящих зимних делах, о весне, лете, обо всем заботы хватало. Как-то жили все дружно, делились всем, чем могли, угощали один другого немудреньким печеньем, соленьем, вареньем. Делились опытом и своими умениями».

Среди множества соседей и приятелей друзей близких закадычных и сердечных было не много. Им-то уж, как правило, открывали свою душу до донышка, говорили обо всем — что можно и что нельзя. Мельчакова Анна Васильевна (1911) хорошо помнит свою ближайшую подругу: «Я все больше к Лиде, соседке, ходила. Друг без дружки не могли; что испечем, сварим ли, так все вместе соберемся и сидим болтаем. То она ко мне в гости придет, то я к ней. Я надолго настряпаю дома, да и уйду к ней ночевать. Любили мы с ней по-

болтать, до чего уж любили. Всех переберем по косточкам. А бывало и подшутим над кем, наговорим чего-нибудь. Нет, не зло шутили, по-хорошему. Да и обсуждали по-соседски, по-своему, не в обиду кому. Языком зря чесать любили только бабки старые, да молодежь немного».

Как ни странно, при такой открытости стеснялись зачастую соседей гораздо больше, чем сейчас. Общественное мнение было очень действенным. Неписаный кодекс поведения, крестьянской морали соблюдался скрупулезно. Не дай Бог в чем-нибудь его нарушить! А.В. Кропанева (1914): «Раньше, конечно, очень боялись соседей и всех, кто жил в деревне. Не боялись, а как-то на глазах у соседей ничего страмного не делали. Девки-то, конечно уж, не курили, как сейчас. Ой, да раньше бы им за это глаза вытыкали. Но были же, конечно, всякие. Так, конечно, ходили в гости друг к другу и в другие деревни — кто с кем роднился. Соберутся, напляшутся досыта, как было весело. Но я не могу даже вспомнить случая, чтобы кто-нибудь из родни сделал что-то плохое, некрасивое. Все дорожили честью своей. Семья была большая, а все какие хорошие были! Я даже сейчас как-то удивляюсь этому».

Естественно, что деревня внутри себя была очень неоднородна: были люди зажиточные и не очень, беднота, вдовы, сироты, рыбаки, нищие. Дружились, как правило, люди равные по общественному положению. Тем не менее к почету, уважению односельчан стремились все. Не всем, правда, удавалось достичь его. Н.К. Вычугжанина (1913) рассуждает: «А раньше в деревне почетом и уважением пользовались те, у кого хозяйство было справное, семья большая и дружная, а те, кто и в поле так себе работники, и дома к бутылке тянулись, то в деревне они были очень непочитаемы».

Впрочем, чем меньше деревня, тем больше равенст-

ва было в отношениях между соседями. Нельзя забывать и то, что во многих небольших деревнях все жители были родственниками, порой вся деревня имела одну, две фамилии. Народ, впрочем, был изобретательный, иногда фамилий соседей и не помнили — всех звали по прозвищам.

ПРОЗВИЩА, КЛИЧКИ, НАЗВАНИЯ

В деревне у всего было свое, очень меткое название: у колодца, улицы, холма, ключа, поля... Каждый человек имел свое прозвище, переданное по родству или связанное с каким-то случаем, характерными особенностями этого человека, родом его занятий. Порой эти прозвища передавались от деда к внукам, служили основой при офамиливании населения. Человек в деревенском мире раскрывался многообразно, смотрелся очень выпукло, четко. И относились-то к каждому человеку с вниманием, бережно перебирая все его характерные черточки. Как в мозаике, каждый человек в небольшой общности был неповторим и нужен деревенскому миру. «Людей в деревне было вроде бы и много, но каждый был на своем месте и никем другим его не заменишь. Помню, бабушка моя незаменимым человеком считалась. Как дело какое нужно провернуть — все к ней бежали советоваться...» (К.П. Городилова, 1910). Каждый сосед был занятен окружающим какой-то своей, на других не похожей стороной, мастерством. Оригинальность эту человеческую видели и ценили.

Прозвище часто никак не умаляло достоинств человека, а просто отличало его от других — делало его уникальным — единственным в своем роде. Ведь если в деревне Куричата, как вспоминает В.И. Курочкин (1918), перед войной в 20 домах деревни жило 15 Ива-

нов — их надо было друг от друга как-то отличать. Вот и выглядели изюминку — непохожесть в характере. «В отношении прозвищ были такие, например, Иван-Фокус. Этот человек был очень энергичным, знал много разных присказок, иногда любил похвастать и пофантазировать, но он был не вредный, добродушный и к нему все относились хорошо. Или второй — Федор-Верес. Известно, что если поджечь верес, на огне он сильно трещит и от него сыплются искры. Так вот, тот человек был очень вспыльчив и горяч и потому его так прозвали. Но как хозяин и работник он был нормальный, и соседи уважали его и хорошо к нему относились» (Н.Ф. Ситников, 1926).

Заработать иное прозвище было трудно, а от другого и потомки не знали, как отмыться. Е.Г. Зонова (1923) помнит: «Не было ни одного двора в деревне, чтобы не было прозвища. Чаще они отражали характер людей, а иногда давались после какого-нибудь случая. Так, например, были «козлы» — однажды одного из членов семьи сбил с ног козел. «Ворона» — вел себя как ротозей. «Красный гриб» — красивый был парень. «Зайцы» — были очень трусливые люди, рано запирали дверь, а когда ложились спать, то рядом всегда у них было ружье. «Веретено» — были высокие, бойкие, изворотливые люди».

Такой перечень можно продолжать очень долго. «В одной семье плели лапти, так их и называли — Лапоть. Другие охотились на зайцев, так и осталась на них кличка «Зайцы» (Боря Заяц, Коля Заяц — это сыновья). Был у нас в деревне Федюня Суковатка. Нас называли «елками», потому что были высокие. Пересторониных звали «варнаками». Клички давали обычно по тому, чем больше занимались люди, или попадали в какую-нибудь историю. Клички передавались из поколения в поколение. Был Коля Резака. Дед его зарезал свою сестру» (В.А. Пестова, 1921).

Ю.П. Лаптева (1921) из деревни Воронино рассказывает: «У нас в деревне почти всем народ дал прозвища. Отца нашего, к примеру, звали “барином”, а нас “бариненками”. Отец-то больно шибко любил снаряжаться, даже подушку подвязывал на пузо под кафтан для пущей важности — вот и назвали “барином”».

Иногда человек получал кличку за то, что слишком сильно выделялся чем-то среди соседей. С.П. Желвакова (1917) и сегодня, вспоминая это, улыбается: «Дядю Ваню звали Ваня Турок. Пришли к нему — мы же в школе учились, какие-то пожертвования собирали, — а у него дом большой был, на 2 половины, и в горнице лошадь жила. Мы пришли — так и удивились!» У женщин, впрочем, отдельных прозвищ, как правило, не бывало. Их называли по именам мужей — Маруся Федиха, Анна Мишиха, Павлина Васиха. Выделяли, впрочем, кое-где вдов — владелиц крестьянского хозяйства. Они имели и право голоса на сходе. Прозвище, кличка не снижали уважения соседей к человеку.

Бывало, правда очень редко, и так, что прозвища своим однодеревенцам давал один человек. Чаще всего это был крестьянин с устойчивой репутацией чудака. Ему прощалось многое — за то, что умел развеселить народ. Татьяна Петровна Соколова рассказывает: «В деревне у нас был один чудак, Роман Филиппович. Все чудил. Придет, сядет пить чай, палец в кружку сунет, если чай не горячий — пьет. “Нес, — говорит, — ягод вам, да по дороге все расплескал”. Мой крестный был. Смешил народ, рассказывал все какие-нибудь небылицы. Всем прозвища надавал, каждому мужику. Андрейка — Немой, немо говорил. Афониха — Кукиш, не знаю, почему он ее так назвал, вдовой она была. Алеша — Рыбник, у него нижняя губа отвисла, как у рыбы. Костя — Пакля, у него рука была какая-

то изогнутая. Санко — Мазилка, он каждый год пол красил. Ванька — Волк, хитрый, наверное, жадный был. Денис — Захлеба».

В округе нередко давали прозвища целым деревням. Татьяна Архиповна Вахрушева (1904) рассказывает про родные места: «Целиком деревням прозвища были. Горинские — кишочники (колбасу сами варили); Тойменские — калабашки; Березовка — дубинщики (говорят, всех с дубинами провожали, отнимали все — шел ли нищий с котомкой, ехал ли богатый с телегой)».

В именах, прозвищах, названиях окружавший крестьянина мир, пестрый, бурлящий, жил, развивался по своим законам. Имена получали ручьи и речки, леса и луга. Свое имя (вовсе не случайное) было буквально у всего в округе. Ручеек, бежавший с крутой горы, получал название «Крутой». Речка, по берегам которой было много рябин, становилась Рябинихой. Лес в отдалении мог быть просто Большим. У людей, именовавших окрестности, заслуг перед соседями было больше, чем у Колумба. Мария Яковлевна Харина (1905) помнит об этом: «У нас в деревне и в окрестностях было много удивительного. Мы давали ручейкам, перелескам, холмам, озерам свои названия. Может быть, немного необычные, но исходя из жизни. Бычья горка — на этой самой горе появился “золотой бык”. Горбуновские покосы — средние покосы — располагались посередине леса, речка Володиха, речка Чернушка, речка Мелковка, луга Азанова — по имени богатого купца Азанова».

Что сейчас для нас скажет перечисление названий деревень какой-нибудь округи? Головешкины, Саломатовы, Летовы, Мамаевщина, Масенки, Казанщина, Ручинята... Эти слова не находят отклика ни в душе, ни в памяти. А между тем для местного крестьянина

все окрестные названия (любого пригорка и ключа) были говорящими, вызывали эмоциональный отклик в душе.

ДЕРЕВЕНСКОЕ ПРАВО

Много пишут о том, что крестьянский мир, община давили, усредняли человека, не давали проявиться яркой индивидуальности. В чем-то, видимо, это так. Но они же служили и мощным регулятором взаимоотношений. На Вятке, где община и другие крестьянские традиции сохранялись дольше, чем в других областях центральной России, это отчетливо видно.

«До 30-х годов все хозяйственные вопросы жители деревни решали общим собранием (сходом). Решения были обязательны к выполнению для всех соседей. Кто плохо выполнял, к тому относились плохо. Собрания проходили в избах, поочередно предоставленных на год. Этот дом назывался «Деревенским», а хозяин его оповещал народ о собраниях» (С.Я. Чарушников, 1917).

Сегодня мы плохо представляем, сколько завзятых яростных спорщиков-ораторов было на таких сходах.

Конечно же, коренной вопрос на таких сходах — вопрос о земле. Это касалось каждого, да не просто касалось — а брало каждого за душу, за горло. Чем земля у тебя лучше, тем больше возможностей у твоего семейства выжить. Александр Степанович Юферев (1917), хотя и невелик был, запомнил: «Да, раньше поспорить мужики любили. У нас в деревне частенько собирались сходы. И на них основной вопрос — это дележка земли. Кому похуже участок достался, орут во все горло, руками размахивают, готовы в драку ринуться. А те, у кого получше, — стоят помалкивают, да изредка обороняются сочным матом».

Сход выражал общественное мнение, давал людям выговориться, выпускал пар недовольства, приводил хозяев к взаимному соглашению. Уплата налогов, натуральные повинности, разбор драк и любых чрезвычайных происшествий — все это входило в компетенцию схода. До революции сельский сход зачастую собирался по инициативе волостного старшины, а позднее — председателя сельсовета.

Кстати, на сходе же решали вопросы о совместной работе в помощь вдовам, сиротам или просто однодеревенцам, ставящим, например, новую избу. Такой вид коллективной помощи во многих губерниях России назывался «помочь». Для молодежи — это был хороший повод повеселиться после работы. «Девки с парнями встречались редко — только по праздникам. Помочи были — ждали их больно. В деревне вдовы с работой не справлялись, ходили к ним жать, косить, молотить. Вертели машину молотильну вручную. Хозяйка самовар поставит — это уж после работы, вечером, когда отработаемся. Сушку принесет. Парни с гармонью под окно придут, заиграют. Мы из избы выскочим — пляшем, а хозяйке и на руку. Наталья Яшиха была — парни дров навозят, девки распилят — ночь отпляшут, на другой день полы выскребут — и снова плясать» (М.Д. Бакулина, 1904).

Бичом сел и деревень, расположенных у большой дороги, на судоходной реке было воровство. Войны XX века дали мощную вспышку бандитизма и разбоя. Банды времен гражданской войны были вспышкой всеобщей анархии и беззакония. Они не вписывались в картину деревенского права и с ними сами крестьяне ничего поделать не могли. В.Д. Трапезникова (1908) рассказывает: «Помню, банда была, звали ее банда Базарина, откудова я знаю, почто ее так прозвали, но большая была банда. Они ведь шибко толковые были

и все хорошие-то люди были забраны ими в банду. Эта банда все деревни в округе держала, ох боялись мы их грабежей, но все равно замков-то у нас не было. Люди-то из банды все на свете собирали. Только лошадей сколь увели. Помню суд над имя был, цельная стопа бумаг из рук в руки ходила, все читали, чё и как было. Много их было-то, не помню чё с имя сделали. Аркашка Пихтюшонок дак по льдинам по речке-то в лес убег, дак никак его и пымать-то не могли. Глашка Горошинка дак та вышла замуж за Ваську Картошинка после того, как все утряслось, но ведь через год его вызвали, забрали, да и расстреляли. Вот ведь эдак как было. Поймали банду-то, да и расправилися». Правда, обнищавшее в нашем веке крестьянство мало чем могло поделиться с грабителями. А.В. Зубкова (1918) рассказывает: «Однажды, когда мать ушла рано на рынок, а мы спали, к нам пришли воры. Чтобы попасть в дом, они сломали пол и влезли в сени. Был устроен страшный разбой, вся посуда была перебита, но украдено было немного: отцова рубаха, курицы, да и взять-то у нас тогда было нечего. Мама пришла, конечно, расстроилась, тут соседи прибежали, помогли пол отремонтировать, крыльцо. Такой взаимопомощи сейчас не встретишь».

Односельчан, совершивших воровство впервые, воспитывали, надеясь отбить тягу к чужому раз и навсегда. Воспитывали, кстати, очень эффективно. А.С. Юферев (1917) приводит такой пример: «А бандитов было много. Некоторые из них с тобой рядом живут, а ночью едут грабить. И воров много было. Но их у нас судили строго и правильно. Чтоб навек запомнил. Один раз мужик из нашей мельницы мешок муки украл. Так его потом за это по всем деревням в округе проводили и на себе он тащил 3 пуда муки. Да еще подходил к каждому окну и кричал: “Я вор!” Таков был приговор схода».

До схода, видимо, дело доходило не всегда. Разъяренные жители могли избить вора на месте преступления. Иван Данилович Воронцов (1915) твердо помнит: «Раньше кто украдет, то его по деревне водили и били до крови. Никто за него не приставал. Били порой до полусмерти, но до смерти — никогда. Били все — кто руками, кто палкой. Кто просто плевал. Поэтому воров было мало. Раньше боялись Бога».

И действительно, многие крестьяне вспоминают случаи воровства в родных деревнях как наиредчайшие. Обычным для них было состояние полной безопасности и душевного покоя. «Однажды самосуд видела своими глазами, в детстве это было. Ну, может, лет 12 мне тогда было, а может, и того меньше. Украл один мариец у нашего соседа телку, зарезал в лесу. Потом это раскрыли, нашли шкуру. Так вот эту шкуру надели на него и стали бить чем попало. Вот такой был суд! И вели его по всей деревне. И по шкуре, и по вору черви ползли, так как шкура уже портиться стала. Все видели в деревне этот самосуд. Били вора очень сильно. Помню, он еле шел. Не знаю, выжил или нет? Не помню. Но кражи — это был редчайший случай. Жили спокойно, не боялись никого. Не думали о том, что кто-то может нарушить наш покой. Даже ночью не закрывались. А сейчас днем на запоре сидим» (Е.И. Маклакова, 1914).

Иногда в округе склонными к воровству считали жителей одной определенной деревни. Виноваты они или нет — в случае больших грабежей на них валились все шишки. В годы мировых войн и революций нравы ужесточились. Одним избиением дело не ограничивалось. Конечно же, это был самосуд! Е.С. Штина (1910) рассказывает: «Были и бандиты, убивали людей. Если едешь один на лошади по лесу, то все отберут. Только кончилась революция, убили в Малашках 7 человек.

Свои же люди собрались будто бы отомстить за кражи. Придрались друг к другу, жили очень между собой плохо. Малашковские вообще-то часто воровали. Однажды хотели ограбить церкву. Прискакали на двух лошадях, не наши, хотели убить сторожа. Он смикитил, стал звонить, те и убежали. Малашковских тут не было, а к ним все равно придрались — и их убили. Вилами, ножами прикололи двух баб и пять мужиков. Было тогда еще Временное правительство и никакого суда не было, и им, убийцам, тоже ничего не было. Нельзя же так! Собаку убить и то страшно. А мужиков этих я хорошо тогда запомнила. Лошади у них тоже были очень хорошие, если попадешься им на дороге, ни за что не свернут. Все воровское у них распотрошили. Какое-то начальство потом все награбленное увезли, не знаю куда. Кто-то из наших вздумал организовать самосуд, вот их и убили. Дедко Никита ходил в деревню Малашки смотреть на убитых, а тяти дома не было, он куда-то уезжал».

Таким образом, самосуд существовал как своеобразная форма крестьянского права и дожил в России до 30-х годов. Но в 30-е годы власти жестко зажали любые проявления крестьянской самостоятельности. Анастасия Яковлевна Двинских (1919): «А насчет самосуда, этого у нас в деревне и, насколько я знаю, в соседних деревнях не было. На это были власти. В тюрьме никому не хотелось сидеть. Насчет этого было все тихо, все исполняли то, что им нужно было сполнять и никакого самосуда не было».

Впрочем, до самой войны (1941 г.) остались в обычае массовые драки. Чаще всего жители разных деревень дрались из-за сенокосов, межей на полях, порубки леса или же молодежь делила сферы влияния. «Между деревнями, конечно, чего говорить, драки бывали частенько и бывали такие, что волосы на голове вста-

ют. Бывали, конечно, жестокие драки. Мужики здоровые раньше были. Дело доходило, что даже палками дрались. Бывало и то, что кого-то забивали до полусмерти, даже было, что умирали люди. Дралась, конечно, в основном молодежь. Вот соберется где-нибудь молодежь, так это группами, и я не знаю, может, что-нибудь не поделит — вот и схватятся. Особенно у нас большие драки были. Молодежь собиралась каждую субботу на танцы. И вот там были с нашего краю молодежь. А была у нас еще недалеко Северодвинская область. Жили там северодвинцы, мы их так называли. И вот на эти танцы наши придут, да с той стороны. Выпьют, напьются вина, и не знаю, что там они не поделят, и возникает у них конфликт и начинается драка. Да такие драки бывали, что человек по сто. Тут уж не до шуток. И ничем не остановить их. Дерутся и дерутся, пока друг друга как следует не поколотят. Ну мы, девчонки, сразу, конечно, в сторону, да еще домой-то боимся идти, мало ли где-нибудь пришлепнут. Ну девчонки — девчонки и есть. И главное, подерутся, синяков да шишек наполучают, а на следующий день опять собираются. Вот такие вот были дела» (А.Я. Двинских, 1919).

Выяснение отношений с помощью кулака было делом естественным, а не противоправным, как сейчас. Тогда это было нормой в рамках крестьянского права. Зачастую небольшая драка перерастала в огромный кулачный бой. Правила соблюдались слабо (лежачего не бить, ничего в руки не брать). Народу быстро сбегалось много — посмотреть, поучаствовать. Драка разгоралась, как пожар. Эмоции были неуправляемы. И все-таки без такой разрядки, видимо, люди не могли жить. Евдокия Ильинична Б-а (1911) рассказывает: «Мужики между собой дрались часто, если кто раздерется, вся деревня сбежится. Бывало и до смерти заби-

вали. Дрались еще деревня на деревню, но это уже страшнее было. Иногда мужики из одной деревни полностью другую сожгут. Тут уж бабьих слез не хватает. Кроме мужиков и молодежь сильно дралась. Какой праздник — так раздерутся, все заборы сломают».

Эмоциональное восприятие вело к большой вспыльчивости, более частым конфликтам, которые не оставляли следа после разрядки. На все это (ссору, драку) смотрели иначе, чем сейчас: «Всяко бывало, иногда из-за всяких мелочей дрались. Я, например, пахал с 12 лет. Подошел однажды ко мне на пашне мужик и говорит, неправильно, мол, пашешь. Ну я говорю — два года пашу — и послал его.., а он мне как по роже даст. Я побег к батьке, рассказал ему про обидку. Так он мне еще привесил» (А.П. Жуков, 1918).

Неизбежные споры с соседними деревнями из-за земель порой заканчивались массовыми драками, в которых бывали убитые и раненые. Такая вражда между соседними деревнями помнилась долго. Александр Степанович Юферев (1917) вспоминает: «Конечно, враждовали с другими деревнями. Частенько бывали случаи больших драк, особенно часто мы дрались с зареченцами, так как за рекой другой район. А наша деревня стоит на берегу реки. Вот мы и враждовали. Да еще были ссоры с орловцами. Они посеют на луга, а мы пожнем, так как луга каждая деревня считала своими. Ну а потом наши мужики с топорами и вилами прогнали орловцев, и те уже не появлялись. Правда, хотели сначала ограбить мельницу. Набрали муки и понесли — двое их было. А наших два мужика заметили это. И потом убили насмерть одного из них, другой очухался».

Я оставляю без внимания кулачные бои в праздники, стенка на стенку, которые совершались из спортивного азарта.

Как ни странно, все-таки крестьянское право не было правом сильного. Побеждал чаще всего тот, кто считал себя правым перед Богом и людьми, за кем была традиция и решимость идти до конца в сознании своей правоты. Последнее вовсе не надо путать с забубенностью какого-нибудь отчаянного и пропащего сорви-головушки. Последние не были и не могли быть полноправными членами крестьянского сообщества («обчества»), сельского мира, к ним применялись совершенно другие мерки и нормы взаимоотношений.

КРУГ ЗАБОТ

Крестьянин жил, чтобы работать; работал, чтобы жить. Человек был связан с землей кровной, нерасторжимой связью. О потере эмоционального отношения к своему труду старые крестьяне тужат больше всего. К.А. Рублева (1918) тревожится: «Заботливо ухаживать надо за матерью-землей, за растениями, а ведь природа — что ты ей, то и она тебе! Теперь не все это понимают. Все общее, а хозяина-то нет. Вот и не растет ничего, злится на человека земля, не дает урожая. А ведь раньше как? Крестьянин каждую кроху земли рукой потрогает, передаст ей тепло — вот она и родит хороший урожай».

Работа забирала человека целиком, но работа эта не была монотонная, унылая, а многообразная, меняющаяся в круговороте времени. Но и каждый день был уникальным, единственным в своем роде, в ходе которого крестьянин импровизировал, творил вместе с природой.

Пожалуй, и сегодня ни о чем так не жалеют бывшие крестьяне, как о свободе выбора в своем труде. «Скучно мне было после деревни в городе», — говорит А.А. Агафонов (1912), ушедший на завод в 1930 году.

Годовой цикл работ крестьянина и круговорот природы существовали для мужика слитно и нераздельно. Давайте послушаем рассказ Михаила Васильевича Котельникова (1922) о годовом круговороте в северной вятской деревне Скрябино: «В конце 20-х годов климат был совершенно иной, нежели сейчас. Зима наступала рано и устойчиво. Праздник Покров в половине октября почти ежегодно встречали с надежным снегом на земле и запрягали лошадку в сани ехать к празднику. С декабря наступали сильные холода, с Николина дня, и особенно сильные и жестокие морозы, до 45 градусов, были рождественские и крещенские в январе. В феврале — «кривые дороги», пурга и метель заметали все проезжие дороги и устраивали такие сугробы-косы, что люди много тратили труда, чтобы найти «зимник», дорогу, установившуюся с осени. Весна проходила активно и бурно. Чистые яркие солнечные дни уплотняли снег, а ночью снова мороз, который превращал верхний слой снега, особенно в поле, в твердый и крепкий наст. По этому насту на лошадях, запряженных в сани, мужики подвозили дрова из лесу, сено, снопы ржи, овес из клади. В эти клади укладывались снопы хлеба в поле после уборки, на жнивье.

Ребятишки и девчонки устраивали веселые игры по насту, как на стадионе. Играли в лапту, бегали наперегонки, играли в лунки и другие игры. К концу апреля уже стояли теплые ясные дни. Мужики на своих лошадях выезжают в поле и как можно раньше сеют яровые хлеба: рожь, ячмень. «Сей овес в грязь, будешь князь». На усадьбах работают все — стар и млад. По окончании полевых работ ожидают у нас престольный праздник — Троицын день. Его во всем приходе отмечают на широкую ногу. Теплые июньские дни и, как по заказу, прошедшие дожди благоприятно сказывались на росте хлебов и трав. Скотина на пастбищах наедается,

а мужик недосыпает — опять приходит время сенокоса. Нет хороших лугов — надо косой-горбушой подкашивать травы по кустам и неудобицам, грести и сметать сено в зароды по речкам и лесным полянам. Люди Бога умаливают о хорошей погоде в сенокос: «Не иди, дождик, где косят, а иди, где тебя просят». На отдаленные сенокосы уходили только взрослые на неделю, а то и дольше. И работали от зари до зари. На ближних от деревни сенокосах трудились все, даже малые дети, если могли держать грабли, или тут же нянчили маленьких. Все делали вручную, и, если стояла хорошая погода, сено убирали зеленое, душистое, как говорят, в самом цвету. Стога (зароды) сена покрывали сырой травой — осокой, которая задерживает промокание вглубь. И так эти зароды стоят до зимы, чтобы потом на лошадке в санях по снегу привезти его домой и очень-очень экономно скармливать скоту. В чистом виде сено дается только лошадям и овечкам. Коровам готовят тресяницу — это солома и немножко сена. Встряхивают и перемешивают перед дачей скотине. В крепком среднем хозяйстве содержали три-четыре, до пяти коров. Они молока давали немного, но навоз в коровниках накапливали очень быстро. Это и предпочитал мужик, чтобы его в зимнее время вывезти на полоски в поле.

Летом, к празднику Петра и Павла (12 июня), наступает исключительно жаркая погода. Дни стоят солнечные, ясные, нет ни ветерка, тихо и почти душно. Ребятишки, разутые догола, устремляются наперегонки к речке, купаются в теплой прозрачной воде, играют на песчаной отмели и ловят маленькую рыбку (маляву) прямо в рубашонку, туго завязав узлом рукава. А скотине в это время — беда! Лошадей, коров, овец заедает овод и мошкара. Они скрываются в лесах и забираются в самую непроходимую чащу леса. И только к ве-

черу, когда спадает жара, выходят к речкам и водопоям, с жадностью нападают на траву, проголодавшись в дневную жару. На закате дня подростки и малыши встречают на окраине деревни коров, телочек и овец и загоняют их по своим дворам. Лошади остаются пастись на свободе в летнюю жаркую пору на несколько недель подряд. За это время они изрядно поправляются, а молоденькие жеребята хорошо подрастают. Иногда потом бывает трудно поймать свою собственную лошадь и надеть на нее узду (у нас называют ее обротъ).

Не все люди деревенские успевают управиться с сенокосом, как поспевает уборка хлебов. Хлеба созревают неровно и неодинаково. На отдельных полосках озимая рожь буреет, в крупных длинных колосках наливается зерном, которое становится спелым, почти прозрачным. Если колосок легко разминается в руках и зернышки отделяются от пелевы, настает пора убирать хлеб. Каждый житель деревни на своей полоске серпом сжинает хлеб, связывает снопы, и тут же снопы устанавливаются в суслоны. В суслонах колос дозревает и хорошо просушивается. А через неделю-две суслоны укладывают в кладню, чтобы все находились внутри и хорошо были укрыты соломой сверху от дождей и сырости. Обычно первой на полосках убирается рожь, пшеница, а потом — ячмень, овес. В уборке хлеба участвуют в семье все, даже маленькие дети. Они собирают в корзинки с земли каждый опавший колосок хлеба. На окраине деревни, поближе к хлебным полям, стояли овины с небольшими навесами, покрытыми соломой. Это место называлось гумно и служило для обмолота, подработки и очистки зерна. Оно строилось на 3-4 хозяйства деревни. Овин — это строение из бревен, у которого нижняя часть сруба, до 5 метров, находится под землей, а верхняя — 3 метра — над землей, по-

крытая крышей, обычно из соломы. Верхняя и нижняя часть сруба разделены бревенчатой перегородкой, но с продольным люком возле стены (примерно 1 метр). Овин предназначен для подсушки хлеба к обмолоту. В верхнюю часть загружались снопы, ставились обычно колосками вниз плотными рядами. В нижней части овина, прямо на земле, разводят костер, применяя березовые дрова длиною 2-2,5 м. Костер горит, набирает жар и все тепло вместе с дымом поднимается вверх, проходит через люк, просушивает снопы хлеба и в первую очередь колосья с зерном. Сушка длится целую ночь, а иногда и дольше, с зависимости от влажности загружаемых снопов для сушки. Молотьба и очистка зерна производятся обычно в осенние погожие дни, а в большинстве зимой. Снопы вынимаются из овина на площадку под навес, укладываются в ряд колосками внутрь и обмолачиваются цепами (их у нас называют молотило). Отделяют солому от зерна, зерно провеивают на ветру или через решета. Прочищенное от мусора и соломки зерно отвозится в амбар. Одна часть хранится на семена будущего урожая, другую часть увозят на мельницу размолоть и получить муку.

Пока люди убирают хлеба на своих полосках, в полях и на приусадебных участках поспевают овощи: картофель, лук, чеснок, морковь, свекла, капуста, брюква (галанка), турнепс. Некоторые из деревенских выращивали прямо на грядках огурцы, но таких любителей было мало. В первую очередь убирают лук, затем картофель — ведь это второй хлеб, и урожай картофеля бывал всегда солидный. Остальные овощи убирали постепенно, вплоть до самых заморозков».

Посмотрите, насколько же мудро, взвешенно должен был вести себя человек внутри этого великого ежегодного круговорота больших и малых дел, смены погоды, рождений и смертей всего живого в природе и хо-

зяйстве. Крестьянин должен был не просто знать, когда сеять, косить, жать, он должен был, в конечном итоге, выжить. В годовом круге жизни многие крестьяне частенько были на грани голода. Хлеба в бедных деревнях в иной год хватало только до Рождества. И главная, точащая мужика и днем и ночью забота — как прокормить свою семью, не умереть с голоду, не пойти по миру с котомками. Федор Трифонович Терюхов (1916) решительно утверждает: «У отца моего главная забота была — сохранить хлеб и накопить денег. Хлеб в то время был мерилом богатства и ценился как золото. В те годы в деревне было всего 14 га озимого клина, то есть малоземелье, и отец после уборки своего поля вынужден был отдавать детей в наем в Слободской район (сыновей), а дочерей — в няньки. Как говорили тогда: «С хлеба долой». И так отец умел экономить хлеб, поэтому семья не испытывала жестокого голода в 20-е годы. На заработанные деньги и вырученные от продажи излишек продукции весной отец покупал трех-четырех тощих телят и летом выкармливали на пастбище. Свиней не держали, свинье надо хлеб, а телятам — только подсыпочка и выгон. Скот пасли в раменье, луга же сохраняли для сенокоса. Скот выгоняли из леса только после уборки сена. В каждой семье было по три-четыре коровы, а значит, был навоз, который и обеспечивал урожай».

Что ж, в конечном счете большинству крестьян удавалось свести концы с концами — выжить. Но мы должны отчетливо представлять, что это стоило огромных трудов, постоянного напряжения всей семьи. «Да, тяжело жить крестьянским трудом, с утра до ночи дела по хозяйству. Уснешь, как в пропасть провалишься и ничего уже не чувствуешь. Наша работа ручная, незаменимая. Руки ни одна машина не заменит — золота в них на пуд! Так что крестьянка я с рождения,

самая натуральная крестьянка. И пахали, и косили, и стога метали, и рожали в поле, и детей растили. Все сквозь силу, все тяжело, да ничего не поделаешь — мужикам одним не управиться. А как зима — тут время прясть, да скать, да половики да рубахи шить. Всю зиму за лучиной просидишь. Ждешь весну, а там снова сеять, растить. Встаешь в шесть, чуть солнце выглянет, хлеб печешь — дух по всей избе идет житный, хороший дух, сейчас такого нет» (К.А. Р-ва, 1910).

Вспомним поподробнее хотя бы несколько видов крестьянских работ в течение года — пиков их трудовой активности. Успеть до сева вывезти навоз. Забота важная. Не накормишь землицу — урожая не жди. «Под пашню навоз во дворах всю зиму копили. Он успевал перепреть. Жили еще единолично. Если одно хозяйство возит, то неделю провозишь, а если скооперироваться с кем-нибудь (так и делали почти всегда), так за день весь навоз вывезешь. Вставали в 4 часа и до 11 дня все возили, потом лошадей выпрягут, пошли обедать, жар спадет, где-нибудь часа в 4 после обеда и снова возят до 11 ночи. Потом ужинают и спать, ведь утром опять вставать. Навоз оставляли в грудах, чтобы он меньше высыхал, если вечером вывозят, то дед уже до солнышка, до завтрака, пахать уедет» (О.Е. Стародумова, 1914).

Перед севом в деревне — только и разговоров что о севе. Очень заботились мужики о том, чтобы посеять вовремя — не рано и не поздно, угадать в самую точку. Не угадаешь — поплатишься урожаем. Сеяли вручную — брали лукошко, вешали его наперекрест на левое плечо, а правой рукой разбрасывали зерно в щедро удобренную землю.

Мужик да лошадка — это, конечно, была основа в средней полосе России всякого хозяйства. Без них все шло наперекосяк. По праву лошадь считалась чуть ли

не членом семьи, и кое-где, сдавая лошадей в колхоз в 1930-х годах, бабы оплакивали их как покойников. Основой крестьянской семьи в разоренной и нищей военной и послевоенной России стала женщина и корова. Но и та, и другая — постоянно были под ударом. Возврата к мужику и лошади на селе не произошло и в наши дни.

После Троицы постепенно приступали к сенокосу. Вот уж работа — тяжкая, изнурительная, а и веселая, песенно-звонкая. «А встаешь-то часа в 3, а то и раньше. Надо ведь и печь истопить, сварить и для скотины и для себя. Корову подоишь, накормишь — и бежишь ранехонько на работу. И вроде все успевалось, и не уставалось. Еще и насмеешься и напоешься! Хорошо было. Воздух вольный какой! Когда сенокос поспевал, это был как праздник. Косили вручную, все луга выкашивали. Сено потом загребали и метали в стога. Это самая веселая работа была! Одевали самое нарядное и яркое, как на праздник: розовое, голубое, красное. Эти цвета считались самыми нарядными у нас. А вот самое главное — всегда работа с песней. И на работу, и с работы — с песней, по всей округе, кажется, разносится. Ведь не пили, а как пели красиво! Кто-нибудь запевает, а остальные подтягивают; песни длинные, протяжные. Сядут поесть, отдохнут маленько — и песня. Есть с собой брали в платок: яйца вкрутую, лук зеленый, бурак квасу, хлеба ржаного. Какой хлеб ароматный был! Пекли ведь его сами, от посеву до печки все сами делали своими руками. Были очень жизнерадостные люди, несмотря на всякие невзгоды» (Н.Ф. Стремоухова, 1922).

Татьяна Ивановна У-ва (1910) рассказывает, правда, уже о колхозном сенокосе, когда радость из труда ушла почти вовсе — и он стал подневольным, рабским трудом: «Летом ходили на сенокос. Сначала шли до

Вятки за четыре километра по бездорожью, идешь еле ноги из грязи вытаскиваешь, особенно в дожди. Пока добираешься до места работы, уж и из сил выбьешься. Вятку переезжали на лодках. Работали полуголодные. Косишь, косишь, устанешь как черт, чуть-чуть бы отдохнуть, и то в свободное время что-нибудь собираешь — ягоды, целебную траву, щавель, чтобы потом посушить и сохранить до зимы. На пятидневку (пять рабочих дней) давали 5 кг какой-нибудь муки. И мы с травой смешивали муку и стряпали «тошнотики», но и их ели не досыта, вот и попробуй поработай целый день на такой жаре. Основную работу выполняли женщины. Стога метали бабы, копны травы носили на себе, на веревках. Бабы такие стога метали, что такие даже сейчас трактором не мечут. Хотя было и трудно, но работали весело, с песнями. Иной раз идешь с косилкой по колено в воде, но стремились собрать как можно больше травы, обкашивали, каждый кусточек. Мы были молодые, и нас заставляли ночевать в лугах, чтоб вечером можно было подольше поработать и утром пораньше начать. Зимой стога возили через Вятку. Возили на быках. Поедешь, снег глубокий-глубокий, бык проваливается, не везет. Ляжет в снег, и делай ты с ним что хочешь. Сядешь возле него и ревешь. Посидишь возле него на снегу, поуговариваешь его и с горем пополам немножко проедешь дальше. За дорогу слез море выревешь. А за день нужно было съездить два раза».

Но это — уже после 1930 года. А в единоличной жизни крестьяне стремились соблюдать два важнейших правила — посильности труда человеку и разделения мужского и женского труда. Женщина мужицкую работу (пахать, сеять...) делать не могла — не умела, да и не приучена была к ней. Ей хватало своих забот. В летнюю страду — сенокос, а потом — жатва, крестьяне спали совсем мало! Работали чаще всего полный

световой день, захватывая и частичку короткой ночи (начинали работу еще затемно, и домой возвращались, когда уже стемнеет). «А спать-то и некогда было. Ляжешь затемно, затемно встаешь. А летом ночи короткие. За неделю намаешься — руки отпадывают и ноги подкашиваются», — рассказывает Александр Степанович Юферев (1917).

Долог путь хлебушка от посеянного зернышка в теплой майской земле до ароматного душистого хлеба, испеченного хозяйкой в русской печи (в основном, на Вятке, хлеба ржаного, а не пшеничного). Все свое семейство — от малых ребят, чья ладошка ручку серпа обхватить не может, до древних старух, чьи узловатые пальцы и сгибаются уже плохо — выводит крестьянин на жатву. А и мало сжать урожай, с таким трудом выращенный, вымоленный у Бога (не пойдет вовремя дождик, и все!) — ведь сколько сил еще надо было положить после жатвы, чтобы чистое провеянное зерно лежало в надежном сухом амбаре. Спокойно, вроде бы без эмоций, вспоминает об этом Александра Дмитриевна Бякова (1924): «В августе месяце рожь жали серпами вручную, шили и надевали наколенники и, не разгибаясь, спешили жать. Сначала рожь нажнут в снопы, потом поставят в бабки комлями вниз, из двух снопов сделают крышу, так они выстаивались, перед молочением их складывали в скирды, потом свозили эти скирды на гуменник для обмолота и молотили вручную молотилами, а молотила делали так: к черням на ремнях были прибиты молотила, т.е. круглые палки сантиметров по 40. Били по зерну по очереди, быстро, если слушать со стороны, выходило вроде музыки. А яровые ячмень, овес, пшеницу тоже сожнут в снопы, а потом ставили груды, так же сверху закрывали тремя снопами лежа, после обмолачивания веяли ручной веялкой, очищали зерно. Если была плохая сырая осень, делали

овины, где сушили снопы перед молотьбой. Снопы подвешивались на жердях, в стороне была сделана печка, печку топили и теплым воздухом от печки сушили снопы».

Именно в такой кропотливости, постепенности своего труда люди находили удовлетворение жизнью. Очень нередки высказывания такого типа: «Радость была в том, чтобы получить лишний клочок земли, чтобы завести лишнюю скотинку. Радость мои родители видели только в труде». Люди, выброшенные по воле случая за пределы этого трудового ритма, вечного крестьянского круговорота, жестоко страдали. О.Н. С-на (1915) вспоминает: «Однажды поехала с зерном на телеге. Дорогу развезло. Телегу мотало из стороны в сторону. Я шла с краю. Когда сильно тряхнуло, упала и зацепилась платьем за телегу. Несколько метров по корням протащило под телегой. Все очень испугались. Домой приехала вся исцарапанная. Родители несколько дней не пускали на работу. Было очень скучно сидеть дома, не выдержала — сама убежала в поле. Вечером соберемся всей семьей дома и спрашиваем: кто как поработал, какой урожай собрали? Жили по-простому».

Да, много хлопот было с хлебом, но не меньше, а, пожалуй, еще и больше трудов было со льном. Это заделье и на осень, и на зиму, и на весну. А куда денешься?! Семью-то одевать надобно. Огромный женский труд, до сих пор детально не описанный, не зачтенный нашей женщине, мало ценимый мужиками и в то время, а в наше — и вовсе напрочь забытый. «Лен тоже весной сеяли, осенью его рвали с корнями, вязали в снопы, тоже ставили в десятки по 2 снопа; когда лен выстоится, околачивали его и стелили тоненько по угорам. Когда вылежится, он становится мягким, тогда его собирали и мялками мяли, получалась куделя. Всю

зиму женщины и девочки пряли. Особенно много пряли на полога, мешки, веревки. Ткали дома. Нитки красили для сарафанов, юбок, шили мужские верхние рубахи, штаны, а из белых новин нарезали и вышивали полотенца, шили нижнее белье, для нижнего белья пряли волокно очень тонко. Детей очень рано приучали прясть. Весной новины мочили и стелили на снег, т.е. отбеливали». Чтобы было лучше понятно, сколько сил бедные женщины вбухивали в лен, я просто перечислю все их основные работы по льну: дергали, сушили, колотили, стлали, снимали, мяли, чесали, трепали, пряли, золили, сновали, ткали, белили холсты, порой красили, кроили, шили. Не полжизни, а три четверти ее уходило на лен. Семьи были большими, одевались, в основном, в домотканую одежду еще и в 20-е годы.

Немало хлопот зимой и мужику. Наши городские представления о том, что зимой крестьянин день и ночь сидит на теплой печке очень убоги. Зимой, как и летом, зачастую вставали в четыре часа утра по петушиному крику. Рано топили печь — надо было стряпать для скота, готовить завтрак и обед семье. Женщины, кто варил, кто прял, кто ткал, кто вязал. Да и скотину три раза надо накормить. Как вспоминает М.С. Семенихина (1909): «За зиму три пары лаптей изнашивала». Это сколько же надо потопать?! Мужики возили дрова, сено, ездили на мельницу. Многие уходили из дома на промыслы — в отход, заработать деньжат на хлеб семье. Многие работали дома. Плотники, столяры, кузнецы, пимокаты — больше ста крестьянских ремесел бытовало в России. Почти любой мужик восемь-десять ремесел, пусть не в совершенстве, а знал. Мария Макаровна Лузянина (1905) рассказывает о своем отце: «Да ведь своим трудом жили, деревенские-то труженики великие! Сроду у нас лентяев не бывало. Не любили их страшно! Отец наш, плотник, все-

ми уважаем был, пример в труде. По всей деревне ставни, рамы, зыбки, кроватки его стояли. Братья с детства за ним по пятам ходили. Вставал он в 5 утра, еще и не рассветет, бывало. Встанет, пойдет в сарай — да мастерит. Каждую вещь старался лучше сделать, душу вкладывал. Часов в 12 пообедать приходил. И снова потом работал. Времени свободного мало было. Иногда к полуночи только ляжет! Но дело свое любил. Руки у него золотые были».

По сути дела, весь день делился только на перерывы в работе. Ведь тогда время меряли по солнышку, а рабочий день делили на уповоды. «Дед у меня был мастеровой, кузнец. У него была кузница большая на два горна. Очень был религиозный человек и меня маленького с собой лет до 10 в церковь водил. Он был не пьяница, как другие кузнецы. Пользовался уважением у населения, всегда очередь в кузницу была. Когда пора горячая, он утром в 5 часов на работу в кузницу уходил с сыновьями. А уже к завтраку приходил домой, менял рубашку, ту выжимал — вот как работал. Это считался уповод. Позавтракают — до обеда опять уповод. А после обеда — третий» (А.В. Клестов, 1918).

В труде было негласное соревнование, кто лучше сделает. Авторитет человека и определялся его умением сделать что-то лучше всех. Существовала, конечно же, и зависть к чужому труду. «Если уже говорить про столярное дело в деревне, то была конкуренция — кто лучше кого сделает мебель. Старались. Если один сделал какой-нибудь шифоньер, комод или трюмо, другой старается еще лучше сделать. Занимались люди капокорешком... Земель мало. Чтобы какой-то кусочек земли бы остался? Ничего нету, все полностью! Другой вот только новый участок земли распашет, вот и началось тут: “Гад ты, у тебя земли-то стало больше!” Вот

стоко-то участков земли и чтоб точно. Да, вот у вас семья столько-то душ и пожалуйста. Отец мой сызмальства столярным делом начал заниматься. Дед его гонял. Уже 12-летним мальчишкой сделал комод, небольшой комод. И что же? Отец отвез, куда мебель эту отвозили, приняли и оценили 12 рублей. В то время ведь на 12 рублей можно было купить полкоровы или полтеленка. Стал столярничать. Уважали в деревне мастеров, только хороших мастеров. Вот, например, в Ганино мужик делал деревянные часы — так ведь он был в таком почете!» (В.П. Зубарев, 1921).

Многие старики отмечают значительные отличия в погоде — ухудшение современного климата. Кочкина Анна Ефимовна (1923) решительно утверждает: «Особенно запомнилось, что лето и зима были какими-то отличными от теперешних. Зимы — очень морозные, вьюжные, морозы такие, что бревна в избах потрескивают. Завывали вьюги, метели длились целыми днями, наметая огромные сугробы в деревнях вровень с домами. А лето было жаркое, сухое, но не такое, как в последние 2-3 года, что дышать нечем. Лета были более влажными, дожди перепадали чаще». Такого рода жалобы на современный климат — повсеместны.

Крестьянский труд... Петухи прокричат, когда уже все в поле выйдут или по росе на покос, а домой придут, когда куры на насесте уже замолкнут. Одна забота догоняет другую, и конца этим заботам никто не припас. Весна — лето — осень, а там, после зимы, заново весна. В этом природном круговороте крестьянин поддерживал равновесие всего сущего, и такое течение жизни представлялось крестьянину единственно возможным.

ПО ПЕТУШИНОМУ КРИКУ

Был и дневной круг жизни. Время в нем измеряли не часами, а работами и заботами. Еще в 30-е годы не все крестьяне (как некоторые из них признаются сейчас) умели понимать время по часам. Т.С. Кадесникова так говорит о своих детских годах: «Часов в доме не было, время определяли по тени, да по солнышку. Мама говорила: «Вот тень будет длиной семь шагов, тогда и гони овец домой».

У людей было совершенно иное ощущение времени и пространства, дня и ночи, света и мрака, нежели у нас. Жизнь двигалась по кругу (а не по спирали). Прошлое воспринималось без отстранения, словно настоящее. Если утро, день могли быть отданы работе, то вечер в русской деревне — это время общения. Люди были доверчивы не потому, что наивны, а потому, что их личный жизненный опыт не подтверждал, но и не опровергал самых диковинных, фантастических историй, случавшихся во внешнем мире. Вера, доверчивость, детскость восприятия этих людей поразительны. Именно этим еще и объясняется такое внимание в деревне к рассказам стариков. «Легко раньше распространялись слухи и сплетни, это было оттого, что люди были неграмотные и верили всему. Я была одна грамотная, мне приносили письма читать и писать. И еще потому, что было грехом не доверять друг другу. Если случалось брать в долг, то его всегда возвращали. Было какое-то уважение друг к другу, все были на виду друг у друга. По вечерам старики рассказывали, как жили раньше. Любили также обсуждать письма или слушать, что рассказывают взрослые, побывавшие где-нибудь далеко. Старики рассказывали про несуществующие клады, где они зарыты, рассказывали разные страхи» (О.Н. Окатьева, 1905).

Вечер посвящался, чаще всего, мелким делам по хозяйству. Члены семьи рассказывали друг другу дневные впечатления. Груз прожитого дня, его напряжение потихоньку ослаблялись. Отдыхали не только от тяжелого физического труда, но прежде всего душой. Потому-то по вечерам так любили петь протяжные русские песни, в них душа изливала свои тревоги и огорчения, омывалась чистой росой поэзии и набиралась свежих сил.

«Мы раньше, бывало, соберемся вечером все дома. Сидим, песни поем, все своими делами занимаются. Тятя с мамой хорошо пели, они много больно песен знали. А иногда соседи придут со своей работой. Мужики все больше о хозяйстве говорили, о работе, иногда истории какие-нибудь рассказывали смешные» (О.Е. Помелова, 1909).

Долгие осенние и зимние вечера оставляли много времени для песен, былей и небылиц. Нацеленность на общение с другими людьми (чаще своего поколения) давала им возможность не только приглядеться друг к другу, но разглядеть все малозаметные черточки характера, увидеть человека очень выпукло, ярко, всесторонне. Да и сам человек, не задавленный суетой дня, мельканием впечатлений, которые не в силах переварить, сохранял внимательность, неторопливую степенность и рассудительность (хотя и легко терялся в непривычной обстановке внешнего мира). Мир же внутренний — родного дома, своей деревни, ближней округи был хотя и хорошо знаком, но очень интересен, ярок, насыщен тайнами и происшествиями. Здесь было о чем поговорить.

«В длинные вечера, когда на улицах темно, керосин дорог, каждую лампу зажигали только поужинать и дальше сумерничали при лучинке. Люди были очень общительны, собирались в избы и рассказывали всякие

были и небылицы, приметы, колдовство и ворожили в святки на Рождество. Молодежь собиралась в одни дома, люди постарше — в другие. Других забав не было, никаких дискотек, театров. Очень верили в колдовство, но боялись» (А.Л. Кожевников, 1925).

Всю информацию крестьянин получал со слуха. Дело не только в том, что очень многие люди были неграмотны. Просто, чтобы понять, уяснить ее, он должен был ее услышать, а не прочесть. Огромное значение имело, кто и как рассказывал. В этом смысле слова слуху не просто доверяли, в отличие от газеты и письма, — им жили. Шкилева Елена Михайловна (1912) так это и запомнила: «В нашей семье не читали: газет не было, книжек не читали. В 30-х-то годах мать уже умела читать. Мужики, бывало, на лавках сходились. Обычно мужики шли в одну избу, а бабы в другую. И жили-то больше слухами».

Иной была цветовая гамма дня, чернота ночи — точнее, люди по-другому, обостренно-эмоционально воспринимали краски жизни. Свежесть удивления перед таинствами мира, полнота чувств, готовых излиться в любой момент... Все это ценности уже ушедшего образа жизни. Впрочем, современный человек легко отказался от них ради удобств и комфорта.

«День и ночь были контрастны. В каждом доме — керосиновая лампа или коптилочка. При них читали. Освещения на улицах не было. Темень страшная с августа месяца. В соседнюю деревню ходили и заблудились в темноте. От речки шли-шли и к ней же пришли. А грязь-то какая, ужас!» (Н.И. Маишева, 1921).

Ночь была временем нечистой силы, вместилищем страхов и тревог. «Боялись мы темноты, рано ложились спать. Сидели дома без огня, керосина не было. По деревне не ходили, мама нас не пускала — не в чем было, да и работу дома сразу находили: пилить дрова

и другую». Искусственный свет: лучина, свеча, огонь в печи, керосиновая лампа — был робок и беззащитен перед всесильным царством тьмы. Сегодня при мощи искусственного освещения в городах мы об этом просто забыли. А ведь электрическая лампочка произвела в быту, восприятии людей революцию не меньшую, чем Октябрь 1917 года. Велико было внимание людей к солнцу, свету луны, звезд. Мария Васильевна Пикова (1914) помнит эту стремительно быструю эволюцию ручного света: «У богатых были лампы-“молнии” с абажурами, а мы сидели с березовыми лучинками. Был человек, который весь вечер зажигал эти лучинки. На зиму готовили березовые ровные чурки. Их сначала щепали, а потом сушили. Лучинку обмакивали в воск и жгли долгими вечерами. Потом, еще до войны, появились керосиновые лампы без стекол. Затем трехлинейные, пятилинейные, семилинейные и десятилинейные керосиновые лампы. Тогда, опосля лучины, они казались очень яркими, как теперешняя люстра. На улицах не было никакого освещения, было очень темно, светили лишь звезды да луна. Электричество появилось только после Великой Отечественной войны».

Как современный вкус, оглушенный ложкой сахара в ежедневном чае, уже не воспринимает сладость пареной свеклы или моркови, так и наш глаз, живущий с электрической лампочкой, не может понять и оценить красоту и необходимость лунного света, звездной ночи.

ЮМОР В БЫТУ

Мощный пласт смеховой культуры пронизывал всю крестьянскую цивилизацию. Смеяться умели и любили. Юмор, меткая шутка, едкая мужицкая ирония постоянно присутствовали в труде и отдыхе человека.

А уж поддеть другого удачным словцом, как образно говорили «залезти под шкуру», любителей было хоть отбавляй. Как правило, шутки эти — незлобливые, добрые, без обиды. Да и само содержание шутки было другим. Смеховые ситуации порой создавали сами, подшучивали друг над другом. «Был у нас в деревне один мужик, страсть любил на пашне спать. Попашет с утра, а днем спит прямо на поле. Раз наши парни подшутили: взяли лошадь выпрягли и за изгородь завели. Плуг-то с этой стороны оставили и снова запрягли. Он проснулся, ничего не понимает, как лошадь так смогла запутаться — сквозь изгородь пролезть. Вот смеху было! А в другой раз у него, пока спал, плуг на дерево повесили» (А.М. К-в, 1925).

Люди, чем-то сильно отличающиеся от остальных жителей деревни (рассеянные, ленивые, очень скупые), были предметом вечерних разговоров, пересудов, насмешек. «Соседа Николая Родионовича называли скупердяем за его скупость. Он может напиться чаю с одной монпансье. Когда он отправлялся на сплав на 10-15 дней, то брал с собой в дорогу штук 10 яиц в бураке. И часто бывало, что когда возвращался домой, то все яйца оказывались целыми. Правда, съедал иногда только по половине яичка за раз. Один раз над ним подшутили мужики. Яйца сами съели, а ему в бурак наложили камней» (А.П. К-на, 1917).

Страхи, постоянные невзгоды, окружавшие человека, не просто отступали перед доброй шуткой, общим смехом (ведь смеялись не поодиночке), а забывались напрочь. Неистощимый предмет для пересудов, иронии — деревенские рыбаки и охотники. К ним часто в деревне отношение было несколько пренебрежительное как к людям легкомысленным — чего уж взять с тебя, коли с пути сбился... Многие из них были как бы штатными деревенскими чудаками. Односельчане

очень любили слушать всякие небылицы, точно зная, что такого и быть не могло. Могли посмеяться и над своей бедой. «Особенно отличался юмором Иван Гаврилович. Когда река выходила из берегов и затопляла дома, то он рассказывал, что ловит рыбу в подвале своего дома вместо невода — своими штанами. Люди в то время были очень доверчивы ко всему» (А.П. К-на, 1917). В сталинские годы количество деревенских балагуров-затейников (а в каждой деревне был хоть один такой) сильно уменьшилось: «Шутили у нас всяко. У нас был парень, вот меня постарше, Мишей звали, его и дураком не назовешь, а какой-то он придурь был, смешной, смехотворил. Как Мишка на улицу придет — высокой, долгой, балагур, все думают чего-нибудь... ну, придет Мишка на улицу и кто-нибудь к енму подсядется — ох, Мишка и побежит ловити, а на етот шум еще набегут и набегут, и сделается компания. Ну, дак было больно весело с Мишкой, а потом его взяли на лесозаготовки, на работу — ну, как бы мобилизовали, ну и он ушел с этой работы-то, и его обсудили и выслали, и он умер там в ссылке. Как нам было Мишки жалко, дак ой!» (Ф.С. Шамова, 1907).

Немало все же было радостей в крестьянской жизни, и люди умели не только потреблять, но и создавать (созидать) атмосферу веселья, смеха и радостного возбуждения.

НИЩИЕ

Непременным атрибутом всякой деревни были один-два нищих. Если своих нищих не было, наведывались из соседних деревень, порой дальних сел. Я не говорю о голодных и военных годах, когда умирающие с голода люди заполняли дороги и побирались Христовым именем. Нет! Я говорю о «профессиональных»

сельских нищих, для которых это было образом жизни, излюбленным занятием. Нищелюбие русского крестьянина общеизвестно. Даже в самой бедной семье он мог получать кусок хлеба или немного овощей, переночевать на теплой печке. Как правило, побирались люди убогие: слепые, хромые, увечные, а также вдовы, сироты, погорельцы. Евдокия Сергеевна Штина (1910) вспоминает: «Некоторые очень привещали нищих, а некоторые нет. У нас мама часто их пускала переночевать на печку. Часто к нам приходили два брата Вася да Павлуша. А одна бабка Данилиха до чего втянулась сбирать, что потом уж и жили они хорошо, а она все равно шла сбирать — так потом и застыла с котомкой зимой».

Даже к нищенству, как видите, надо было иметь призвание. Не подать нищему было грешно. Впрочем, среди них встречались люди диковинные. А.Д. Коромыслова (1903) вспоминает такой случай: «В семье, как и в других домах, придерживались многих старинных обычаев. Например, всегда одарять милостыней нищих, их хоть и немного было, но случалось, заходили. Один раз нищий, здоровый мужик, ходил сбирал. Пособирает, кто-то пустит переночевать. Он говорил, что из деревни Кожи. Отец как-то оказался в той деревне и спросил про него. Указали ему на двухэтажный дом. Отец сходил туда, с сыновьями говорил. Те ответили, что не могут отца дома удержать, в крови у него — тайком убегает и ходит побирается. Зимой тоже побираться аж на лошадях ездил, в лесу их оставит, а сам в деревню.

Разные нищие-то были. Но их никогда не обижали, милостыню подавали, к обеду придут — покормит их бабушка на кухне. Раз даже, помню, один нищий у нас в баню ходил. Нищие насобирают кусков много, так и продают — мама, бывало, купит для скота».

Малознакомые, дальние нищие не чуждались порой и воровства. Кражи холстов были, пожалуй, самыми распространенными. «Помню такой случай. Зашел нищий и попросился ночевать. Бабушка накормила его и положила согреться на печку. Отдала ему отцовские рубаху, пиджак, портянки, а на печке был прибран ситцевый отрез на платье кому-то из сестер, и он его украл. А узнали об этом, когда он ушел. Бабушка с мамой страшно горевали и долго вспоминали. Денег-то не было в доме. Платье нам шили только на Пасху из домотканого полотна» (Т.С. К-ва, 1911). И тем не менее, нищим подавали. Подавали не от избытка. Но ведь нищелюбие было заповедано от родителей, шло от предков — так что подавали, не задумываясь, искренне скорбя о бедных и убогих.

В годы голода, мора — число нищих сильно увеличивалось. Люди шли по миру с горя. Л.В. Мосунова (1923), сбиравшая в детстве, так вспоминает об этом: «Раненьшо, в основном-то, нищие были. Тады по деревне собирать ходили. Я тожо ходила, есть-ту нече. Вот сидели на траве. Траву насобираешь, муки малехо положишь и хлеб печешь. Посидишь-посидишь на одной траве и пойдешь по деревне. Ходила с братьями младшими. Пореву-пореву, но иду, ести-ту ведь надо чёто. Собирали хлеб, картошку. Ой, ходило много собирать народу. Да которы эшо пройдут не по одной деревне. Раньшо нишшые-ту здорово ходили. Так богаты-то и давали. Кусок хлеба да дадут. Они к нам хорошо относились, и мы к ним тожо хорошо относились».

ЖИВОЕ СЛОВО

Мы с вами живем в эпоху унификации — стирания различий и местных особенностей. Нам говорят, что только так цивилизация может двинуться вперед семи-

мильными шагами. Вполне возможно, что это и так. Но в особинке, отъединенности, замкнутости малых сельских мирков, обращенности их только на себя — были свои достоинства. Внутренняя слитность, нераздельность, единство однодеревенцев ярче всего проявлялось в их речи. Вспоминает Маклакова Евдокия Ивановна (1914): «Пришла я из деревни наниматься на работу и говорю завхозу: “Возьми-ка меня в столовую!” Так на ты и обратилась. Вот деревня так деревня. Я даже слово “вы” не слыхивала в ту пору. У нас в деревне все на ты были».

Каждая деревня берегла, культивировала, передавала дальше свою речевую среду. Происходило это, конечно, бессознательно и непроизвольно. Мельчакова Анна Васильевна (1911) помнит: «Раньше, конечно, не так немножко говорили. И в других деревнях тоже не так. Другой кто придет, дак сразу отличишь от своих, от деревенских. Счас-то ведь культурнее говорят. А раньше по-всякому болтали — что хочешь, то и скажешь». А вот эта фраза (последнее предложение) удивительно точно передает мысль о спонтанности живой играющей речи. Не надо подыскивать слов, обдумывать фразы. Нужные слова всегда были на языке и выплывали сами без натуги. Очевидно, живая крестьянская речь не просто была связана с образом жизни людей, их обиходом, трудом, праздниками, домом — эта речь и могла жить-то только в той среде, в другой среде она просто умирала. Темп, ритм, тональность речи сильно отличались даже в соседних деревнях. «Говор, конечно же, отличался. У нас в деревне говорили отрывисто. А в соседнем селе, от нас 15 км, там говорили нараспев. В каждом селе даже предметы назывались одни и те же по-разному. Например, у нас поварешку для разлива супа называли поваренка, а некоторые — чумичка или половник» (В.А. Пестова, 1901).

«Говор в нашей деревне, конечно, отличался от говора соседних деревень. Нас в других деревнях звали “звонари”, потому что говорили громко» (О.Е. Помелова, 1909).

Привыкали, правда, к «другой речи» быстро. «Разговор везде разный: один приход и то наречье разное — где-то одно так зовут, в другой деревне — по-другому. Где ведь живешь — по народу так и говоришь, привыкаешь» (Т. И. К-ва, 1916). Порой какая-то одна отличительная особенность накладывала свой отпечаток на весь строй речи данной местности. Так, в округе деревни Малышонки Оричевского района было мягкое окончание многих слов на «чи»: колодечь, ножничи, пресничя и т.п. Где-то (к югу от Кукарки) смягчали последний слог (Колькя), в другом месте цокали. Замечу, что все перечисленные особенности речи были в местностях, близких друг другу.

Одни и те же вещи, предметы назывались в соседних деревнях совершенно по-разному. Кто сегодня скажет, что запон это фартук, лопоть — белье, черепня — бадья... Несколько сот русских названий одного предмета умерли, оставив два-три его потомка. Значит, и мы стали беднее.

Вспоминает И.В. О-ва (1917): «Раньше слова говорили иначе. Однажды поехали в Полом с товаром. Есть захотели дорогой. Одна женщина и говорит: “Доставай ярошник”, другая — “мусник”, а третья — “буханку”. А я не могла понять, что они так называют хлеб. Раньше не было ни радио, ни телевизора и поэтому во всех волостях был свой акцент языка. У нас было много приходов, но люди встречались из разных волостей редко, и потому в каждой волости были свои слова. Раньше жизнь была оседлой».

Жизнь не просто была оседлой, она была колоссально устойчивой, чрезвычайно замкнутой. Порой в

разговоре свой мог понять только своего. Огромное количество слов просто умерло. Например: «лонись» — в прошлом году; «давеча» — вчера; «симпот» — ухажер; «супостатка» — девушка, которая хочет отбить парня у другой девушки; «юхонка» — бочка и многое другое. Язык, кстати, не был неподвижен в любой деревне; он жил, а значит, менялся.

Масса ушедших слов связана с утраченными занятиями, отошедшей в прошлое утварью, обстановкой крестьянского дома. Возьмем для примера любого пимоката. Помелова Ольга Егоровна (1909) помнит еще, чем работал ее отец: «Тятя у нас валенки катал, так у него много всяких инструментов было. Биток — им шерсть били. Лучок — это такая палка, а на ней струна из овечьей кишки, держалась на кобылках. Волощце — это большое холщовое полотно без единого шва, на него раскидывают шерсть. И начинают катать валенки. Катают бурчиком».

Яркую, образную крестьянскую речь очень сильно оживляли, озаряли различные прибаутки, пословицы, поговорки. Для каждой местности (а зачастую и для отдельной семьи) были свои характерные выражения. Машковцева Афанасия Емельяновна (1917) помнит, что в ее деревне часто проговаривали: «Птица гнездышка не вьет, дева косы не плетет». Это значит, что в праздник никто не работает. «Кто не любит в будни трудиться, тот и в праздники не всласть веселится». «Своя земля и в горсти мила». «Не торопись словом, а делом». «Язык людей для умных речей». Все эти пословицы и поговорки были из жизни взяты. Язык раньше проще был, понятнее нам. Сейчас, правда, в обиходе остались некоторые слова у сельского жителя, но постепенно и это забудется иль заменится новым словом... Сохранять надо старинную русскую культуру, старинный русский язык. Не надобно его забывать,

чтить и помнить надо предков своих. Без этого род человеческий не может жить.

Любовь к переносным выражениям, замысловатым загадкам, приговорочкам — была у многих в крови. С.П. Желвакова (1917): «У многих в деревне были свои высказывания. Одни говорили — к каждому слову — шанешка, другие — масло в рот... Бабушка всегда говорила: "Абы, если луковицу съесть, абы, зачем ее есть, абы, лучше продать, абы деньги будут". Мама все потом вспоминала...» Вот ведь чем зацепила свекровь память невестки на всю жизнь — малым словцом. А от этого словца образ ее быстро вспыхивал в памяти людей, ее знавших.

Жалеют нынешние городские старики свое деревенское прошлое, свою утраченную речь. А.В. К-ва (1914): «А в то время крестьяне говорили интересно. Я и сейчас все еще говорю иногда со старухами по-ранешнему, хотя уже сколько лет в городе прожила. Но здесь уж по-другому стала говорить, привыкла. А когда приеду к сестре двоюродной в деревню, ей сейчас уж 86 лет, так вот, когда привезешь гостинца, она увидит сумки большие и сразу с порога говорит: "Ой да Настась, наште ты эстоль привезла?" Вот так все и говорит почти. А я уж сколько лет в городе живу, а много слов не понимаю. Так-то говорят — так понимаю, а уж по телевизору иногда из половины понятно».

Многие из нынешних стариков считают, что язык их детства жил, был певуч и мягок, упруг и гибок. Как метко заметил А.Г. С-н (1910): «Это был, ну, что ли, интеллигентный язык. В нем было столько достоинства и гордости, что ляпать мат и не вышло бы. Наш русский сегодня — это нечто неопределенное, как, знаешь, рабочий человек без определенного рода занятий». Но сегодня при таком разбросе профессиональных интересов, характера труда, колоссальном давлении

средств массовой информации, убивающих любую оригинальность и особинку в речи, определиться невозможно. Уже произошел переход к массовому «канцеляриту» — языку эпохи НТР.

О РУГАТЕЛЬСТВАХ

Ругательства в речи жили всегда. Это обязательная и необходимая часть языка. Много или мало раньше бранились русские крестьяне? Во всяком случае сами они, противопоставляя себя пьяному и сквернословящему городскому работному люду, утверждают, что крестьяне раньше в деревнях ругались меньше — «Бога боялись». В обычной повседневной речи бранные матерные слова не употреблялись — вспоминают многие, — больше употребляли божбу. Уважение к слову, себе, соседям — препятствовало громкой ругани. В.Я. Бакланова (1901) еще помнит: «Уважали друг друга, обидеть боялись. Ругались-то в кулачок, да и то шепотком, чтоб не услышал никто». Женщины-крестьянки не ругались вообще — большим грехом было даже чертыхание. Впрочем, при ссоре, споре, драке, когда гнев затуманивал голову, выплескивались эмоции — ругательства летели напропалую. Итак, большинство стариков крестьян считает, что ругань раньше употреблялась лишь при ссоре, вспышке гнева — а не в обычной речи, как сейчас. Типично такое суждение: «Люди стали сейчас озлобленные на жизнь, нет счастья у людей, поэтому и ругаются. Раньше больше было хороших, приветливых слов. Старались в словах друг другу уважения больше выразить» (А.В. М-ва, 1916).

Речь здесь не идет о городе, заводе, мастерской — поговорка «ругается как сапожник» сложена не зря. Василий Ильич Р-ин (1913), бывший сапожник, вспо-

минает о своем ученичестве: «Когда где трудно или страшно было, так не раз Боженьку помянешь, бывало. Зазорного в этом ничего не было. Однако и культуры у народа никакой не было. Пили водки много и ругались матом, бывало, через слово. Особенно, когда в мастерской сапожной работал. Там только и слышно мат на мате. Изъясняться с помощью матерщины легче было. И напряжение нервное снимает в работе». Ругань была следствием ссоры людей, порой спутником драки. Да и сами слова брани часто были совершенно, на наш взгляд, безобидны. «Ругались у нас дьяволом, лешим. Называли чертом: "Бес ты, окаянный". "Дура ты, сатана, нечистая сила". Вот называли с горячей головы. Ругались нечасто. Деревня была не ругательская. Ругались кода сильно насолят друг другу. Часто из-за земли ругались. Меряли-то шагами. У одного шире шаг, у другого у́же. Вот и говорили "ты у меня прикосил к себе". Исподтишка корову портили, тоже ругались. Камни бросали на сенокос и из-за этого вызубривали косу. Ругались из-за сена» (А.А. Лысов, 1924).

Ругательство в речи, действительно, отражает стиль жизни, образ мыслей, отношение человека к миру и самому себе. Если человек чист духом, он чист и в речи. Драгоценнейшее для нас сегодня свидетельство Афанасии Александровны Машковцевой (1917) подтверждает эту мысль: «В наше время в словах скромнее были. Таких грубых и резких слов раньше не употреблялось, по сравнению с теперешним днем. Такого матерного слова, как сейчас (прямо у некоторых через слово повторяется), не слышно было. Это мужики наши в ранешные времена в сердцах ругнутся так. А так, чтобы постоянно, то такого не водилось. Как Господь говорил, чтоб уста свои разными пакостными словами не оскверняли. В работе мужик — так это тоже ругнет-

ся изредка. А как же, тяжело приходилось работать! Ну иль по пьяному делу кто выскажется, то было простительно, не владеет собой человек. А в доме, в семье об этом и речи не может быть. Родители никогда себе не позволяли какую-то ругань, особенно при детях. А среди нас тем более такого не было. Тятя за такое дело строго бы наказал. Парни при драке, деревня на деревню, тоже бывало изредка вплетали слова разные. А так скромнее люд раньше был и в словах, и в поведении. Более выдержанные были и уравновешенные. Друг к другу относились с большим уважением. Что между собой, даже к животным, к скотине домашней с лаской относились. Поговорят с ней, как будто она понимает. А от женщины, тем более от девушки грубых слов, не говоря уже о матерных, не услышишь. А сейчас это стало как обычное явление. Люди уже не замечают за собой этого, вот до чего дожили. Потому что сейчас у людей друг к другу уважения нет».

Уважение к себе и другим, уважение к слову, внутренняя сосредоточенность и духовная опрятность — все это оказывается очень тесно связано. И одно без другого существовать не может.

Глава 3.
КРЕСТЬЯНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

ПРАЗДНИЧНОЕ ВРЕМЯ

Как лето сменяло зиму, день — ночь, так же неотвратимо в крестьянской жизни будни сменялись праздниками. Праздники были разновеликие, и отмечали их по-разному. Воскресенье после рабочей недели — день не просто свободный, а день праздничный, к которому готовятся. Хозяйки моют полы и скребут их ножами-

косарями, топят бани, готовят хорошую одежду, чтобы в ней идти в церковь. Очищаются душой и телом.

«Воскресенье считалось праздником. Не работали, считали за грех. Кто в воскресенье работал, у того в жизни нет спорины» (Т.А. Богомолова, 1910).

Праздники перебивали монотонность будней, задавали жизни определенный ритм. К большим праздникам готовились очень задолго. И радости в этих приготовлениях, предвкушениях было порой не меньше, чем в самом праздновании. Праздничное время текло отдельно от обыденного, человек жил и растворялся в нем. «Из самого далекого детства: до революции и в первые годы после революции вспоминается, как с утра до вечера звонили колокола на колокольнях. Раз мне даже довелось мальчишкой ударить в колокол — вот здорово! И еще — как жгли костры на маслянице и как мчались по улицам сани, перегоняя друг друга. И лошадь, и сани, и седоки — разряженные, веселые!» (И.И. Семенов, 1908).

Да и само празднование заключалось не просто в освобождении от тяжелого труда, в обильной и вкусной пище, а в создании атмосферы праздника, атмосферы всеобщей радости.

«Праздники в то время отмечали по-иному. К празднику готовились. Что-то новенькое одеть разрешат только в праздник. Тогда пекли ватрушки, варили суп (мяса было мало, только по праздникам варили мясной суп). Начинали собирать стол, стелили чистую скатерть, на стол ставили все угощения и домашнее пиво или сваренный квас. Вся семья садилась за стол. Отец играл в гармонь-однорядку, пели песни, иногда плясали. Большие праздники отмечали всем селом. Народ шел в село со всех сторон. Звонили колокола в церкви, на утренней заре было слышно далеко. Вся эта торжественность поднимала настроение, возвышала

душу. Родители с детьми, жившие в соседних деревнях, приезжали в село на общее торжество; спешили успеть в церковь к заутрене, сходить в магазины, повидаться с родней, друзьями, знакомыми, посмотреть на молодежь, которая сходилась со всех сторон с бубнами, гармонями, песнями. Начиналось гулянье: плясали, пели, веселились на несколько кругов. Люди были счастливы, радостны, довольны, доброжелательны друг к другу. Рады были свободной минуте, общению друг с другом. В Вознесеньев день, помню, я еще девочкой была, как-то очень ясно всегда светило солнце, звенели колокола, было радостно. На реке десятки лошадей начинали купать. В то время все было проще: мы были рады солнцу, дню, людям» (М.П. Перевалова, 1924).

А вот как пытается выразить свои мысли об этом. А.И. Бояринцева (1911): «Жизнь была какая-то разнообразная. Работа, потом праздник. А сейчас не отличишь, когда праздник, когда простой день. Вино пьют, когда вздумают. Едят всегда одинаково. Мясо каждый день. Нынче очень плохо питаемся, неправильно. То и болезни всякие».

Праздник был настоящим ритуалом, где всему было свое время и свое место. Праздничное время и текло по-другому. Давайте послушаем, о чем вели речь мужики, собравшись на завалинке. Какой простор тут был фантазии, жесткой иронии, соленой шутке!

«Вот, бывало, в село праздник придет, мужики тогда такую речь заведут: про покосы, про снега, про пашню. Разговор идет и где какое население живет, как работают, как живут. Говорят, что скоро все машины будут делать. Сама косит, пашет, жнет. Скоро такие и у нас будут. Мы тогда ходили бы по полям и рассуждали, как жилось плохо нам. А тут Библией другой мужик тряхнет и скажет, что не то еще будет. Хитроумные, слышь, люди-то, еще не такую машину сделают.

Люди будут птицами летать, даже будут звезды с неба доставать. Все такие разговорчики идут, а потом запляшут, запоют о том, как девки по воду пойдут, “Волгу-матушку” помянут, “Хуторочек” напоследок споют. Вечером девки хороводы водили, песни пели, плясали. Я очень любил это время, когда работы в поле сделаны, хлеб обмолочен и в закрома свезен» (П.Н. Русов, 1897–1978).

Важно сегодня также вспомнить, что все основные крестьянские праздники были религиозными: Рождество, Масленица, Пасха, Троица. Во все эти праздники часто вносились очень древние языческие элементы (особенно в Масленицу и Троицу). Для всякого праздника были свои особенные развлечения. Каждый неповторим, один-единственный в году, и у каждого — своя радость. Именно за утерю вкуса радости, умения веселиться наши старики горько сетуют на современную жизнь. «Все праздники признавали, жили как в раю, а теперь, как черви в земле копаются. Ведь света Божьего не видим, никаких праздников, никакого веселья, только мат один да пьянка. В старых книгах написано: будете плохо жить, день убавлю, а если станете хорошо жить, так снова прибавлю. Это Бог сказал. Так вот сейчас целый день крутишься как белка в колесе, а ничего не успеваешь, вот и укоротил Бог день-то» (О.Е. Стародумова, 1914). Ольга Егоровна заметила для себя главное — резко нарушилось привычное течение времени: года, дня. Праздники, как спицы в колесе, вращали привычное течение жизни, круг забот.

Продолжительность праздников в разных местах, видимо, была разной. Василий Иванович Комаровских (1899) из деревни Кумачи Орловского уезда Вятской губернии вспоминает: «Праздновали следующие праздники: 1. Рождество. Празднество длится 2 недели. Пляшут, поют песни 13 вечеров. Как правило, днем

спят — ночью пляшут. 2. Масленица — длится с четверга до воскресенья. Каждый день молодежь запрягает лошадей и съезжается со многих деревень. Ездили иногда на лошадях и ходили пешком за 20-25 км. Едут девки и парни. Там пляшут, веселятся. В конце праздника на окраине деревни зажигают сноп соломы — «масленку сожгли». 3. Говенье (великий пост) начинается за 7 недель до Пасхи. В это время не пляшут. Все находятся в работе — пряли, вязали. 4. Пасха длится 3 дня. Делают качели. Парень качается с девкой. Пляшут, веселятся. 5. Летом — маленькие праздники: Троица, «Духов день» — земля-именинница. Старики собираются в праздники отдельно от молодежи, но приходят во время праздников посмотреть на молодых».

Интересно, что в систему праздников он включил и великий пост. Кроме больших (великих) праздников, было огромное количество малых. В конечном счете, всякий день был значимым — или это именины кого-то из родственников, или он важен в системе примет, но была в нем какая-то зацепка-зарубка, делавшая его уникальным, единственным днем в году. Пустых дней в крестьянском календаре вообще не было. «Всему в старину придавали значение» (М.Я. Харина, 1905). Широко в каждой деревне праздновались престольные (приходские) праздники: «Были еще праздники, которые не являлись общими для всех деревень. В нашей деревне был осенний праздник — Митревские, в другой (зимой) — Николин день, в третьей — Михайловские (летом). Родня идет в гости туда, где этот праздник отмечается» (Т.С. Ситчихина, 1917).

Отрешение от привычного ритма будней достигалось, в первую очередь, обращением к церкви, к Богу. «Старики были безграмотны, с утра до вечера работали на земле, пахали — кормились землей. Они очень

были набожны, верили в Бога. Каждое воскресенье ходили в церковь — молились. Прежде чем идти в церковь, каждый ходил в баню — «смывал грехи», прийти в церковь грязным считалось грехом. Маленькие дети вместе со стариками ходили в церковь, молились; на молебен давали деньги. Все религиозные праздники почитались как стариками, так и молодыми» (М.Я. Харина, 1905).

Кроме общезначимых праздников, своего престольного праздника всей деревней могли отмечать и иные даты, празднование которых стало здесь традиционным. Бабкина Мария Федоровна (1913): «Всей деревней мы встречали только три главных праздника: Веденеев день, Фролов день, Петров день. Сначала праздновала в доме каждая семья, а на следующий день — на улице. Выставлялись столы, сносилось сюда все что можно съестного. Плясали вместе, смеялись. Особенно веселые пляски были в святую неделю после Рождества. Вот собирались, откупали избу и плясали целую неделю».

Давайте медленно пройдем по праздничному кругу, рассмотрим повнимательнее хотя бы главные из русских крестьянских праздников.

РОЖДЕСТВО

«Рождество — это святки, гаданья, сочельник, игрища, вечерки и многое другое. В канун Рождества — сочельник. Из ржаной муки без соли пекли пресные сочни и крестики. Сочни съедали сразу, а крестики по одному раскладывали в муку, зерно и другие продукты питания. Клали под дверями во всех помещениях. Чтобы в крещенские вечера нечистый дух «Шиликун» не веселился. Две недели до Крещения в них устраивали игрища. Каждую ночь под гармошку плясали кадриль,

играли, пели частушки и песни. За ночь до того угорали от табачного дыма и уставали от пляски, что еле домой приходили. Мужики целыми ночами играли в карты. Рассказывали, что как-то из нашей деревни Гаврил Ефимович выиграл хорошего жеребца с упряжью и дорогую енотовую шубу. А второй раз все свое с себя проиграл. Его привезли домой в чужом тулупе, выкинули в снег у ворот дома. После он вскоре умер. В крещенские вечера девушки гадали. В обручальное кольцо, опущенное в воду на дно стакана, старались увидеть своего суженого жениха. Ночью, выйдя на перекресток дорог, сняв с ноги валенок, бросали. Упав, валенок должен был показать своим носком, в какой стороне живет жених. Накрывшись постилахой, присядут. Каждая по очереди слушает, в какой стороне залает собака, в той стороне будет ее жених. Собирались в одну избу петь «Илею». Пели разные песни: веселые и грустные. Каждая девушка и молодуха приносила баранью лодыжку. Их клали в миску и закрывали платком. Для каждой песни через платок ловили лодыжку. Этим определяли судьбу на год — что будет, счастье или горе? Кто выйдет замуж, кто умрет. По старому стилю 6 января — Крещение» (А.Е. Кочкина, 1923, дер. Овчинниковы).

Рождество — праздник светлый. Дети его очень ждут! Урожай еще не съеден. Но и в праздник зимой крестьянин думает о будущем урожае. И.П. Шмелев (1911) передает свои детские впечатления: «Самый запомнившийся праздник — Рождество. Накануне ложился на полати спать. Отец приносил пудовку пшеницы. А ребята-подростки приходили и пели: «Рождество твое, крести, Боже нас!» А я за час проснусь и жду славильщиков — это самое большое наслаждение. А отец наделял пшеницей, чтобы росла хорошая пшеница. А некоторые проводили их в передний угол и сади-

ли на подушки, чтобы у хозяев водились гуси, а другие садили их на овчины, чтобы овцы водились. После этого праздновали».

Игры, забавы, шум, смех молодежи — не смолкали все дни праздника. Т.С. Ситчихина (1917) вспоминает рождественские игрища: «Откупали дом. На длинных лавках девчата и парни рассаживались. Приходили на игрище ряженые — какие-нибудь страшные животные: медведь (выворачивали шубу, надевали большую шапку); изображали лошадь. Как она в избу входит — так все старались подальше спрятаться. Были тут хороводы с песнями. Для каждого праздника — свои песни. Тут пелись только те, что предназначены для Рождества. Иногда во время песни просто ходит пара (парень и девушка) вдоль избы. Поют и приплясывают, все им подтягивают:

Подушенцы, подушенцы алы пуховы,
Где Ванюша, где Ванюша, яблонь молодая.
Я подкину я ширинку, паду на колени.
Ой вы, девушки, Рождество пришло,
Рождество пришло, девкам игрище...

И так далее. Все строчки повторяются».

Впрочем, новые песни, пляски проникали в крестьянскую среду в XX веке довольно быстро. Кроме этого, в рассказе Анны Гавриловны Посохиной (1907) обратите внимание на высокую культуру ухаживания за девушкой: «Ходили парами по кругу, пели песни; пройдут по кругу, споют песню и поцелуются. Танцы танцевали: “Прохожая”, “Краковяк”, “Коробочка”, “Кадриль”, «Топотуха” или проходили по кругу под “Испань”, “Яблочко”, “Во саду ли в огороде”, “Польку”, “Польку-бабочку”. Еще играли в третьего лишнего: садились парами, парень с девушкой, а другая —

лишняя девушка — ходила по кругу и спрашивала: "Милы — целуйтесь", "Не милы — выходи!" Если девушке не нравился парень — она выходила, на ее место садилась та, что водила. И так все шло по кругу». Веселье было бурным и шумным, но не опасным. Игры захватывали и опьяняли молодежь без вина, раскрепощали в праздник душу.

Катание на ледяных горках не только детей, молодежи — это примета Рождества. Хотя в некоторых местах ледяные горки, снежные городки — это примета уже нового праздника.

МАСЛЕНИЦА

После Рождества справят свадьбы и начинают готовиться провожать зиму. Вот, пожалуй, самый веселый, простодушный русский праздник. Чисто языческое детство и радостное ощущение единства со всей природой. Смех и игры не знают удержу. Веселье просто отчаянное, как и блины от пуза. Торопятся отвеселиться, отъестись сразу на много недель вперед — ведь грядет великий пост, да и само по себе время не сытное. А пока идет Масленица — веселись до упаду!

«Масленица — блины каждый день, катание на чем только можно: на шестах, колобельницах, ледянках, лошадях, стар и млад на улице. Колобельницы изготовляли, вместо санок, из широкой доски. Спереди прибивали поперечину, чтобы меньше втыкалась в снег. Чтоб удобнее было сидеть, приделывали облука. Снизу обмажешь жидким коровяком, заморозишь, косой поскоблишь, сделаешь ровным, наморозишь лед и каждый день всю Масленицу до поздней ночи катаешься с горы по дороге. Чаще всего в деревнях, что на горе, собирался народ со всей округи, делался посреди дороги желоб длинный-длинный. Девки и парни поли-

вали его водой. А потом на ледянках, специально сделанных санях, по нескольку человек катались по этому желобу. Несло, осыпая снегом, на большие расстояния. Смех, визг, крики. Взрослые катались с «городка» на шестах. Тут же на горе выстраивалась молодежь на кадриль. Хотя и на улице, и в одежде, но отплясывали кадриль, а то и барабушку. А зевак стояло, кто постарше, и того больше. Особенно в последние дни Масленицы. Приходили смотреть молодых зятевей. Целую неделю длилась Масленица. Хороша и вкусна! Каждое утро пекут блины. Кушаешь их со сметаной, с маслом, мороженым, сболтанным молоком. Каждый день свежие рыбные пироги, вкусное домашнее пиво и квас. В "чистый понедельник" провожали Масленицу. Жгли солому, под гармошку пели, играли в снежки, сжигали соломенное чучело. Это символ плохого человека, пьяницы, лентяя, человека неавторитетного, плохого хозяина. Парни снимали шесты и раскидывали "городок" из снега. Наступал Великий пост» (А.Е. Кочкина, 1923).

Масленица объединяла сразу несколько деревень, округа дышала празднично: песнями, звоном колоколец под дугами, играми и забавами. Не случайно А.А. Кожевников (1925) решительно считает: «Если народный праздник — то это, конечно, Масленка. Все деревни на этот праздник собирались. Запрягали коней в кошовки — сибирки. Ездили по деревням и сравнивали, у кого наряд коней лучше. Катались с гор на санках, на коньках, делали деревянные корыта с ледяным дном, делали такие шесты-гиганты, с которыми, взявшись за руки, съезжали попарно с гор. А вечером все выходили в поле за деревню, жечь масленицу. Собирали обмолотки, обмолотка по три со двора, делали кучу из соломы. Здесь и шутки, и пляска, и гармонь играет, весело было».

И в этом уж совсем никак не регламентированном церковью празднике никакого сумбура внутри не было. Время распределено от предков на веки вечные, какой забаве когда черед — все знают загодя. И никакого утеснения свободы, никакой тягости в этом нет — наоборот, острое предвкушение нового веселья, нового занятия удваивает радость встречи с ним. Коснырева Нина Никитична (1920) помнит: «А Масленица длилась целую неделю. Каждый день масленичной недели имел свое название: понедельник — встреча, вторник — заигрыш, среда — лакомка, четверг — разгул, воскресенье — прощеный день.

Молодожены обязательно посещали родителей, зятьев приглашали тещи на блины.

Свахи высматривали на катаньях с горок да на посиделках застенчивых невест, статных женихов.

С четверга начинались пение, катанья на санях, проходили кулачные бои, обряды. Дети строили снежный городок: одни с метлами охраняли замок, другие, вооруженные палками, атаковали его. После упорной борьбы замок "сдавали", а воеводу купали в проруби.

В воскресенье чучело из соломы сжигали с песнями и радостными криками, катались на санях...»

С горок, кстати, катались и дети, и большие парни с девушками, и взрослые. Горки поливали и намораживали до полкилометра длиной. Веселились и в домах. Там тоже всему был свой срок. Когда гости собирались домой, обычно пели протяжные плясовые песни. Например:

Не пора ли нам, ребята, чужо пиво пити.
Не пора ли нам, ребята, свое заводити.
У нас, братцы, все на деле, солод на овине.
Солод, солод на овине, бел хмель на тычине.

Тычинушка обломилась, бел хмель окрошился,
Обломился, окрошился на мать-сыру землю.
Как по той было дорожке собачка бежала:
Ножки тонки, голос звонкий, хвостик перевязан...

Или:

Мил мой милешенек
Из села идет пьянехонек.
Руки, ноги обморожены,
Бело личико надуто ветерком.
Сказал: «Милая, напой меня чайком».
Напоила, праву руку подала
И обедать собрала.

Заканчивалась Масленица и начинался Великий пост. Первый понедельник был «чистым» — топили баньку, мылись. Семь недель запрещалось кушать скоромное (мясное и молочное), а разрешалось есть рыбу, хлеб, картошку и другие растительные продукты. Такая ритмичность, чередование разных периодов в питании человека сказывалось на его здоровье благотворно. Об этом вспоминают многие старики. «Потому сейчас и болеем, что питаемся неправильно. Ни праздников — ни буден» (А.М. С-ова, 1917). Трудный, тяжкий искус для духа и тела человеческого — Великий пост. Но в этом испытании душа человека оттаивала, отмякала, уходила от суеты. С нетерпением ждали новый великий праздник.

ПАСХА

Если Рождество и Масленица — это ледяные горы и ледянки, то Пасха — это качели. Есть и еще одна особенность. Пожалуй, ни один религиозный праздник,

даже Рождество, не праздновался русским крестьянином так истово, проникновенно и сопереживательно, как Пасха. Е.С. Лебедева (1903) из деревни Уветы вспоминает: «В трудные годы проходило мое детство, а радости и веселья было много. Как весело было в деревне в праздники! Для меня был самый веселый праздник — Пасха. Мама готовила к пасхальному столу разные кушанья из творога, пекла кулич, печенье, крендельки и красила яйца. Такой стол у нас был только в Пасху. Накануне Пасхи вечером в церкви начиналась служба, шла служба до утра. Мама шла в церковь и брала меня с собой. Какая красота была в церкви! Она вся светилась огнями от свечей. Какое пение звучало! Днем в деревне на улицах шло веселье. Качались на качелях, водили хороводы с песнями, играла гармонь. Девушки, парни плясали кадриль. У детей были свои игры. Так веселились до позднего вечера. В другие дни веселье продолжалось всю пасхальную неделю. Всю неделю звонили церковные колокола. У людей было веселое настроение и на лицах светилась радость».

Многие помнят свое детское ощущение от праздника, насытиться которым при всем его богатстве, разнообразии красок, игр, развлечений так и не удается до конца: «И хотелось, чтоб долго-долго длилось такое празднование». Святили воду (во дворах, домах тоже), наряжали вербу, пекли куличи, красили яйца — катали яйца на улице. В каждой игре, забаве — свои неписанные правила, свой распорядок (порой отличающийся от порядка игры уже в соседней деревне). «Интересно праздновали Пасху. Родители заготовляли брагу, пиво, самогонку. Но эта брага и пиво были не очень хмельными. Называли это празднование — питухи. Гостились с родственниками. Обычно готовили блюда мясные, пекли пироги, а самое обязательное —

большие шаньги. Утром всей семьей помолятся, затем завтракают. Взрослые уходили в гости друг к другу. Молодые качались на качелях. Качели устраивали посреди деревни: одна — карусель, другая — обыкновенная: широкая доска — сиденье на веревке, которая висит на перекладине. Человека, который сидит на качели, раскачивают два человека и качают до тех пор, пока тот, кто качается, не скажет: "Три дни, три дни хлебушка не исть. Да Иванушка Михайлыча любить". (Имя то, кого этот человек любит). А если не говорит, то веревкой толстой так хлопнут по коленям, что не хочешь да скажешь. Качели были на дворе у каждого. Там собирались подростки. Девчата скакали на досках. Одна на одном конце, другая — на другом» (Т.С. Ситчихина, 1917).

Были качели также круговые; во многих местностях в Пасху качались и взрослые. Праздник! На двенадцатый день после Пасхи — Радуница. Шли в церковь и на кладбище поминать умерших родственников.

Наступало время сева. «День год кормит». Уже расцветали, распускались клейкие листочки березы. Приходила яркая летняя пора.

ТРОИЦА

Самым большим и радостным летним праздником была Троица. Люди радовались началу лета. Уже закончен сев, можно передохнуть до сенокоса. К Троице, как и к другим праздникам, вели большую подготовку. Перед Троицей обязательно надо очистить все: вывозят навоз на поля, дочиста подметают двор. Привозят из леса небольшие березки и ставят их перед окнами, вкопав в землю. Или просто убирают окна с улицы березовыми веточками. Вся улица подметена дочиста. «Троицу хорошо помню. В каждой деревне все от ма-

ла до велика выходили на улицу. Везде толпы народа: пляски, танцы, водили хороводы. Избы в деревнях украшены веточками березы, дуба, сирени. На улице расставляли скамейки, выносили ведра с домашним пивом (оно без дрожжей). В каждом ведре — ковшик, все могли угощаться — и старые, и малые. Оно было не хмельное, а подымало настроение. На сборище много музыкантов. Из малых деревень, за 2-3 км, люди приходили в большие села и деревни. Все эти торжества и гулянья шли часов с 12 и до поздней ночи. Дети, насмотревшись на танцы и гулянья, отделялись подальше и устраивали всякие игры: лапту, городки, чижпалку, котел-шар и другие» (И.И. Зорин, 1918).

Троица — это праздник русской березы. Она — любимое дерево на празднике. «В Троицу, после того как сходили в церковь, собирались на угоре, срубали березку, наряжали платками, лентами и отпевали: “Не на месточке березка вырастала, не на месте. Не на месте в чистом поле, никто к березке не подъедет”. Все было очень весело, никто матерного слова не скажет, пьяных не было. Пели всякие круговые песни» (А.И. Семенова, 1908).

Каждый праздник при этом был произведением активного творчества данного села, округи, деревни. Зрителей и артистов в современном понимании слова не было. Каждый был и участником, и выступающим. Так порой игру в лапту начинали ребятишки, затем их оттесняли взрослые парни, а на смену им шли почтенные бородачи. Не подлежит, однако, сомнению, что роль молодежи в каждом празднике была очень велика. Это — его бродило, закваска.

В праздничных играх дети имитировали жизнь взрослых, учились многому. Игры переходили по округе из деревни в деревню.

«Были такие детские игры: “чур-чур не на дереве”, на этот счет все должны ступить на дерево, кто не сто-

ит на нем — тот водит. Игра в лошадку, игра в лапту, любили прыгать на доске, собирали красивые стекляшки, шили из тряпок куклы, из коробок делали коня. Девчонки часто играли в дом, пекли пирожки из глины. Устраивали свадьбу, каждый играл свою роль — кто невесту, кто жениха, кто ямщика, кто коня».

«Любили в праздники играть. Играли в горелки, лапту, лунки и другие. Сперва мы, ребятишки, играли в лапту. Постепенно к нам присоединялись старшие, и наконец мужики совсем нас вытесняли. Забавно было смотреть, как несется такой мужик-бородач за мячом, да как поддаст его к самому небу. В праздники ребятишек посылали звать на игры из другой деревни гостей. Состязались в пении, ловкости. На другой день звали нас. И так игры шествовали из деревни в деревню».

А для самой молодежи праздники — это необходимая школа культуры ухаживания. В каждом хороводе, танце, песне, частушке многое зависело от творчества каждой отдельной пары. Язык ухаживания, объяснения в любви многие обретали именно здесь. Вот что вспоминает об этом В.А. Ведерникова (1925, село Мокино): «Особенно мне запомнился праздник, который проходил в июне каждый год, это Луговое заговенье. В этот праздник проходили массовые гулянья молодежи на лугах возле речки Гремечки. Собирались на гулянье парни и девушки всех деревень. Посмотреть шли все: от мала до велика. Мне даже запомнились песни, пляски, танцы, хороводы, частушки. А в наше время все забыли. Так отмечались летние праздники до 1940 г. Сочиняли песни, частушки сами помнили из прошлого. Танец “Заводская” танцевали под гармошку и песню. Это танец с красивыми переходами, массовый, для многих пар. Слова песни этого танца я помню, помню и народную мелодию:

Во заводе были мы,
Во заво́де были мы,
Были мы, были мы,
Были мы, были мы.
Кого надо видели,
Кого надо видели,
Видели, видели,
Видели, видели.
Сокола мы видели,
Сокола мы видели,
Видели, видели,
Видели, видели.

А вот например, в песне “Розочка алая” объяснение в любви было творчеством пар. Каждая пара составляла свои куплеты. Мне запомнилось, как в центре хоровода поет пара молодых:

Молодец: *Солнце светит,*
Светит ярко.
Хор: *Розочка алая.*
Молодец: *Распевают птички звонко.*
Распевают птички звонко.
Хор: *Розочка алая.*
Девушка: *Думы мои светлые,*
Думы мои светлые.
Хор: *Розочка алая.*
Девушка: *О тебе, любимый,*
О тебе, любимый.
Хор: *Розочка алая.*
Молодец: *Ты моя милая,*
Ты моя милая.
Хор: *Розочка алая.*
Молодец: *Ты роза алая,*
Ты роза алая.

Хор: *Розочка алая.*
Оба: *Ты моя милая,*
Розочка алая.
Будем вместе оба,
Будем вместе оба.
Хор: *Розочка алая.*
Оба: *Светла нам дорога,*
Светла нам дорога.
Хор: *Розочка алая.*

В конце танца запевает молодец:

Милая, милая,
Милая, милая.
Хор: *Розочка алая.*
Молодец: *Радость дорогая,*
Радость дорогая.
Хор: *Розочка алая.*

Поют вместе: *Сядем мы в карету,*
Сядем мы в карету.
Хор: *Розочка алая.*
Оба: *Кареты у нас нету,*
Кареты у нас нету.
Хор: *Розочка алая.*

Парень и девушка прощаются за руку, расходятся в разные стороны. Хоровод продолжается. В центре хоровода появляется новая пара. Каждая пара в центре хоровода не только пела куплеты, но и сопровождала их танцевальными движениями, которые соответствовали музыкально-песенному оформлению».

На другой день после Троицы — Духов день. В этот день землю обрабатывать нельзя — земля именинница.

Зачастую праздники отмечали не только всей деревней, а всей округой. Собирались со многих деревень в определенном месте — на лесной поляне или около речки, или в определенной деревне. Это было уже традицией. Веселились — пели песни, плясали, водили хороводы.

Сами и наводили порядок, если что. А.Я. Двинских очень образно вспоминает: «Праздники в деревне у нас все сполнялись. Начиная: Рождество Христово, Масленица, Пасха Христова, Семеновская, Покров, Ильин день. До обеда все деревни собирались у нас, в деревне Онучины, а после обеда в Полканах — пляшут и танцуют. Народ гулял отлично и весело. На кадрелочку под гармошку встанут 30 пар — любо-дорого посмотреть. Если кто пьяный защехободится, у нас были такие мужики — поднимут за грудь и к земле прищелкнут, больше не скувякает. И вот это были праздники дак праздники — веселились от души. Вся округа гуляла вместе». Выделяет она и праздничную природу — кажется ей, что больше было красоты вокруг в прошлые праздники. «Вот о Масленице выйдешь кататься — все небо усыпано звездами и все сверкают-переливаются, интересно было на небо смотреть. Тепере не так, вот тут-тут звездочка, и все. Выйдешь на улицу, народ весь радостный, катается. А катались-то как. Из деревни в деревню в колокольца лошадях на десяти едут — просто душу задевает, на подушках, одеялом закрыты — красота-то какая! Молодежь в гармошки играет. Соберутся у Захара Никоновича — все в ограде плясали. Ограда большая, дак ведь не уходит народ-то в нее и высыпает на улицу плясать».

Немало летних праздников справляли в деревнях — где-то свои престольные праздники, где-то дошедшие с очень древних языческих времен. Многие вятские крестьяне с радостью вспоминают, например, яичное

заговенье. Много праздников и осенью. Уже в колхозной России широко справляли дожинки... Всего попросту здесь не назовешь и не перечислишь. Но любой из крестьянских праздников был немыслим без песни. Причем пели все, пела душа человеческая.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПЕСНИ, ПЛЯСКИ, ЧАСТУШКИ

И в радости, и в печали с людьми всегда была песня. На каждый праздник, на каждое время года была своя песня. Она двигала тот праздник, для которого была предназначена. Иван Петрович Чугаев (1911), родом из Афанасьевской волости, вспомнил песню, которую у них пели на Троицу:

Александровска береза, береза,
Она листьями шумела, шумела.
Золотым венцом веяла, веяла.
Гуляй, гуляй, голубок,
Гуляй сизенький, сизокрыленький.
Ты куда, голубь, пошел,
Куда, сизый полетел?
Я ко девице пошел,
Ко красавице пошел,
Коя лучше всех,
Коя вежливее.
Без белил она бела,
Без румян хороша —
То невеста моя.
Поцелуй же меня!

Песни пели на посиделках, в застолье, вечером в будни своей семьей, отдыхая в середине рабочего дня, возвращаясь с работы. «Как-то было принято раньше,

что без песен нет и жизни. Идут на сенокос — поют, сошлись 3-4 женщины в доме, чтоб посидеть вместе за работой, — поют, оказалось свободное время в воскресенье, собрались на завалинке женщины — опять поют» (Т.С. Ситчихина, 1917). Вот такой своеобразный лирический настрой крестьянской души говорил о высокой культуре чувств.

Если одни песни пели в свободное от работы время, другие — на летних и зимних игрищах, третьи — на свадьбах... Репертуар был очень широкий, в каждой деревне свой. Были в нем и широко известные песни, и песни, которые пели только в округе.

Возьмем обычную деревню в центре вятского края. Что же пели здесь чаще всего наши деды и бабушки в начале века? А вот что! «Течет речка-невеличка с бережками вровень...», «Поехал казак на чужбину далеку, ему не вернуться в родительский дом...», «По Дону гуляет казак молодой...», «Потеряла я колечко, потеряла я любовь, я об этом о колечке буду плакать день и ночь...», «Ой да ты, калинушка, ой да ты, малинушка! Ой да ты не стой, не стой на горе крутой!», «По диким степям Забайкалья», «Ты липа, ты липа, ты зачем, липа, разлипаешься? Ты куда, мой милой, собираешься? — Собираюсь я во солдатушки, не на год, не на два, а на двадцать лет», «Как во полюшке девонюшка гуляла, самоцветные каменья собирала», «Суд судил девицу одну, она дитя была годами...», «На Муромской дорожке стояли три сосны...» — и это еще не все. Человек вырастал в атмосфере песни, дышал, жил ею.

Без песни были немыслимы посиделки (вечерки). Проблемы одиночества среди молодежи не было. На вечерке любой парень мог легко познакомиться и свободно поговорить с любой девушкой. «В вечеринку обычно все расходились по парам, одна из которых водила. Водящие подходят к каждой паре и спрашива-

ют — люба ли? Если не люба, то эту девушку забирают, спрашивают, кто люба, и приводят ее» (А.И. Веретенникова, 1913).

Бывало и вот так: «Любили мы раньше в избушках собираться. Вечером так приоденешься, сарафан красивый да косу туго заплетешь и пойдешь в избушку. Там много молодежи собиралось. Мы всегда сидели пряли и песни пели. Сперва парней нету, а потом к ночи стучатся. Только зайдут, так гармошку затягивают и пошли плясать. Любили очень хороводы водить и у озера сидеть, рассвет встречать» (А.Ф. Санникова, 1923). Живое слово песни, частушки, сказки давало отдых человеческой душе, освобождало ее от тяжкого быта.

Гармонь во многие деревни пришла довольно поздно — в конце XIX — начале XX века. Продолжали кое-где играть и на балалайке. Но парни-гармонисты быстро стали людьми авторитетными и уважаемыми, любимцами девушек. К 1930-м годам даже в глухих деревнях, кроме хороводов, плясали немало и других, более современных плясок. Александра Дмитриевна Бякова (1924) вспоминает родную деревню Желни Куменского района: «Песни в это время пели все, молодые и средних лет люди. Пели не все время: по праздникам или когда лен мотыжили, жали вручную. В праздники на угорах собиралась молодежь, играли гармонисты на несколько гармошек или по очереди. Мы плясали, под собой ног не чуяли. Плясали вальс, краковяк, подгорную, испань, подыспань, коробочку, барыню». Иной раз веселье не смолкало всю ночь — и это после напряженного трудового дня. Очевидно, дело в посильном человеку ритме жизни. «Сейчас все спешат-торопятся, и мы раньше спешили — но не так. Помню, на вечерочку соберется столько народу, как будто и не работали целый день. И пойдет веселье!» (А.И. Гребенева, 1917).

Вечерка в XX веке уже немыслима без частушки, так недавно, но столь прочно вошедшей в крестьянскую жизнь. Частушка — это элемент, прежде всего, молодежной культуры. Главная тема частушек — любовь. Сила ее была в быстрой импровизации, узнаваемости конкретных лиц и деталей, диалоге поющего частушку и его соперника. Частушка была немыслима без пляски. «А какие мы частушки пели — на месте сочиняли. Тебе б не так просто словами сказать, а нужно выскочить в круг и, приплясывая, ответить парню, да еще со смешинкой» (А.И. Гребенева, 1917).

Удавалось это далеко не всем. Поэтому были и «домашние заготовки». Об этом помнит Т.С. Ситчихина (1917): «Частушки в основном сочиняли коллективно. Иногда одна девушка или молодая женщина сочинит первые две строфы, а вторые уже сочинят другие строфы. Сочинялись они, конечно, более талантливыми, пусть даже неграмотными людьми. Они как-то сами собой складывались, если человек сильно переживает измену любимого, или полюбил кого-то, но не признался еще в любви. Через частушки иногда человек хочет выразить свое удовольствие каким-нибудь событием. Например, при появлении первого трактора в деревне много создавали частушек о тракторе и трактористе. Особая симпатия девушек была к гармонистам, поэтому о них много создавалось частушек. Любимыми частушками для девушек были лирические, в которых пелось о любви, об измене, о замужестве».

Частушка — это блестящая, озорная импровизация в стихах «со смешинкой». Без смешинки — нет частушки.

Думается, что небольшая подборка частушек, которую припомнила Татьяна Ивановна Ситчихина (1909, Омутнинский район) из времен своей юности наглядно показывает это:

В поле рожь, в поле рожь,
В поле рожь посеял.
Распроклятая любовь
Кто ее затеял?!

У ха-ха, у ха-ха,
Чем я девочка плоха,
На мне юбка новая,
Сама я чернобровая.

Играй, играчок,
Я прибавлю пляски,
За твои за русы кудри,
За карие глазки.

Боевая, боевая,
Боевая, не позор,
Боевую лучше любят
За веселый разговор.

Ты пляши, ты пляши,
Ты пляши, не бойся,
Я тебя не завлекаю,
Ты не беспокойся.

Гармонисту за игру
200 грамм зеленого,
Ягодине за измену
Яду разведенного.

Эх, жарко косить,
Жарко сенокосить,
Жалко, миленький, тебя,
Но придется бросить.

На потолке подвешена
Лампочка блескует,
Баской паренек
О девушке тоскует.

Голубое одеяло
Всю постелю голубит.
Нынче взяли парни моду
За измену девок бить.

Раньше были мальчики
Водили в ресторанчики,
А теперь такая шваль —
На кино рублевку жаль.

Эх, чайнички,
Золотые дужки.
Веселитесь, девушки,
Пока не молодушки.

Кудреватые, баские,
Где такие водятся.
У них матери, отцы,
Наверно, богу молятся.

Праздники были немыслимы без игр. В 20–30-е годы дети и молодежь еще любили играть в лапту, «лаливали», городки, бабки, «третий лишний», ходить на ходулях, качаться на костровых качелях парочкой.

Старики любили наблюдать за игрищами, праздновали по-своему. Большинство из них были люди набожные. В религиозные праздники, по воскресеньям они ходили молиться в церковь, причем некоторые даже ходили в день по три раза: к заутрене, обедне и вечерне. Для среднего поколения праздник — это свои

радости и свое веселье. В стороне не оставался никто.

Чередование праздников и будней, мощная праздничная культура, приносящий удовлетворение труд, ощущение своего единства с природой — все это создавало у крестьянина ощущение полноты жизни, ее полнокровности и эмоциональной насыщенности. Крестьянин мечтал быть только крестьянином — и эту истину нам стоит понять.

Глава 4. ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ

О ПРАВИЛАХ ЖИЗНИ

Выжить, продолжить свой род, прожить век достойно — в одиночку было невозможно. Стремясь заработать на жизнь себе и своей семье, люди боролись не друг с другом, и не с природой, суровой и капризной, а со своей судьбой. Только вместе, всей деревней они могли решить свою важнейшую проблему — иметь кусок хлеба каждый день. Мало было физического труда, нужно было еще и определенное общее духовное устремление.

Мне кажется, что каждая небольшая деревенька, сельцо, большой или малый город имели свою уникальную духовную пневмосферу. Атмосфера такого рода была традиционна, во многих местах остатки ее ощущаются и поныне. Человек, создавая среду своего обитания, создавал вокруг каждого населенного пункта своеобразное духовное поле. Для крестьянской России 20-х годов, а кое-где и в 40-е годы в духовной атмосфере этих небольших населенных пунктов были свои общие черты. Радость и огорчение людей проявлялись открыто, ярко, страстно. Сдержанность даже порицалась, почиталась за бесчувственность («эко каменный

какой»). Напор молодой жизнерадостности, о котором с тоской вспоминают нынешние старики (именуя наше время серым), был очень велик.

«Жизнь до войны была веселая. Уедешь пахать или боронить в поле. В поле едешь очень рано, песни петь не хочется, а с поля — не считаешь, что устал, начинаешь песни. Как сядешь на верховую и до самого вечера, не останавливаясь, пели песни. Как-то на душе все было хорошо. Придет сенокос — то же самое. Все мужики и бабы на сенокосе! И тоже смех да радость. И вроде не видаючи день пройдет. Потом подходит страда. Жали серпом. В поле, конечно, только смотрели друг на друга, чтобы никто не опередил. Жали помногу, серпом выжинали по 30 соток на человека. А если вязать, за жаткой надо было навязать 300-350 снопов. И все их поставить суслоном или бабками. А домой тоже — с места тронешься, когда солнце сядет на место. И все это было с таким весельем и песнями. Или сядешь поужинать или пообедать, так не было никаких крупных разговоров, только смех, и все были какие-то жизнерадостные», — вспоминает К.А. Головешкина (1920).

Всякое крупное событие в жизни воспринималось очень эмоционально, дар удивления возводил в ранг чуда происшествия, по нашим нынешним меркам незначительные, «мелкие» и нелюбопытные. А между тем именно такая внимательность ко всякой жизненной мелочи культивировала любовное отношение ко всему происходящему вокруг тебя, личной судьбе. «Выезжать в поле было великой радостью. Это утро считалось праздником» (А.И. Головнина, 1910).

Можно сказать и так, что неразвитость индивидуального сознания позволяла индивидуализироваться только деревенскому коллективу.

«Раньше мы жили плохо, материально-то. Ой, а сосед с соседкой встретятся — наговориться не могут.

Жили бедно, но гораздо веселее и дружно раньше жили. Все вместе работали, кто чего скажет — смеемся до слез, никогда никаких ссор не было. А как жить стали богаче, стали завидовать друг дружке. Народ раньше-то лучше был» (М.В. Жданова, 1906).

Основным источником радости и огорчений в жизни был труд в своем хозяйстве. «Рабочий человек раньше был не богат, но у каждого была земля и он был доволен» (А.И. Головнина, 1910).

Не будем идеализировать — люди в деревне были очень разные: и добрые, и злые, и жадные, завистливые и щедрые, лодыри и великие трудолюбы. Но ориентир был именно на людей с лучшими человеческими качествами, к которым тянулись и другие. Нравственный микроклимат определялся тем — кого ставили в пример, кого ценили и уважали все.

«Люди по характеру были доброжелательны и трудолюбивы. Образцом для деревни был обычно дом, где все работали, работали весело, много, где в доме были шутки, смех, где весело отмечали сельские праздники. Эта семья обычно была не богаче других, не наряднее одевалась, не лучше других кушали. Но из этого дома почти всегда слышалась песня, вечерами игры на гармошке или балалайке, двери этого дома были всегда раскрыты для всех. Около забора у этого любимого дома росла большая черемуха. Когда поспевали ягоды, хозяин этого дома ставил лестницы на черемуху, и мы, ребятишки всей деревни, с удовольствием ели ягоды. Они были крупнее, чем на других черемухах. Хозяин просто ежегодно удобрял дерево навозом, и, кроме того, доброта и улыбка делали ягоды еще вкуснее. Потом он за свое добро жестоко расплатился в годы раскулачивания» (А.А. Ваньшин, 1917).

Главное богатство крестьянина — не деньги, а хлеб и скот. Экономность, бережливость нередко у стариков

превращалась в скопидомство, стремление беречь деньги «на черный день». К.Н. Шаромов (1917) рассказывает: «Дед-то у нас скупой больно был. Денег даже на одежу дочери не давал, все говорил денег нет. А кто знал, что он копил. В лавке он работал, потом умер и ничего не сказал, что деньги, где прячет. А потом ведь их случайно нашли, а реформа-то уже прошла, они и обесценились. Куча ведь целая! Ну чё, куда девать-то их. Мы и решили ими стены оклеивать, а керенки-то большие были. Два раза избу оклеили! Столько их много было! Заместо обоев».

Деньги сами по себе для крестьянина мало что значили. В созданном за многие столетия жизненном укладе ценилась красота человеческих взаимоотношений, умение хорошо жить — искусство жизни, правильных взаимоотношений со всем окружающим миром.

Вот как бесхитростно рассказывает об этом М.С. Семенихина (1909): «Земля, лес и вода кормили нас, и относились к ним как к кормилице. Мы, дети, видели, как берегли лес, как ухаживали за землей и старались делать так же. Мы с детства видели, что и соседи поступают так же. Конечно, были и ленивые, неживые, как их называли, страни. Но их осуждали все. А ставили в пример людей работящих, честных, верующих, добрых. Через дом от нас жила семья Пеньковых. Алексей Иванович и Прасковья Алексеевна были очень рассудливые, умные люди, никого не огорчали за свою жизнь, и сын был у них такой же. Он, наверное, и кошку-то никогда не обидел. И все дети выросли тоже порядочными людьми. У таких работящих людей и в доме был порядок и зажиток».

«Проще мы промеж себя жили», — заметил в беседе другой старожил. Но эта простота отношений была выстраданной, выработанной столетиями, опиралась на огромный кодекс неписаных законов и нравствен-

но-этических норм. Родители-старики на Вятке, например, в случае раздела доживали свой век с младшим сыном.

Родственные отношения невероятно ценились и были огромной силой. Очень важным было не только кровное родство. Крестные отец и мать влияли на всю жизнь человека, кумовья, сваты ответственно несли по жизни ношу нежданно свалившегося родства.

«На сходах все здоровались друг с другом за руку, называя по имени и отчеству. Деревня была — дюжина дворов. Все были хорошими соседями. Люди знали всех своих родственников до седьмого колена. А сейчас и родственников-то как таковых не стало. Ты — мне, я — тебе. Раньше дети родителей допаивали и докармливали до смерти, а теперь это умерло. В отношениях между родителями и детьми все наоборот стало. Равнодушными становятся люди».

И сломали эту поэтическую патриархальность не только коллективизация, индустриализация, но и великая война, переломившая окончательно хребет русской деревни. Вот что думает об этом старый солдат А.А. Распопов (1907): «После войны чрезмерно стало развиваться пьянство. Бранные слова стали употреблять не только взрослые, но и подростки, даже маленькие дети. Изменился характер людей. Меньше доверия, больше лжи. Вежливость стала редкой. Красота человеческих отношений стала пропадать. Особо хочется отметить невероятно растущую грубость в отношениях.

За свою долгую жизнь я понял, что русский человек обладает невероятной приспособляемостью к суровым условиям жизни, феноменальной выносливостью. На фронте, в тяжелых боях подолгу голодали. Но 70-80 км голодный солдат шел, утопая в грязи, по болоту, днем и ночью. Нельзя было чиркнуть спичку, чтобы зажечь костер. Питались обгоревшей как уголь кар-

тошкой, которую находили в сгоревших деревнях, находили падшую лошадь... И солдат шел, голодный, промокший до костей, усталый до изнеможения. И в таком состоянии принимал бой. Нет на свете терпеливее русского солдата! Знаю много других солдат: немцев, австрийцев, итальянцев, которые являются слишком нежными. И еще главное — это вера. Русский человек верит во все, что ему говорят выше расположенные начальники. И если сказали — это правда, он будет бороться до конца, так как это правда в действительности, может быть, была ложь. Русский человек может терпеть обман и верить во все ему сказанное не только день, месяц, но и десятилетия». Пора нам понять: Великую Отечественную войну выиграл крестьянин, сумевший перенести неимоверные тяготы. Ведь основой всей крестьянской жизни, смыслом ее был повседневный тяжкий упорный труд.

«С самого раннего детства нас приучали к труду дома и в поле. Старшие нянчили младших, кто поменьше — оставались летом дома. Пололи и поливали грядки, таскали воду с речки, окучивали, мыли полы, готовили еду, собирали и провожали скот в поле», — такого рода рассказы обычны. Но труд не был мукой, тоскливой обязанностью или унизительной необходимостью, он просто был неотъемлемой составной частью ежедневного ритуала. Ритуализирована была вся жизнь крестьянина — с утреннего петушиного крика до сумерничанья в потемках вечером. «Раньше люди и работали хорошо и отдыхали неплохо. Жили в горести. Соблюдали свои правила, так сказать, поведения в жизни» (Н.Е. Солодов, 1913).

Правила эти предусматривали едва ли не все в жизни крестьянина, так что ему оставалось только следовать им. Любое отступление от такого рода неписаных правил жестоко каралось самой жизнью — такое мнение было

широко распространено. Поэтому честным надо быть, в первую очередь не перед другими, а перед собой...

В восприятии крестьян многое выглядело наивно, лубочно. Но свои нравственные правила поведения многие блюли свято. «Дед у нас в 1942 году умер от голоду, сам хлеб не ел — ребятишкам оставлял». Или вот такой случай: «У меня дед в 1943 году с голоду умер, охраняя колхозные склады с зерном. Горсточки не взял». И несть числа таким рассказам.

ПОСТЫ И МЯСОЕДЫ

Как сутки делились на день и ночь, так крестьянский год делился на посты и мясоеды. У каждого поста или мясоеда была своя изюминка. Да и в каждой деревне, пожалуй, была свойственная только ей особенность в пище, строго ориентированная на климат, природу, человека.

Крестьянская культура питания. Вопрос не менее сложный, чем духовная культура, но еще менее изученный. Казалось, что в отношении крестьян к пище все проще пареной репы — что было, то и ели, ориентируясь на время года и систему постов. Но, расспрашивая людей о питании даже в 20–30-е годы, я был поражен разноголосицей, противоречиями, отсутствием видимого единообразия. «Да и была ли какая-то одна строго определенная система питания?» — невольно закрался вопрос. Но затем я заметил, что при всем разнобое в питании, зависевшем от благосостояния, природных условий, земель, вод, лесов все-таки какие-то единые подходы в отношении крестьян к пище существовали.

Система постов и мясоедов соблюдалась неукоснительно. Даже внутри недели (по дням) питание различалось. Вот что рассказывает Булдакова Мария Михайловна (1919): «Питание в деревне было строго рас-

пределено по постам и мясоедам, кроме того, соблюдались постные дни в течение недели — понедельник, среда, пятница. Пищу готовили сразу на весь день. Воду не пили, потому что постоянно на столе стоял большой кувшин с квасом. Ели все из общей чашки. Квас варили из солода в бочках и держали в погребе. На праздники делали черное пиво, непьяное, без сахара. А если положить сахар, то получалось пьяное пиво, которое готовили на свадьбы. Заготовляли растительное масло из льняного семени. Из гороха варили гороховицу, из гороховой муки пекли блины, делали гороховый кисель. Из овса делали толокно и ели его во время поста с квасом. Из овсяной муки пекли блины, делали всякие крупы. Сушили на всю зиму грибы, из сухой рыбы варили щи. Картофель и овощи были весь год. Сахару ели мало, давали только вприкуску по кусочку. Солили огурцы и капусту в бочках. В мясоед ели все, что было, но мясное ели не каждый день; лучшее припасали на летние работы, когда труд тяжелее. Я считаю посты и режимы очень правильными, так как не припомню, чтобы у нас в деревне кто-нибудь жаловался на желудок». Кстати, по профессии М.М. Булдакова — фельдшер.

Ей вторит Чарушников Семен Яковлевич (1917), отметивший, кстати, что праздничный чай после бани в субботу в 20-е годы уже широко вошел в обиход: «Весь год в питании разделяли на посты и мясоеды. В посты (говенья) питались только постной пищей: варили из крупы щи, кашу; из репы — репницу, из лука — луковицу, гороховицу из гороха, квас с хреном, грибовницу летом, картофельницу, льняное масло с картошкой, рыбу, заваривали капусту. Мясоедом питались мясной пищей: варили суп, варили картошку с мясом, молоко, творожное молоко (грудки) со сметаной. Вся семья ела из одной чашки деревянными ложками. Вилок не было. Перед обедом всегда мыли руки,

крестились перед иконами. Детям не давали бегать с куском. По субботам топили баню. Бани были черные. После бани обязательно ставили самовар и пили чай с сахаром и калачами».

Почти все продукты для питания крестьяне производили сами. Что растили — то и ели! И посмотрите — насколько все это было многообразно!

«Семья наша из 14 человек состояла. Обрабатывали всю землю своей семьей. Земли было на каждую душу по 3 десятины. Питались продуктами своего труда: мясо, молоко, рыба, картошка, овощи, хлеб. Все было свое! Покупали только сахар, чай, конфеты. Крупы сами делали: именно, пшеничная, горох, овес, рожь. Делали солод, варили самогон. Относились к хлебу благородно, вся жизнь была на хлебе и скоте. Каждый колосок подбирали. Вся экономика была хлеб да скот» (И.П. Шмелев, 1911).

Бережливость была в крови, ведь все выращено тяжким трудом, обильно полито потом. Вот две маленькие реплики о хлебе: «Трудились от всей души. Хлебец берегли будь здоров! Ведь Илья-пророк даже с лошади за горошиной слезал»; «К хлебу относились по-божественному, не плевое отношение было к хлебу — не выкидывали ни кусочка. Основная еда наша была хлеб с молоком, его пекли в воскресенье на всю неделю».

Обеденная трапеза в многолюдных семьях была ежедневным ритуалом, причем хлеб был главным компонентом питания. Вот как Г.А. Сычев, родом из маленькой северной вятской деревни Николинцы, рассказывает об этом: «Дорог хлеб, когда душа человека вся без остатка вложена в него. Мясные блюда ели только по праздникам. То же и с сахаром, а приобрести белую муку никто и не думал. В будни основной пищей была картофельница. Это сваренная в мундире картошка, очищенная и истолченная. Затем залитая

крутым кипятком, посоленная и поставленная в русскую печь. Перед подачей на стол приправляют луком, молоком, можно заправить сметаной, маслом. Масло шло на уплату налога государству, для себя почти ничего не оставалось. На зиму на семью из шести человек заготавливалось: грибов соленых 6-7 ведер, столько же заваренной капусты, 4-6 тонн картофеля и немного лука. Солили все в кадушках и бочках. В урожайный год набирали брусники. К весне из всей этой заготовки — оставалась одна картошка. При такой постной пище, без жиров и мяса, хлеба ели много. Ничего не стоило мужику за столом с картофельницей съесть килограмм хлеба за обед. К праздникам варили в корчагах пиво, приправленное хмелем. Это черный, густой напиток с коричневой пеной, которому нет равных по питательности и вкусу. Огурцы, ягоды, помидоры не выращивали. Мода на содержание свиней только еще начала появляться. Главное было — хлеба досыта наестись. Остальная пища — это так, второстепенное. Хлеб был чуть ли не святым. Бережливость к хлебу была аскетическая. Например, когда семья сидела за столом, и руки так и сновали в большую деревянную чашку с картофельницей, и все, торопливо набивая рты хлебом, жадно жуя увлажненный хлеб, зорко следили за тем, чтобы, Боже упаси, хоть самая маленькая крошечка хлеба не упала на стол. Если отец семейства заметит такое варварство за кем-нибудь из детей-малолеток, он молча бил по лбу своей большой тяжелой ложкой. Но слез не было, не до этого было.

У детей от употребления большого количества хлеба, картошки, капусты, грибов животы были вздутыми, натянутыми, с посиневшими пупками. До семи лет дети не имели штанов, их заменяла длинная холщовая рубаха, и только зимой одевались в штаны, валенки или лапти. Все лето дети, да в большинстве и взрослые,

ходили босиком. Болели мало. Если случалось заболеть, болезнь переносили спокойно. Никаких лекарств не имели, врачей не звали, морозов не боялись. Зимой к соседу многие бежали по деревне раздетые, босиком, радуясь своей лихости. Если же простуда иногда брала за горло, садили ребенка в русскую печь на смоченную ржаную солому, закрывая печь заслоном. Вместе с обильным потом выходила простуда, после чего было легко и весело».

Хлеб же был и главным мерилом достатка в жизни крестьян. А в 30-е годы заработать его все стремились как можно больше. В средней и северной России под хлебом понимали только ржаной хлеб. Пшеничный считался лакомством, как бы вроде даже и баловством.

«Белый хлеб раньше как бы деликатес считался. Отец пришел с германской войны в 1918 году, привез каравай белого хлеба. Помню его, как сейчас, лежал на столе. А я у отца сидел на правом колене, сестренка — на левом колене, держали мы по ломтю белого хлеба» (Н.Е. Солодов, 1913).

И мой отец, возвращаясь в 1943 году с фронта после тяжелого ранения, вез в родную деревню Решетниково матери в подарок каравай белого хлеба.

Пожалуй, отличительной чертой крестьянского рациона было огромное преобладание растительной пищи над животной. При незначительности сладостей в питании вкус у людей был изощреннее, вкусовое восприятие тоньше. Мед или сахар с праздничным чаем доставляли неслыханное наслаждение. Это был вкусовой взрыв! Овощи, грибы готовились очень разнообразно в соответствии со временем года, определенные блюда привязывались к религиозным праздникам. Очень хорошо помнит это М.С. Семенихина (1909): «Пожалуй, до тридцатых годов, до колхозов, семьи жили по старым обычаям. Это и были годы моей юно-

сти. Жизнь шла размеренно, по строго заведенному порядку. Будни сменялись праздниками. И это делало жизнь разной. В будни, постом, делали всю необходимую работу. По постам ели грибовницу, картофель, гороховый кисель, кисель — с постным маслом, льняным, постные щи с воблой, жареную морковь, свеклу, репу, настоянные в воде, луковицу (сваренный лук в квасе), уху из рыбы, картофель, жареный с треской, толокно с квасом; запарную крупу со сладкой водой, ячменную кашу, соленую капусту, соленые грибы с блинами, пироги рыбные, морковные, свекольные, пареную тыкву и другие овощи. А в Великий пост из пищи исключалась даже рыба. Фруктов в нашей пище никогда не было. Мы о них не имели понятия. Чай пили после бани в субботу, в воскресенье, после обедни, или в том случае, если в доме гости. В остальные дни вся семья пила квас. Молоко, яйца, масло, мясо ели только мясоедом. Мясо было свое. Хранилось мясо. Специально для мясоедов копилось масло, яйца. И хоть хлеба у нас хватало на год (зерно мы не продавали), но кое-что приходилось кормить скоту — молоть посыпку. К хлебу относились всегда очень бережно. Никогда не кормили скот печеным хлебом. И даже так. Если вот за ужином не доешь кусок хлеба, то тебе его дадут есть утром, за завтраком. Так вот нас приучали доедать кусок хлеба обязательно. По постам я любила запарную крупу со сладкой водой, может быть, потому, что сладким нас вообще не баловали. Конфеты покупали к Рождеству, Пасхе. А тут была сладкой вода. Готовили запарную воду так. Овес запаривали кипятком, складывали в корчаги, парили в печи два дня подряд, подливали кипяток. Затем сушили, потом мололи на мельнице, предварительно одернув на одергуше. И вот готовую крупу заливали сладкой водой. Иногда водой с медом. Крупа разбухала, воды добавляли... Нам это казалось очень вкусным!»

Умеренность, крестьянский аскетизм, самоограничение в пище было порой невероятным. Это шло, конечно, от бедности, вечного страха перед голодом, врожденной привычки к самоограничению, сведению к минимуму всех своих потребностей.

«Годы юности моей были очень тяжелыми. Со дня рождения и до 1926 года, когда я стал работать уже учителем, я не едал чистого хлеба. Мать пекла хлеб из муки вместе с отрубями. Не знал и не едал мяса. Мать покупала только субпродукты (внутренности, ноги). Совершенно не знал, что такое колбаса, сливочное масло, кондитерские изделия. Сахар нам мать давала только по воскресеньям по одному маленькому кусочку к чаю. Хлеб невероятно ценили и берегли. Мельчайшие крошки съедали. Один знакомый нам крестьянин весной пришел к нам переночевать. Он отправлялся на молебствие на реку Великую. С собой в мешке он взял 4 каравая черного хлеба, горсть сушеной репы, 7 луковиц и два яйца, запеченные в хлеб, чтобы они не разбились, спичечный коробок соли. Через неделю, на обратном пути, он к нам опять явился переночевать. У него осталось: горбушка черного хлеба и половина яйца. Яйца он ел так: отрезанный ломтик яйца клал на ломоть хлеба и передвигал, когда ел хлеб. Несъеденную часть яйца перекладывал на другой ломоть хлеба. Это было в 1913 году» (А.Я. Распопов, 1907).

Очень многие рассказчики отмечают, что сегодня вкус многих продуктов не такой, как раньше. «Раньше хлеб был душистым, пах ароматом поля. Не тот вкус и в овощах, и в молоке». Видимо, это связано с химизацией сельского хозяйства, изменениями в процессе выращивания и уборки. Да и аппетит у людей, занятых весь день посильным физическим трудом на свежем воздухе, был отличный. «Сейчас так не едят, как раньше, едрено раньше ели». Многие рассказчики резко

критикуют в целом все нынешние продукты питания. «Деревни, где я родилась, давно уже нет, все посносили. К земле и к людям относились при царе-батюшке хорошо. В реки навоз не сваливали и отраву на поля не сыпали, землю-матушку не портили. Рыбы в реках было много. Всю работу делали по числам, когда какой праздник божий бывает. Так это повелось с испокон веков. В нашей губернии жили плохо только лодыри. Их в каждой деревне было по одной семье, а то и больше. А все почему? К земле они относились худо, отдавали исполу другим. Ну то есть труженик возьмет землю, посадит, вырастит урожай и половину лодырю отдает. В рот кладет ему хлебушек не заработанный. Старики всему учили, зря ничего не пропадало. Хлеб убирали до зернышка. Если за столом крошка хлеба упадет, то ее подымут и перекрестятся, чтобы Бог не наказал. Питались по-разному, как поработаешь, так и поешь. В городе, помню, в магазинах всякая рыба была. Приказчик приглашал и предлагал, чего купить хочешь. А сейчас зайдешь в магазин — продавец ждет, скоро ли уйдешь. Да и купить нечего, один силос в банках натыкан, а пакетики суповые — срамота прямо! Кто-то же придумал их. Раньше курицу сварят в печи русской или хлеб испекут, так на всю деревню запах и аппетит был. А сейчас сваришь из курицы бройлеровский суп, так и есть не хочется. Если тебе не нравится — не пищи! Вас теперь вместо молока водой поят, раньше обрат был лучше. Таким молоком поросят поили. У меня кот вашу колбасу не ест с этими добавками. Да она и колбасой-то не пахнет. Гибридами да пестицидами не только поля загадили, но и продукты все. Раньше и не слыхали такого. Вы бы спрашивали и вопросы задавали тому, кто это выдумал такое земледелие» (Е.Я. Мерзлякова, 1905).

Хозяйство многих крестьян и в 30-е годы продолжа-

ло оставаться натуральным, кормились теперь с приусадебного участка. Рост налогов в 30–40-е годы лишил многих крестьян возможности покупать что-то, кроме соли и сахара, снизилось потребление крестьянами своих продуктов.

«А что раньше ели? Больно плохо ели. Скотины держали много всякой, а все чего-то не хватало. Вот вроде накопишь масла, яиц, молока, а нет... Не больно мама с тятей есть разрешали. Половину раньше государству отдавали, а остальное на базар продавать ездили, на хлеб и сахар меняли. Зато уж праздники как любили! Все на столе было, и стряпня разная, творог и сыр, и масло, и мясо. И все свое, все свеженькое. А после праздников опять перебивались. Денег было мало. Вот помню случай один. Дала мне мама денег и говорит, чтобы я купила сахару в магазине. Стало быть, я и пошла. Еще ведь мала, больно мала была, ума не было. А в магазин тем временем конфеты привезли, карамель какую-то. Ну вот, значит, и на все деньги я этой карамели и накупила. Думала, похвалят дома. А чего было? Ужас! Как она меня ругала да била. А я ведь что, маленькая, забилась под кровать да и сижу, реву. А все равно конфету хочется. Вот я и кричу из-под кровати: «Дай конфету, да дай конфету!» Она мне и бросила одну, как собачонке, а остальные все в сундук» (А.Ф. Санникова, 1923).

Впрочем, во многих местах и до революции рацион крестьян был очень скудным. Вспоминает А.Г. Вандышева (1907): «Если говенье, ничего жирного и молочного не ели. Ели каши и супы из крупы. Делали отварушки — вода, картошка, лук. В простые дни — основная пища, как говорили — «хрен да редька». Есть даже песня:

Повенчавшийся с Прасковьей
Муж имущество казал:

Вот и стойлище корове,
Да коровку бог прибрал.
Вот и овощ в огороде —
Хрен да луковица,
Вот и медная посуда —
Крест да пуговица.

Отношение к пище у крестьян было обостренным из-за жизни на грани голода. «Раньше очень плохо питались, постоянно хотелось есть».

Многочисленных рецептов приготовления блюд не держали, все велось исстари, к приготовлению пищи относились просто. «Все было очень вкусно. Нам некогда было “химичить” у плиты. Взял, положил в печь, закрыл — и все готово. А рецептами делали в богатых домах, кому делать нечего было и было из чего готовить».

Постоянно на столе в каждой крестьянской избе был русский квас. Его пили не только после еды (как сейчас чай), но и постоянно в течение дня для утоления жажды. А напиток этот воистину замечательный, другого столь же полезного для здоровья человека у нас и по сию пору не придумано. Хранили квас в больших бочках в погребах.

«Квас в хозяйстве держали круглый год. Он был из солода, вкусный-вкусный. Чай пили не каждый день, а больше при гостях или после бани. Опять это выглядело празднично и придавало особый вкус. Посты придавали еде особый вкус, значимость».

Были блюда, которые готовили очень редко. От обильной праздничной еды пьянели иной раз не хуже, чем от вина. «Пельмени стряпали раз в год. Крупу сами готовили, гороховую муку, толокно, солод, ячменную крупу. В праздники ужо не работали, гости приезжали. Если маленький праздник — до обеду работали.

Чай пили, сушки с чаем. Сахар-от покусают и обратно огрызочки-то ложат. Стряпали верховые пироги. Раньше не пили много-то, подавали две рюмочки — и в дымину пьяные» (З.С. Медведева, 1914).

К каждому, пусть даже небольшому празднику, обязательными были верховые пироги, ватрушки. Мало кто знает, что еще не так давно существовал особый праздник, посвященный куриным яйцам — «яичное заговенье».

«А еще летом “яично заговены” праздник был, яйца варили, катали, играли — кто попадет в яйцо, тот и выигрывает. Яйцо-то краснущее делали. Посты соблюдали от мала до велика. Даже молоко в постные дни не ели. У нас был дедушка, так он не ленился каждый раз перед постом залезать на березу, привязывать там горшок. А потом показывал нам, детям, что туда молоко улетело. Хлеб пекли сами, и ни одна квашня без пирогов не бывала. По скоромным дням пекли пироги с творогом и с печенкой; а по постным дням с кашей, с горохом, с грибами. После Масленицы был Великий пост 7 недель. До Рождества пост — 6 недель, а летом пост — две недели. Постом ели гороховицу, кисели варили. Шти варили, толокно ели, тепню месили, картошкой, хлебом питалися. Часто ячмень во ступе истолчешь, провеешь и сваришь шти, добавишь кисленького (квас), сметаны положишь, масла, если непостной день. Грибов много ели, свеклы бывало наваришь. Она подкиснет маленько и такая сладкущая. Вся еда ведь простая была. Ягоды, бруснику моченую любили с толокном. Во свадьбу два супа варили: из легонького и такой. Пельмени картошные и мясные варили. Мясные горячим супом заливали, а картошные — молоком. Пироги пекли “верховые”, их за ужином ели, а с чаем — слойки. Сначала чай пили с сушкой, а уж после чаю ужин был. Ели холодец с квасом и с хреном. А

еще сушки стряпали с маком. Мужики в реке мордами рыбы наловят, так уху варили» (А.А. Пырегова, 1900).

При таком изобилии растительной пищи в рационе круглый год (и что особенно важно — репы, моркови) меньше было забот с зубами. Н.С. Жиделева (1913) рассказывает: «Сейчас ребенки с рождения мучаются. А мне уж 76 лет, а зубов своих еще много. Ели севериху, пили сок березовый, от сосны тоже соком питались. Помню, делали паштет. Очень вкусно. Как? Рубили сечкой потроха, заливали яйцами с молоком, запекали в печке. Пекли часто блины с луком. На блины посыпали сырой лук, он испекался вместе с блином. В русской печке вся еда вкуснее, чем на плите. Даже яичница простая и та вкуснее. Пироги разные пекли: свекольные, гороховые, морковные. Часто варили кисели, ели льняное масло».

Очень многие растительные супы нынче забыты совершенно. «Из овощных деревенских блюд распространенными были тыквенница, морковница, свекольница, репница, даже луковница. Готовили различные супы: молочный суп с лапшой, овощной, гороховый, суп с поджаренным луком и льняным растительным маслом, мясные супы из свиного, говяжьего мяса, баранины, готовили картофельную запеканку с яйцом. Причем все эти блюда чередовались. Жирной пищей особо не увлекались, мясные супы готовили редко. Яйца ели один раз в неделю, в блинную субботу. Мы, малыши, всегда с нетерпением ждали субботы, так как яйца и блины считались вкусной пищей» (В.А. Ведерникова, 1925).

Для многих областей северной России еще в 20–30-е годы нашего века огурцы, помидоры были овощами диковинными, экзотическими, почти некультивируемыми. «Огороды были хорошие. У нас отец работал в городе, семена привозил. Мы первые посадили огурцы

и никто, кого мы угощали ими, их не ел. Не говоря уже про помидоры, их вообще не было». (А.А. Бердникова, 1907). Зато значительно больше, чем сейчас, в огородах выращивали моркови, репы, свеклы. Иным было соотношение огородных культур.

Если готовила пищу всегда женщина (в многолюдных семьях — по очереди или женщина-стряпуха), то раскладывал еду мужчина — старший в доме. В многолюдных семьях, бывало, обедали в два-три приема. «Еду раскладывал сам отец. При этом строго учитывалось: возраст едока, какую работу он выполнил, не провинился ли».

В XX веке кормилицей русского крестьянства стала картошка. О пережитом голоде старики рассказывают с нескрываемым ужасом. «Питались, помню, очень плохо. Мясо ели раз в неделю. А больше все дак хлеб, молоко, яйца, картошку. Особо не искались, в голодный год так и травину всю приели. Как выжили-то? Собака и то бы подохла!» (А.П. Жуков, 1918).

Многие хорошо помнят голод начала 20-х годов, 1933 года, 1936 года, страшный военный голод, мор и неурожай 1946 года. По сути своей все 40-е годы и начало 50-х крестьяне жили впроголодь, а то и по-настоящему голодали.

«За свою жизнь я два раза сильно голодовала: в 1921 году и в войну. Так голодовали, что негде было ничего купить. Ели траву, хлеба не было. С ранней весны и до поздней осени собирали на зиму траву. Ели лебеду, клевер, листья липы. У кисленки собирали листья и семечки. Весной песты собирали, варили пестовницу. Переросшие песты тоже собирали, сушили, мололи, добавляли в лепешки. Когда растает снег, ходили на картофельные поля и собирали гнилую картошку. Очищали от кожуры и высушивали на крахмал. Потом его вместо муки ложили в траву, чтобы держа-

лись лепешки. Ели мякину (шкурки от овса). Хлеба ели совсем мало, а в войну его вообще не видели — ели одну траву. За молоко, отнесенное в молоканку, давали обрат. Яйца ели только в праздники: Пасху, заговенье, Троицу. Масла вообще не видели. Сахар не на что было покупать. Скипит самовар — дед даст сахару помалехоньку. Мы еще одни жили, а были большие семьи, так они и это не видели» (Е.К. Просвирякова, 1908).

Интересно то, что многие старые крестьяне сохранили яркие и острые вкусовые ощущения от многих блюд времен своей молодости. Они тоскуют по ним, желали бы сменить современный пищевой рацион на вкусную пищу тех далеких лет.

КРЕСТЬЯНСКАЯ КУХНЯ

Не может не поражать нас сегодня отношение к еде как к таинству, священнодейству. О.Н. Солодянкина (1925): «Особенно родители не разрешали ложить лишнего на стол, за которым обедают. Стол считался Боговой ладонью. Так же нельзя было стучать по столу. За столом во время еды нельзя было смеяться. Однажды брат Коля засмеялся, отец ударил ложкой по лбу. Все еще больше засмеялись. Отец всех выгнал из-за стола. Если опоздаешь к обеду — останешься голодным. Всегда слушались родителей, если нельзя, — то с ними никогда не спорили».

Чередование сытного времени с постным не просто разнообразило жизнь и придавало ей смысл, это имело огромное воздействие на психику человека, его настроение. Таисья Петровна Шихова (1923, дер. Ключи Оричевского района): «В постные дни ели только постное: овощи, запарную крупу из овса, толокно на мельнице мололи, из толокна делали сухомес, тепню, ее ели с молоком, envариху из ржаной муки (в чашку

муку насыпаешь, делаешь в середине ямку, туда заливают кипящую воду, размешиваешь мутовкой), из ржаной муки делали тукмочи (колобки), калачи заварные с картошкой. Зато уж в праздники на столах чего только не было: сметана-комок (топленая сметана), кислое молоко, вареное молоко, творог. Каждый праздник обязательно пекли шаньги, пироги свекольные, капустные, морковные, ярушники (ржаная мука с яровой, это овсяная или ячменная). Яйца были как лакомство, варили каждому по одному яичку и то не каждый раз, а когда блины. Блины пекли в Масленицу каждый день, делали яичницу (2-3 яичка с молоком), ну и макали, хрен еще наводили. С блинами ели мороженое молоко (сольют в чугунку молоко пожирней, заморозят, потом наскоблят и деревянной ложкой растереть хорошо, получится пышное). В Пасху пекли кулич из сдобного теста, красили яички, наводили творог с изюмом, пасха назывался. Сладостей не было, ягоды не садили, землю жалели. Мы бегали по ягоды в лес, там росла голубика, а у железной дороги — земляника. Сахар покупали. Песок — редко, если и купят, то из песка варили сахар, чтобы надольше хватало. Ватрушки и шаньги в Пасху почему-то не резали, а ломали. В заговенье наешься как дурак на поминках, чтоб долго не хотеть, зная о том, что в говенье будет только постная пища».

Как вы заметили, изменилось не просто качество продуктов, воды, воздуха, технология приготовления пищи (ведь все продукты были абсолютно чистыми — безнитратными, готовились на живом огне, в русской вольной печи) — изменилось личностное отношение к еде. Совсем иной стала стратегия, философия питания. Как ковер ручной работы несравним с машинным (поскольку разно и количество труда, души, в него вложенное), так и в крестьянской пище были свои серьезные преимущества перед современной.

А.А. Дудина (1921): «Окрошка. Накрошат холодца, яиц, картошек, сметаны положат топленой деревенской. Квас варили в бочках. Он был черный, приятный, не то что в банках. Поесть бы сейчас такой окрошки. Квас раньше пьешь, так даже горло перехватывает, нацедишь в посудину — так пена, вот какой ядреный. Толокно с квасом делали. И носили на сенокос. Напьешься и есть не хочется. Толокно хорошее было. Квас носили в бураках. Бураки эти из бересты делали».

Безусловно, продукты, хранившиеся в глиняной, берестяной, деревянной посуде, имели лучший вкус, чем продукты, хранящиеся в металлической, стеклянной, пластмассовой посуде.

Россия — это страна блинов, пирогов и ватрушек. М.Д. Бакулина (1904): «В простой день кашу варили, молоко, лапшу, селянку, кисели со сметаной: гороховый, овсяный с льняным маслом, блины с мороженым молоком. Каждое воскресенье стряпали ватрушки, пироги морковные, свекольные, капустные».

В праздники пекли большие пироги грибные или рыбные, пряники. Пряники пекли из пшеничной или овсяной, одернутой (без шелухи), хорошо просеянной муки. Тесто готовилось на сметане. Обязательно на стол ставили домашнее пиво.

В богатых домах помнили и более редкие рецепты. Очень популярен был в XIX веке жареный поросенок. Вот способ его приготовления в вятской деревне. «Ошпаренного поросенка вытереть насухо полотенцем, слегка натереть мукой в тех местах, где осталась щетина, и опалить на огне. Затем брюшко и грудную часть разрезать вдоль по направлению от хвоста к голове, вынуть внутренности. Поросенка тщательно промыть в холодной воде. После этого позвоночную кость в области шеи разрубить вдоль. Поросенка посолить с внутренней стороны, положить на противень спинкой

вверх, слегка смазать сметаной, полить с ложки растопленным маслом. На противень подлить 0,5 стакана воды и поставить жарить на 1-1,5 часа. Во время жарения надо несколько раз поливать поросенка с ложки жиром, образовавшимся на противне.

Поросенка можно жарить целой тушкой или разрубить его вдоль на 2 половинки.

Готового поросенка снять с противня и приготовить подливку. Для этого противень поставить на огонь, выпарить оставшуюся жидкость, жир слить, а на противень налить 1 стакан горячего мясного бульона или воды, прокипятить, процедить.

Поросенка разрубают на поперечные куски и кладут на большое блюдо поверх гарнира. Вокруг ставят плошки с квашеной капустой, моченой брусникой и так далее».

К XX веку почти в каждом доме главное место на столе занимал медный самовар. При приеме гостей или в праздник его ставили на стол начищенным до блеска, так что глазам было больно взглянуть. Самые любимые по объему самовары были — ведерные. Чистили их кирпичной мукой, которую высыпали на суконную тряпочку, смоченную в керосине.

В праздники на столе было совершенное изобилие. Как правило, в праздники принимали гостей. А.Д. Бякова (1924) хорошо помнит, как вели себя гости у них в доме: «Гости приезжали на лошадях с красивой сбруей. Сразу кипятили самоварчик. Гости вели себя очень скромно, одной четушкой обнесут все застолье и еще от нее много останется, женщины только пригубят, и в еде так же: что-нибудь хлебнут и ложку положат на стол, опять хлебнут и опять ложку положат на стол, а разговоров было, воспоминаний до полуночи, а утром оладьи пекли в русской печи, только сковороды шумели! Гости уезжали довольными».

Немало заготавливали на зиму ягод и грибов, но не так, как это делают сейчас. М.А. Кудрявцева (1904) рассказывает: «За грибами, ягодами в лес ходили в нерабочее время, когда работать нельзя, когда дождь. Дети маленькие за орехами бегали. Ягоды не варили — сахара не было, больше сушили да пастилки делали, детишки очень их любили. Делали моченую бруснику в бутылях. А грибы и солили, и сушили. Солили в деревянных кадках на всю зиму — грузди, волнушки, рыжики. Грибов у нас много».

Конечно, даже в одной деревне разные по достатку семьи питались по-разному. Меню бедняка было не таким, как у человека зажиточного. Анна Ильинична Бакулина (1905) из деревни Кропачи Фаленского района вспоминает: «Наша семья была самая бедная, нас у матери было шесть ребят, а земли давали очень мало на одну душу, а лужок на двоих — на дядю и на отца. Не хватало картошки и хлеба; ходили в лаптях. Был один случай, когда соседка, а они были богатые, по дружбе принесла чугун с отваром от пельменей, а раньше богатые люди пельмени варили в супном отваре, а не в воде, как сейчас, так вот соседка принесла и говорит матери: «Возьми, Лена, покорми детей!» А мать отказываться стала, ей стыдно стало, но мы на нее смотрели такими глазами... но ничего не сказали, хотя были голодными. Все-даки она взяла, и мы хлебом до конца все вылизали. Отец работал постоянно и на поле, и по дому, и ребят заставлял работать, но из бедности все не выходили».

Даже у людей зажиточных бережливость, а порой и скупость в отношении к еде была широко распространена. А.И. Бакулина продолжает: «А еще помню случай, мне тогда было семь лет. Отец ходил плотничать к богатым людям. После работы отец сел за стол, и в это время к нему пришла я. А за столом еды было вся-

кой-всякой. Хозяин сказал: «О, захребетник пришел». А это значит, что кто работал, тот и за столом сидеть должен. Так отец встал из-за стола и сказал: «Накормите, пожалуйста, Нюрку вместо меня». А сам ушел курить. Так мне его и сейчас так жалко».

Кроме всего прочего, еда (завтрак, обед, ужин) в кругу своей семьи была делом интимным. Чужих к столу не звали. Так что незнакомому человеку, случайно зашедшему в будни во время семейной трапезы, в ответ на его «Хлеб-соль» запросто могли сказать: «Едим, да свой, а ты не смотри, да рядом не стой!» В целом же крестьянская культура питания была превосходно приспособлена к местным условиям, а потому многообразной, многоликой и очень гибкой.

О ВИНОПИТИИ

Не столь простой вопрос и отношение крестьян к вину. Ответы очень противоречивы, хотя большинство опрошенных считает, что массовое пьянство началось лишь с 40-х годов.

«Село было 300 дворов. Была винная лавка-“казенка”. Так на все село было всего 10 человек, которые пили. Село было трезвое, у “казенки” не давились, на заводе мало зарабатывали — не как сейчас. Один был Костя, любил выпивать. Семья была большая у него и коровы не было. Не как сейчас — пьют от большого до малого. Кто-то из крестьян приедет, купит сороковку, неделю будет ее пить. На свадьбу больше брали. У винной лавки очередей не бывало. Как объявили войну в 14-м году, “казенку” сразу закрыли, а в теперешнее время ее бы сразу разнесли — подавай вина» (А.П. Перевощикова, 1901).

Напряженный трудовой ритм жизни также, на мой взгляд, не давал возможности алкоголизации широ-

ких слоев населения. Да и общественное мнение было решительно настроено против пьяниц. «Некогда было пить. Как-то в воскресенье вся деревня на лугу была, а мужик один ходил в соседнюю деревню — обратно идет пьяный, так бабы все руки охлопали: «Ой, Мишка-то в будень напился!» Пьяных не любили раньше. Их батюшка (поп) на сходе обсуждал. Да и пьянчужка был на весь приход один» (Е.А. Мерзлякова, 1905).

Как видно по этому рассказу, обычное воскресенье поводом для выпивки не считалось. Вино, самогон, пиво стояли на домашнем столе только во время праздника. М.Ф. Бобкина (1921) считает: «Из прошлого запомнилось то, что люди раньше жили мирно, сплоченно друг с другом, хоть и бедно. Люди не пили, пьяных не было. Одна рюмка без ножки была на всю деревню. Но знали, когда выпить. Больше отмечали религиозные праздники: старый новый год, митреевские, семик, Троица, Рождество, Петров день, Ильин день, Благовещение, Пасха — все они отмечались. Жизнь была спокойная и веселая. Не было преступности, воровства». Особенно важна в этом рассказе фраза «знали, когда выпить». Употребление алкоголя — не внутренняя потребность человека, а непременный атрибут праздника, притом не самый важный. Ведь главное на празднике не пьяный разгул, а атмосфера веселья. А.Н. К-ва (1910): «Раньше люди умели работать, умели и веселиться. По праздникам, конечно, немного выпивали, по рюмочке, и потом веселились, пели, плясали. Знали меру. А сейчас и по праздникам пьют, и в рабочее время нередко тоже можно пьяных встретить».

При подготовке к празднику заранее рассчитывали в соответствии с числом гостей, сколько нужно вина (под словом «вино» подразумевалась только казенная водка), и закупали. Михаил Васильевич Котельников

(1922) хорошо помнит: «К празднику готовятся заранее. Ездят или заказывают купить водки в “казенке”. А “казенка” за 25 верст в селе Щеткино. Крепкой зажиточной семье посильно купить и четверть. Это одна бутыль в 3 литра — туда, где на праздник собирается до 30 гостей. Близкие родственники приезжают на лошадях в бричках и дрожках, на день, на два, а то и на три дня. Праздник проходит весело, дружно, с песнями и прибаутками. Водкой угощали маленькими рюмочками, с припевками:

Дуня, пей, Дуня, пей, водки не напейся!
На лукавого на Проню сроду не надейся!

Громко и выразительно певались песни «Когда б имел златые горы», «Хас Булат удалой» и другие хоровые, «Дуня-Дуняша»... Были такие мужики, которые в праздник спешили угоститься рюмочкой, то у одного, то у другого стола, и напивались допьяна. Таких не любили, на праздники не приглашали и знали их во всем приходе».

Без угощения хозяина самому гостю пить вино не полагалось. «Вино раньше пили только по большим праздникам. Пили маленькой рюмочкой. Хозяин обносил гостей. Кто сколько сможет. Варили пиво на солоду с хмелем. Людей, которые любили выпить, в деревне называли пьяницами. К ним не было уважения, над ними смеялись. Пьяницам говорили: “Кто чарки допивает, тот век не доживает”» (С.Я. Чарушников, 1917).

Многие помнят, что их отцы (женщинам вообще пить вино не полагалось) употребляли спиртное воистину в гомеопатических дозах. Лидия Федоровна Ш-ва (1929): «Запомнился мне случай из детства. Мой отец шел домой после получки накануне праздника весной:

несет сушки, огромную вязку через плечо, на рынке купил 5 килограмм топленого масла и четушку водки. Вот мы все, семеро детей, обступили покупки, особенно поразила нас четушка водки. Отец и два соседа три вечера пили эту четушку водки, разговоров было очень много. Говорили они долго, а пили всего одну четушку водки».

Одной из важных причин бережного отношения к вину крестьяне называют отсутствие денег в хозяйстве (причем не просто свободных денег, а денег вообще — ведь хозяйство-то почти натуральное). Вот очень типичное рассуждение: «В праздники собирались компании, пировали по 4-5 дней. Отмечали престольный праздник и свадьбы. Пили, кто сколько хотел. Была водка, самогон, пиво. Относились к вину осторожно, не было денег на водку. Ненавидели пьяниц. Пировать было не на что, денег не было» (М.Н. К-ина, 1915). Кстати, домашнее пиво в каждом доме делалось на свой лад, подгонялось под вкус хозяев.

В противоположность вышеприведенным высказываниям, где говорится об осторожном, умеренном винопитии большинства крестьян, имеются и другие свидетельства. Афанасия Григорьевна Калинина (1909): «Работали много — с утра до ночи. А летом, в жары, и по ночам жали. Умели и праздники праздновать. Как, бывало, напляшемся, напоемся — так и все забудем. Правда, пили много мужики. Да какой тогда праздник без выпивки был!» Однако все опрошенные сходятся на том, что вне праздника крестьяне вина почти не употребляли. Н.К. Вычугжанина (1913): «Нельзя, конечно, сказать, что в наше время водку не пили. Пили и на свадьбах, и на праздниках, но как-то уж так было заведено, что если ты сегодня выпил, то завтра не опохмеляйся. Когда я работала в колхозе, то не было такого случая, чтоб какой-либо колхозник после празд-

ника не вышел на работу. А ведь сейчас что, не только трактористы, а и доярки иногда по нескольку дней на работу не выходят, и как-то это все им с рук сходит».

Сегодня совершенно другой смысл вкладываем мы и в само слово «пьяница». «Отношение к вину разное было. Денег не было его покупать. На праздник варили русское пиво, не брагу, а густое пиво, очень вкусное. Дед мой Русаковский считался пьяницей — он ходил в Верховино за 6 км, покупал поллитру в воскресенье, пили там с другим дедом и всегда приносил в бутылке грамм 200. Эта бутылка стояла в шкафу до субботы и выпивал он остатки только после бани. В деревне к пьяницам относились с боязнью и презрением. Бывали, конечно, и пьяные драки, особенно когда выпивали молодые парни и приходили с Тюмени (деревня) — там драчуны были.

В послевоенные годы нравы значительно изменились, в 50-е годы стали пить уже больше, а потом и еще хуже» (В.Д. Устюжанинова, 1923). Безусловно, сильнейший толчок к началу массового пьянства на селе дала Великая Отечественная война. Атмосфера совершенно беспросветной рабской жизни требовала разрядки. Но в 20–30-е годы отношение к вину еще сохранялось почти таким же, как до революции. Самым эффективным контролем здесь был внутрисемейный контроль. А отношение внутри трудовой семьи к пьянству было резко отрицательным. «Пьянства как такового не существовало. Вот был случай. Отец поехал на мельницу занять очередь на помолку. Потом, когда она подошла, он послал меня за дядей Мишей, родным братом отца, чтоб тот привез зерно. Но дяди Миши дома не было, он сидел и пил брагу у соседей. За этот случай отец и дед в лесу «поучили» его розгами. С того времени он и стакана не выпивал без разрешения деда» (Н.Н. С-ов, 1910).

Не редкостью были крестьяне совершенно непьющие. «Как к вину относились? Ну, которые пили, так те пили. У нас вот тятя непьющий был, так мы в праздник весь вечер плясали, да песни пели, и никаких драк не было. Раньше не было этой пьянки, как сейчас. Кто пил — тот пропащий человек. Семьи, где мужья пили, самые бедные и были. Потому что пьяный — он уж не хозяин в семье, да и работник из него никудышный» (Т.А. Шубина, 1919).

Правда, по праздникам пьяный разгул мог быть совершенно бесшабашным. «Да, пили раньше. У нас Вася, Сеня да Ваня — три брата соберутся втроем, выпьют три четверти — пили четвертями. Гнали самогон, ставили брагу. На почве этой пьянки было драк — каждый праздник. Как соберутся и давай драться!» (А.Е. Бобров, 1921). Самогон в 1920-е годы гнали крепкий, но часто для угощения всей деревни — после помочи. «Вино в деревне сами делали. Самогон, значит. Он был очень крепкий. Стакан, полтора и человек уже хорош. А если хорошо угадаешь, так до 90 градусов. Вот какой самогон был. Все это из хлеба. Покупали и водку, но больше по праздникам. Пили очень редко. А если делали самогон, так чтоб благодарность отдать. Обычно для помочи делали: печь сбивали, навоз вывозили, дом поднимали. Все на нужду делали, потому что деньги не платили, а соберет человек всех и угостит винцом. Ведь не сегодня завтра я это же попрошу делать.

Пьяниц не было в то время, разве что старики, которым скоро на тот свет. А так вот в полном рассудке, да молодые по 28-30 лет не пили. Ведь семья-то нажита, так надо ведь шевелиться работать. Чтобы и пример детям показать» (А.А. Лысов, 1924).

Люди спившиеся, совершенно опустившиеся были редкостью, жили уже где-то за гранью нормальной

жизни, вне общества. «В те годы зря никто не пил, так чтобы через край. Был вот у соседей Миша Волк, у Буркина, у пекаря жил. Он на бутылку заработает и сразу в “казенку” бежит. Напьется, под забором выспится и на следующий день опять ищет у кого-нибудь работу: у кого огород вскопать, канаву прокопать. Дадут на пузырек: опять в “казенку”. У кого работает — тот его покормит. Так этот Волк под забором и умер. Фамилию у него я и не знал, все по прозвищу звали» (А.В. Клестов, 1918).

Нередко деревенский пьяница был средоточием всех прочих пороков: вором, картежником, лодырем, изгоем в своей деревне. Вот что припомнил Василий Васильевич Скурихин (1906): «Был в нашей деревне Галышев Иван Кириллович. Он пил, играл в карты, иногда хулиганил. Довел свое хозяйство до развала, проиграл в карты лошадь, деньги, даже с себя вещи. Это считалось позором деревни. Народ к нему относился плохо. Однажды он пришел к моему отцу, стал просить денег, чтобы отыграться. Отец дал ему только пять рублей. Случилось так, что на этот раз он выиграл и свою лошадь и много денег. Повезло ему. Пришел к отцу, чтобы вернуть долг. Дает отцу много денег, но отец взял только пять рублей, сколько дал ему. Позднее Галышев уехал из деревни».

Любопытно, что массовые драки с употреблением алкоголя, как правило, связаны не были. «Люди по праздникам в деревне веселились, но пьянства не было. В деревнях были отдельные пьянчужки — один-два на деревню. Но это были лодыри, которые не хотели работать. В деревенскую страду их можно было видеть с удочкой на реке или с поклажей за спиной, несущих что-нибудь в город; осенью — с ружьем, спешащих на охоту. Один раз мне пришлось видеть страшную мужицкую драку в одном большом селе, где две деревни

что-то не поделили. Были убитые и раненые. Но дрались мужики трезвые» (А.А. Ваньшин, 1917).

Никакой борьбы с пьянством, в современном понимании этого слова, тогда не велось. Правда, действовала одна сила — это «общество». Бывало, по жалобе измученной жены пропойца-буян получал серьезное внушение, угрозу, а нередко и физическое воздействие. На такие собрания иногда приходил волостной старшина, и тогда этого пьяницу пороли розгами. В народе долго жили страшные рассказы о таких «общественных» расправах. «В праздничный день пьяный мужик Степка Лабазов плелся из кабака к своей избушке и на беду увидел среди гуляющих свою жену. Он схватил ее за ворот и приказал тут же раздеваться. Бабы и девки с визгом разбежались, а пьяные мужики хохотали в сторонке. Трое трезвых мужиков сгребли Степку, избили до потери сознания. После той порки он уехал в Сибирь и не возвратился. Что с ним стало, не знали даже члены семьи» (Ф.Г. Патракова, 1907).

Совсем иная картина предстает перед нами в рассказах о жизни рабочих поселков, заводов, городских низов начала века. Вот типичное воспоминание о жизни небольшого рабочего поселка при заводе (Белая Холуница Вятской губернии) до революции: «Очень сильно распространено было среди рабочих и подростков пьянство и драки. Население пьянствовало, можно сказать, шла сплошная пьянка. Пропивали все, оставляя часто семью без куска хлеба. А драки были такие, что страшно вспоминать. Убийство, грабеж, насилие... Еще какие убийства. Особенно часто, когда знали, что едут купцы. Воровство и грабеж — считали, что Бог наказывает».

Мало изменилась здесь картина и в советские годы. Причем начинали пить водку многие подростки очень рано. Вот что вспоминает Валентина Васильевна Ерок

(род. в 1922 г. в г. Ярославле) о годах детства: «Пили в городе сильно и много. В нашем доме была “казенка”, там все продавалось — от четушки до литра, все с разными наклейками и недорого. Если праздник какой — весь дом пьяный. Сначала песни поют, а потом драки начинаются, мужики жен своих да детей гоняют. Но вот женщины чтоб пили — не видела. Не пила до войны женщина. Но пили, в основном, рабочие, интеллигенция гораздо меньше. Мой папа тоже часто выпивал, но он когда выпьет — добрый такой, не дерется, не ругается. Всегда нам что-нибудь вкусное принесет или просто денег даст. Но мама сильно ругала его, иногда даже огреет в сердцах, но это понятно, семья-то большая. Молодежь тоже пила здорово. В школе, помню, учились в классе седьмом, правда, все взрослые были, лет по 18. Так мальчишки принесут на урок бутылку и под партой распивают. Сейчас-то даже представить такое нельзя, а раньше было, а в нашем доме особенно — все с одного завода мужики. Как получка — так и слышно: жены ругаются, а мужики песни орут».

И все-таки в крестьянской среде употребление алкоголя жестко регламентировалось и строго контролировалось. Винопитие не мешало напряженному трудовому ритму крестьянской жизни, правильному и размеренному ее течению.

Глава 5.
ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ

ОДЕЖДА

Серьезная забота в повседневном крестьянском обиходе — одежда. В условиях натурального хозяйства во многих деревнях еще в 20-е годы нашего века крестьяне изготовляли ее сами. Так что крестьянина в го-

роде ни с кем не спутаешь. Крестьянская Россия сплошь была бородатой и одетой по-крестьянски. Рассказы нынешних стариков об одежде очень монотонны, однотипны: «Носили домотканое — холщовые штаны и рубаху, да верхняя одежда зимой, вот и все, что было у бедноты. А у богачей было все, сколь надо». «Одевались деревенские люди по-крестьянски. Летом носили холщовые пиджаки и штаны, рубахи-косоворотки. К осени надевали зипуны. Зимой от холода спасали овчинные полушубки».

«Из одежды: и нижнее и верхнее — все было холщовое. Но холст делали нарядный, красочный. Из обуви все лапти носили. У меня тоже лапти были, я их берегла, чтобы быстро не износить. Потом валенки были. До того их носила, дак 27 заплат было. Шубка была: внизу овчина, вверху подернуто холщовкой» (Н.С. Жиделева, 1913).

«Из одежды имели серьмяги, зипуны. Серьмяга — самотканая ткань: основа портяная, уток шерстяной, несканый. Зипун из ткани: и основа, и уток — шерстяной. Повседневная одежда для стариков — борчатка. Обувь: бродни (мужские, вместо сапог), обутки (женская повседневная)» (И.П. Шмелев, 1911).

Женкая одежда была длинной (зимняя короче), а мужская — короткой (зимняя длиннее). Иной была, выражаясь современным языком, сексуальная сторона одежды. Некрасивость не затушевывали. А.Г. Поляков (1912, Лопьял): «Юбки, платья были длинные. Уж мужикам ног баб и не увидеть, не как щас. Ношобные понитки раньше были — их носили в будни, уж в новом на работу не пойдут. На головах бабы носили шали, девки тоже носили тонкие шали. Летом ходили в платках. На ногах носили лапти и зимой, и летом, и в грязь, и в сырость. В праздник, конечно, надевали сапоги. Раньше все дешево было, дак уж каждый мог вы-

кроить себе на праздничные обутки. Да и надолго их хватало, одевали-то их только в праздники. Верхняя одежда была тоже самодельная: овчинные тулупы, ткали пинитки — они назывались азямы. Но мы, конечно, одевались хуже, чем наши прародители. Бабушка у меня одевалась очень даже хорошо, да и жили-то они не чета нам. Уж лаптей они не нашивали — все только ботиночки. Сарафаны для церкви шили морковные, дóма-то в будни ходили попроще. А платки носили и тогда, и я не помню, чтобы раньше носили шапки или кокошники — все платки да полушалки».

Вятский крестьянин чаще всего и одевал и обувал себя и свою семью со своего хозяйства. «В 20–30-е годы с одеждой было плохо. Носили больше холщовую, домотканую одежду. Зимой верхняя одежда была меховая: азямы, тулупы, борчатки, шушуны, шубы... В каждом хозяйстве было много овец, поэтому меховая одежда стоила дешево. Зимой носили валенки. Редко кто знал слово ревматизм. Летом крестьяне ходили в лаптях или босиком. Лапти очень удобная обувь. А вот в грязь, особенно весной или осенью, крестьянину было плохо».

Внешний вид русских крестьян был очень оригинален и самобытен — ни с одним народом не спутаешь. Каждая деталь одежды выстрадана столетиями исторического развития. Н.Е. Порубов (1922) интуитивно в своем рассказе об этом догадывается: «Мужчины с бородами и длинными волосами, рубахи портяные, с поясом, носились они на выпуск; на ногах — лапти (летом, но некоторые, если ничего больше не было, носили их и зимой), онучи — зимой (носили с шерстяным носком). Шапки шились из овечьей шкуры. По характеру мужчины были разные. Но раньше как-то больше они думали о том, что семью надо чем-то кормить, одевать. И последние деньги отдавали в семью. Вооб-

ще мужчина осознавался как кормилец. Женщины, в основном, носили длинные волосы, знаменитые русские косы. На голове — самотканые платки из шерсти зимой, а летние платки были с примесью льна. Простые платья из ситца и сарафаны».

В нашем вятском крае в основном вся одежда была домотканой, из холста. Льна выращивали много. Все заботы об одежде ложились на женщину. М.А. Крысов (1909) так рассказывает об этом: «Женщины в 20-е годы в нашей семье были как бы отделены от мужской половины, им предназначался определенный круг обязанностей: уход за скотом, детьми, прясть пряжу, ткать новины, шить нижнюю одежду, стирать белье. Все остальное по хозяйству вел муж: пашня, посев, уборка в положенный срок, когда и что посеять, уход за состоянием избы, конюшни и вообще всего двора — какую скотину нужно пустить на следующий год, например. Надо было сеять, кроме ржи и овса, обязательно лен, но почему-то лен у нас родился плохо. Одевать было трудно большую семью, а купить на базаре было трудно из-за высоких цен. Денег было в хозяйстве мало, прежде надо было что-то продать, чтобы купить одежду. Вплоть до самой Октябрьской революции, да и после нее, сами плели лапти, и эта обувь была самой главной для всех крестьян».

Итак, и взрослые, и дети, и молодые, и старики, и мужчины и женщины носили и верхнюю и нижнюю одежду изо льна.

Холст мог быть очень многообразным по выделке (тонким, грубым, цветным, однотонным), смотря по тому, для какой одежды он предназначался. Мало кто сейчас представляет себе, сколько страданий могла причинять одежда из грубого холста. «Носить приходилось в основном самотканину. Не увидишь сейчас этой грубой рубашки и штанов, которые от соприкос-

новения с телом натирали его до корост, волдырей и превращались нередко в чирьи, чесотку».

Пожалуй, второй такой колоссальной по трудоемкости работы по выращиванию льна и по превращению его в одежду у русской крестьянки не было. Работа эта длилась с небольшими перерывами круглый год. Послушаем рассказ о льне Марфы Васильевны Кайсиной (1913): «Кроме хлеба еще лен сеяли. Раньше ведь одевались просто, за модой не гонялись. Всю одежду сами шили из холстов. Осенью лен теребили, колотили его, семена выбивали. Из семян масло делали льняное, жали их. Лен связывали пучками и оставляли в поле на зиму. Потом лен ломали, чесали и пряли на самопряхе. Пряжу мотали на бодоги вдоль. Чтобы нитки мягче были, их валяли в золе и в печку парить ставили. Из печки достанешь горячие мотки и бегом на речку бежишь полоскать. На улице холодно, вода ледяная, руки зябнут. Засунешь в теплые мотки руки, погреешь чуть-чуть и снова полощешь. А сырые-то мотки сушить надо, кто на улице, а кто и дома сушил. А сухие мотки уже красили разным цветом. Перед Масленицей всегда ткать начинаешь. Всегда стараешься както вперед других делать. Всяким разным узором делали холст, чтобы платье красивее было. Сделанные холсты белили и сушили на солнце. Второй отец к нам с Катей хорошо относился, за трудолюбие любил как родных детей. Папа часто из дома уезжал, а его сестра и дети голодом нас держали. Бывало поревешь-поревешь, а мама тихонько, чтобы никто не увидал, отрежет хлеба чуть-чутеньки и ешь тайком. Все работать надо было, так и учиться не пришлось, да и ходить не в чем было».

Обратите внимание на последнюю фразу рассказчицы! Она очень типична. Несмотря на то, что семьи трудились круглый год не покладая рук, выращивая и

обрабатывая лен, одежды в семье все равно не хватало. Множество детей не посещали школу, потому что им не в чем было туда ходить. Потому-то любая одежда и ценилась невероятно высоко — это плод тяжелого труда всей семьи. Люди понимали и ценили тяжесть труда, затраченного на одежду, — потому и встречали по одежке. Какова семья — такова и одежда.

Самотканую одежду носило на Вятке до 40-х годов подавляющее большинство сельского населения. Зимние короткие дни и долгие вечера женщины и девушки, старухи и дети сидели за прялками и ткацкими станами. Одежда для работы была чаще всего черного или серого цвета, а праздничная одежда — ярко-красной, желтой или голубой. Для покраски новин (холстов) брали кору деревьев и отжим от трав.

Конечно, в городах с одеждой было проще. В центре, на юге России уже широко были распространены ситцы. Лен дольше держался на русском Севере. Но и в городах готовую одежду почти не продавали. Многочисленные портные, белошвейки (одна из самых массовых городских женских профессий XIX века) принимали заказы на дому. Ходили иногда швецы и по деревням.

«В магазинах пальто не продавалось, а шили так. Придет портной на дом — раньше были такие портные и за счет них одевались. Со своей машиной ходил он. У кого чего надо сшить — сидит и шьет, кому платье, кому пальто. Сошьет все в одном доме — идет в следующий дом. Пока он шьет, его поят, кормят и за работу сколько положено заплатят» (А.В. Клестов, 1918).

Ткали, кстати, не только одежду, но и много чего другого: половики, одеяла, простыни, наволочки, подзоры (в красном углу у иконы), вышитые салфетки, полотенца (вот, кстати, тема наиважнейшая: полотенцам

в крестьянской жизни можно посвятить целое исследование). Украшали подзорами и кровати (в середину ткани вшивали кружева — прошвы, а по краю — зубчатое кружево).

Труд по украшению одежды — кружева, вышивание — считался уже не таким изнурительным, был более легким, светлым, радостным. Матрена Андреевна Кудрявцева (1904, родом с Брянщины) хорошо помнит: «Вышивали мужикам рубахи, косоворотки, плели красивые поясочки, вышивали кисеты для табака. Юбки бабы вышивали не только сверху, но и исподние тоже, а носили по 3-4 исподницы сразу. Лифы были самошитые тоже, их тоже вышивали и украшали».

Говоря об одежде того времени, нужно помнить, что она соответствовала облику людей того времени. Все крестьянские женщины, девушки, девочки имели косы, каждому периоду женской судьбы соответствовала своя прическа, головной убор. Волосы мыли щелочью с чистой дождевой или снеговой водой. Как правило, женщины носили платки (домотканые или вязаные), в праздник — шали. Шапки носили только мужики, в отличие от женщин они могли ходить и простоволосыми.

Крестьянская Россия была страной бородатых мужчин. Высоко ценились кудрявые волосы. Н.Ф. Ситников (1926) это еще запомнил: « Все подстригались у себя дома обыкновенными ножницами под горшок, носили бороды. Расчесок не было, а были гребешки. Гребешок с одной стороны был густой, чтобы можно было вычесывать вошек, если они появятся, а с другой — реденький, чтобы расчесывать волосы и бороду. Женщины любили мужчин, у которых кудрявые волосы, особенно у кого кудрявая борода».

В БУДНИ

И все-таки — главное в отношении крестьянина к одежде — это бережливость, бережливость и еще раз бережливость. Будничная одежда, как правило, неоднократно чинилась. Донашивали порой до того, что заплат было больше, чем целой ткани.

«Одеты очень просто были. Бабы ходили в юбках, на голове — платок, зимой — шаль. И шали ткали — клетками всякими сделаешь, красиво. Раньше все делали сами. И починяли не раз и не считали тот дом богатым, в котором не починяли. Бывало, пойдешь куда поутру, так подогнешь юбку, чтобы не замочить — все ведь пасли, берегли».

Эта же крестьянка — ровесница века, рассказывает о нижней одежде, подчеркивает, что очевидным мерилом богатства семьи была одежда: «Пряли сами, ткали сами, шили сами — и было из чего. Шили по́льта, пиджаки, платья носили холщовые (ткали в клетку). Мужикам шили кальсоны, а женщина не носила штаны — и моды не было или сообраза не хватало. Если и носил кто из баб штаны, дак смеялись над тем, пальцем тыкали. И взамуж выходили без штанов» (А.А. Пырегова, 1900).

Естественно, всякая одежда различалась в зависимости от времени года. «Интересна, удобна и практична была крестьянская одежда. Зимой мужики носили борчатку, тулуп, а весной и осенью — гапан (сплетенный ватой, покрыт сукном), для теплой погоды шили азям. Кто побогаче — шил азям из сукна, кто беднее — самотканый, покрытый холстом».

Огромен разнобой в названиях различных вещей в одежде. Даже в соседних деревнях одни и те же одеяния порой называли по-разному.

Одежда соответствовала погоде, времени года, кли-

мату, который, это, кстати, отмечают многие, был гораздо здоровее.

«Лето тогда было очень жаркое. У мужиков не было никаких пиджаков, все лето ходили в одних штанах да рубахе, босиком. Было очень жарко. Бабы всегда жали в одних рубахах. Ветров сильных летом не было. Спали все на улице. Стелили прямо под окном, комары нас тогда и не видели: ложились поздно, а вставали чуть свет.

Зимы были морозны. Мужики едут в тулупах, а у лошадей свесились сосульки под губой. Вся зима была морозна, без скачков: мороз дак мороз, тепло дак тепло» (М.В. Пикова, 1914).

Соответствовала одежда и характеру крестьянского труда. Там тоже было много своих хитростей и небольших секретов. «Хлеб жали мы вручную, ночью. Днем колос крошится, да и жарко. В три часа ночи бабы соберутся — да на поле. А стерня колется. В баню придешь — все ноги исколоты. Вот мы и носили поголешники. У чулков низ износится, обрежем его; да эти чулки и оденешь. И обуви никакой не надо, и солома уж так не колется» (А.П. Бабкина, 1923).

Основная крестьянская обувь в северной и центральной России — это, конечно же, лапти. Чаще всего их носили круглый год (и зимой, и летом). В некоторых местах летом мужики и бабы ходили босиком, многие зимой носили валенки. Но сапоги — это, безусловно, праздничная обувь. Нередко люди вспоминают, что «отец за всю жизнь одних сапогов не износил. Одевал их только по праздникам. Берег».

Беречь, «пасти» одежду, обувь — это ведь не только их редко надевать, это и хорошо ее хранить, тщательно следить за ней во время ношения. Нередко старики в праздник шли в церковь в лаптях, а сапоги несли до села на палке за спиной. Переобувались, входя в село.

И снова снимали сапоги на выходе из села — шли в родную деревню снова в лаптях. В XX веке появились новые разновидности лаптей. А.Д. Бякова (1924) их хорошо помнит: «В будничные дни не искались, в чем придется, в том и ходили. В будничные дни мало людей ходили в сапогах или в валенках, большей частью носили лапти, да еще подбитые или кожей от голенищев сапог, или брезентом. Лапоть надевали на колодку, накладывали брезент по размеру, обрезали, накалывали шилом дырки и забивали в эти дырки деревянные гвозди, их готовили из березы. Носили эти лапти долго, а не подбитые мало служили, быстро расплетались. Любили навертеть белые онучи, то есть портянки, это считалось красиво и хорошо».

Изготовление лаптей — дело довольно длительное. Ведь лыко надо с липы надрать, высушить, вымочить. У мастеров были колодки всех размеров, так что лапти они плели для любого возраста. Плести лапти умели многие, но занимались всерьез этим промыслом не все, а лишь умелые мастера. Вывозили на базар для продажи сразу много сотен пар лаптей, кои были очень дешевы. Носить лапти, кстати, тоже надо уметь. А если человек еще не научился этому искусству — ему ходить в лаптях и тяжело и неудобно. Хотя это, пожалуй, — самая гигиеничная обувь.

Россия — страна лапотная, это не только символ. Это было реальностью. Немало было сложено частушек про лапти. А.А. Феофилактова (1918) вспоминает: «Весной в марте месяце старики плели лапти. Их надо было на лето несколько пар. А нам, ребятам, делали строченые — носок в елочку — это к Пасхе. Портянки самотканые, их отбелят в хлорке или на солнышке. У некоторых еще чулки черные самотканые были. За лыком ездили в Колобовщину. У нас липа не растет, так там они лыко покупали целыми возами.

Частушки про лапти парни пели:

Эх, лапти мои,
Новые обутки.
То ли дома ночевать,
То ли у Анютки.

А девки пели:

Лапти по миру ходили,
Распиналися носки.
Эх, лешачая котомка,
Проиграла все куски.

Эх, лапти мои,
Носки выстрочены,
Не хотела я плясать —
Сами выскочили».

Возвращаясь к крестьянской одежде, хочу подчеркнуть, что если в труде люди хотели выделиться (сделать побольше, побыстрее, чем соседи), — то в одежде, у некоторых крестьян, такого стремления не было. Е.Ф. Филимонова (1914): «Но вот одеться лучше всех у меня желания не было. Все думала, что не дай Бог чем-нибудь выделиться. Я и у Бога просила здоровья детям да себе самой».

Ткали полотно для одежды, часто в клетку или в полоску. А сколько труда надо было приложить, чтобы холст стал хотя бы белого цвета! Ведь чтобы отбелить холст, его замачивали весной в золу. Все лето с утра расстилали на траву на солнышко, а зимой клали на наст. Полотно получалось пусть и грубоватое, но очень прочное. Так что вещи неоднократно перешивали, чинили. Таисья Петровна Шихова (1923): «Многое для ребят перешивали из одежды взрослых, помню в

школе училась, еще в 1 классе, забралась на парту и кричу: «У меня юбка из Колиных штанов!» Когда больше стали, сами начали перешивать. В девках, помню, на себя перешивала на вечерки бегать мамину атласную кофту и гарусову юбку. Ходили большинство босиком, в лаптях и босяках, зимой портянки наворачивали. Чтобы ноги не промокали, поверх портянок — брюшину и мочевой пузырь животных. Кожаная обувь только по праздникам. Нам, ребятам, купят ботинки и говорят: «Ребенки, глядите, в куриный помет не ступайте». Больше все покупали на вырост, так носишь, носишь, износишь, а так и не дорастешь. Про одежду часто говорили: «Нет хозяев, все одни квартиранты (т.е. заплаты)». Одежду жалели. Шла я как-то из школы весной, лога разлились, жалко стало сапоги братовы (ему малы стали, я носила), сняла и пошла босиком, ноги ледяной водой так и ожгло. Еще не раз так переходила, с тех пор, поди, ноги-то и болят».

В некоторых вятских деревнях зимнюю верхнюю одежду — тяжелко (или чажелко), что-то вроде пальто из тканого холста, стеженное куделей, — носили и мужики, и бабы. Были в тех же деревнях верхние одеяния и из шерстяной пряжи домашней выработки — шабуры. Из шерсти вязали чулки и носки, катали валенки.

При обилии детей в семье младшие донашивали одежду старших. Татьяна Ивановна Умрилова (1910) помнит это по себе: «У нас в семье было семь детей. Пять дочерей и два сына. Жили мы бедно. Одевались очень плохо. Ходили в самотканой одежде. Ткали лен и сами пряли. Старую одежду платили. Младшим приходилось донашивать обноски старших. И если приходилось одевать что-нибудь новое, что еще никто не носил, то считали это за большую радость. Приходилось и так: в бане вымоешься, с себя все выстираешь, за ночь высохнет, а утром снова все на себя одеваешь».

Конечно, женская одежда была более сложна, красива, разнообразна, многоцветна. Ведь у многих мужчин для повседневной носки были лишь холщовые штаны с рубахой. Одежду и обувь легко приспосабливали ко времени года, игре, работе. Анна Гавриловна Посохина (1907): «Одевались раньше просто. Я носила синюю шубу портяную самотканую, черное пальто из материи. Юбки носили длинные, до пят, рейтузы не носили, носили чулки. Из старых голенищев сапог шили туфли. Еще туфли шили из холста, тапочки вязали из конопли. Коноплю ломали, колотили, пряли и вязали крючком тапочки. Подошву тапочек смолили и носили в сенокос. Юбки носили самотканые, бористые из 15 полотен, со складками и тремя пуговицами. Кофты носили белые из холста с напуском. Чулки вязали сами из льняных ниток. Носили лапти с портянками. В Масленицу катались на шестах в лаптях, смоченных посредине подошвы водой. Осенью носили короткие холщовые портяные жакеты, зимой эти жакеты стежили и носили».

Деление одежды на будничную и праздничную определяло отношение к ней. Вторая мировая война, разрушив русскую деревню, уничтожила такое разделение. Одновременно был разрушен и веками складывавшийся ритуал изготовления и ношения одежды. Новые стереотипы нарядной одежды для праздника, появившиеся в 1950-е годы, шли только из города. Так в чем же была красота русской крестьянской праздничной одежды?

И ПРАЗДНИКИ

Конечно, и в праздники люди одевались по достатку — кто побогаче, кто победнее. Но вспоминая то время, старики вздыхают: «До войны одевались на-

рядно. Парни носили расшитые косоворотки, девушки красивые сарафаны, белые кофточки, пышные юбки — в праздник. После войны молодежь и на работу, и на вечерку ходила в фуфайках, валенках, тяжелых сапогах» (А.О. Вершинина, 1915).

В одежде любили яркие цвета, розовый — самый праздничный. «Очень ценилось все цветное. Вся наша одежда была длинной, сейчас такую не носят. Праздничную одежду украшала вышивка, и после праздников ее убирали в сундук» (И.И. Федорова).

Нередко свою праздничную одежду бабушки в целости и сохранности передавали внучкам. Наряднее всех, конечно, одевали девушек-невест. Во что же? Мария Ивановна Носкова (1902) рассказывает о своем девичестве: «А меня хорошо одевали, шуба была с воротником из кошки, валенки, ботиночки со скрипом были. Одежда всяких цветов была: красная, сиреневая, малиновая, голубая, зеленая, синяя, коричневая, бордовая, белая, кремовая. И в цветочек, и в полоску, и в горошки. Мне особенно розовое нарядным казалось».

Ох уж эти женские ботиночки! — предел мечтаний крестьянских девушек в начале нашего века. Трудности, которые они преодолевали на пути к обладанию ими, невероятны для нас сегодня. Так, одна рассказчица вспоминает, как всю зиму сшивала беличьи шкурки в бунты и на заработанные деньги смогла купить себе ботинки с высокой шнуровкой. Другая рассказывает: «На сплав ходила, дрова заготовляли для производства. А мне 18 лет было. 40 км обратно пешком шли — и хлеб кончился. Ходила я со взрослыми, потому что думала — не сплаваю, тогда тятя мне ботинки с галошами не купит. Тогда модно было. Купил он мне их. Помню, жара стояла, а я в ботинках с галошами разгуливаю. Что ты — мода!» У парней и мужиков представления о богатстве были свои: «Роскошно было

иметь хромовые сапоги и суконный пиджак, — вспоминает о двадцатых годах один вятчанин и добавляет:
— У моего отца хромовых сапог хватало на 15 лет».

Свою праздничную одежду люди носили в соответствии со своими привычками, особенностями, характером. Крестьянин, входя душой в каждую мелочь своего бытия, трепетно относился к праздничной одежде прежде всего из-за бережливости или малого достатка. «Помню ель у дороги, возле которой мой дед обувал сапоги, входя в село, когда шел в церковь, а на обратном пути у этой ели разувался» (А.Ф. Иванов, 1908). А Зоя Сергеевна Медведева (1914) вспоминает случай уже из своей жизни: «Я как-то на исповедь в церковь шла — в узле чулки, а иду босиком. И вся обморозилась. В церкви вода с меня бежит, а домой дак насилу пришла. Жалко чулок-то, бумажные, больше не купят, а я пойду и изорву. Долго потом пузыри с ног обрезала. Вот как все берегли. На ярмарку тоже все босиком — туфли несешь и платье. Хорошо жилось: и ткали, и все делали, и весело было на сердце!»

Ткани, из которых шили одежду, чаще всего были однотонные. Но верх и низ (штаны и рубашка, блузка и юбка) чаще всего были разных цветов. «В праздники носили одежду бумажную: из ситца, сатина. Вот эта одежда отличалась ярким цветом. Помню, на игрища девушки приходили вот в таком наряде: розовая юбка, белая кофточка; розовая юбка, зеленая кофточка; зеленая юбка, белая кофточка или красная юбка, розовая кофточка. Материал: сатин. А если материал со цветками, то эти цветки мелкие. У многих мужчин были рубашки-косоворотки цвета черного, белого, а то и красного» (Т.С. Ситчихина, 1917). Некоторые бабушки еще помнят свои любимые блузки в мелкий цветочек или горошек. Крупного рисунка на одежде практически не было. Но и однотонную ткань украшали очень

умело — вышивкой, строчкой. Каждая вещь в одежде была индивидуальна и непохожа на другие. Труда, сил для украшения одежды — не жалели. А при том уровне трудолюбия... воистину горы сдвинуть могли.

Послушаем рассказ об украшении одежды Марии Яковлевны Хариной (1905): «В праздники все стремились одеться получше. Были нарядные льняные юбки, штаны, пестряки. Знатные люди ходили в борчатках, тулупах, кофтах. В каждом доме, где жила трудолюбивая семья, можно было увидеть самотканые скатерти, вытканные половики, вышитые полотенца. Особое место занимала «строчка» — выстроченные вещи смотрелись очень нарядно; вышивка — тоже всегда украшала наряд. На ноги надевали онучи с лаптями. У добротной хозяйки имелся вывязанный полушалок. От красивых вещей было глаз не оторвешь; каждый шил и вышивал по-своему, большая была выдумка у народа и терпение. Порой сидишь — вышиваешь что-либо, если что не получается — переделаешь. Стремились сделать лучше, чем у соседки».

На русском Севере женщины одевались зачастую богаче, чем в центре России. Мария Николаевна Шадрина (1905), родом из Архангельской губернии, вспоминает: «Очень красивой была у нас праздничная одежда. Носили атласники, кошемирники (делались из тонкой шерсти разных цветов), сарафаны, казачки (это кофта с оборками). На базаре покупали платки с наугольниками. На головы надевали кокошники, которые вышивались бисером. Носили красивые бусы и ленты».

Даже в 20-е годы нашего века калоши в отдаленных деревнях производили фурор. «А галоши сосед привез, вся деревня сбежалась смотреть. Чудо ведь — блестящие, одевали на хромовые сапоги. Говорили — самый богатый парень». Надевали их не только на сапоги, но

и на валенки. Мечтали о них и девушки. Немало складывалось об этом частушек:

Купи, тятенька, калоши,
Я хоть раз потопаю!
Неужели на калоши
Я не заработаю?!

Цветастый полушалок, валенки с калошами — это был полный праздничный набор, самый шик! Молодежь, уже в начале века, легко подхватывала новые веяния в одежде, прическе (впрочем, основ крестьянской одежды они не затрагивали). Вот рассказ одной модницы 1920-х годов: «Косы плели всяко — и вокруг головы, и кругом, и на узел. Плели кружевную сетку. Это позднее стали ленты в косы вплетать. Краситься — Боже сохрани, не было у нас такого! Потом стали на щипцы кудри завивать. Раскалят металлические щипцы на плите, да и жгут волосы-то».

Анна Трофимовна Чекмарева (1912) из деревни Рыбная Ватага помнит себя молодой — празднично одетой: «У меня косы-то длиннющие были, так я их вокруг головы укладывала. Никуда простоволосой-от не ходила. По праздникам надевала шолкову шаль с кистями. Ходили тогда ешо в лаптях. В косу вплетала ленты, то синю, то красну. Петя мне на свадьбу бусики подарил, так я уж их берегла. Надевала их только по праздникам. А мужики все ходили в картузах. По праздникам надевали вышитые косоворотки. Я сама вышивала мужу-то. Многие ходили в лаптях, но у моего-то сапоги были. Он их по праздникам надевал, берег. Вместо румян пользовались мы соком свеклы, сурьмой. А летом, после полей, на головы одевали венки из цветов, веток берез».

О городской одежде, несравненно более многооб-

разной, я говорить не собираюсь. Это — особая тема. Хотя вот любопытное впечатление мальчика из уездного города Слободского о 20-х годах (А.Я. Распопов, 1907): «Рабочие люди в годы моей юности носили: брюки, на них сапоги кожаные, ситцевая рубаха-косоворотка подпоясана поясом с кистями, фуражка темного цвета с большим козырьком и высоким верхом. В холодную погоду надевали черное полупальто из суконной ткани. Женщины носили длинные юбки, обувь на низком каблуке, кофта заправлена под юбку. На голове платок, завязанный узлом. Зимой носили шубы. Мужчины — овчинные полушубки. Богатые люди носили богатые шубы: хорьковые, лисьи, а воротники — выхухоль, выдра, соболь. Верх у шуб был сукно или драп. Было морское сукно необычайной прочности, с трудом протыкалось иголкой. У женщин были распространены меха: кенгуровый, обезьяний, кошачий, беличий. Воротники были в основном из лис. Верх у шуб был из сукна. В моде были муфты. Они были из такого же меха. Головные уборы были весьма разнообразны. Летом — роскошные шляпы разных фасонов, зимой носили меховые шапки. Крестьяне, что приезжали в город, были сплошь в лаптях. Одежда у всех домотканая из холста. Зимой — тоже в лаптях и в овчинных полушубках, а шапки тоже в основном из овчины».

Земля, хозяйство, пища, одежда — вот, пожалуй, главные материальные ценности крестьянского мира. Праздничная одежда давала возможность наглядно продемонстрировать всем окружающим уровень благополучия своей семьи, занять определенное место в сложной внутридеревенской иерархии.

Глава 6.
СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

ПАТРИАРХАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Центром мира, столпом мироздания, защитой от бед и напастей, источником радостей и горестей была для крестьянина семья. Мы сегодня и представить не можем, какое колоссальное место в жизни крестьянина она занимала. В ней он рождался, трудился, праздновал, горевал, умирал.

Патриархальные русские семьи были многопоколенными, они включали три-четыре поколения родственников, даже в первой трети нашего века в них порой жили три, четыре семьи с детьми. Сложившаяся за века стройная система взаимоотношений в семье позволяла успешно избегать конфликтов, умело распределять труд ее членов, сохранять детей. Чем больше мужиков в семье — тем она богаче, тем легче избежать голода, тем больше скота она может иметь, тем лучше удобрить свою землю, а значит — получить хороший урожай.

Как на большой фабрике, труд членов семьи распределялся очень тщательно, дифференцирование в зависимости от пола, возраста, склонностей. Важнейший принцип — посильность труда. Но все нити управления в такой семье сосредоточивались в руках одного человека — хозяина, как правило, старика — отца взрослых, женатых сыновей. Подчинение было беспрекословным и полным. Вспоминает Наговицына Прасковья Лукьяновна (1904), крестьянка: «Раньше вставали в 3 часа, боялись, что мало работы сделают, на работу были жадны, даже старые просились на работу. У меня семья была большая, много братьев. Хозяин был один в дому. Если он идет, то все замолкнут.

Были нежадные, не ругались. В деревне Сусеки, через поле, там недружно жили, а мы дружно. У меня у самой 8 ребенков было, всех в войну вытащила. Никуда мы не ходили, окромя Кирова да райцентра. Всю жизнь даже в кино не сходила, все работала».

По мысли старых крестьянок, настоящая семья — именно большая патриархальная семья. «В семье нас семейно было» (М.К. Казакова, 1905).

20-е годы для такой семьи — время относительного благополучия. НЭП!

«Семья у нас была большая: три брата и две сестры. Была одна лошадь, мелкий скот, две коровы. Все работали с утра и до вечера. Имели масляный завод, водяную мельницу. У нас в семье мать уважали и боялись. Все деньги она хранила, а жили мы неплохо. Отец делал деревянную посуду: чаруши, кадки, блюда и еще вил веревки. Ездили по воскресеньям на базар, продавали. Учился в церковно-приходской школе полтора года. Даже за хорошую учебу дали Евангелие. Но отец учиться не дал, надо было работать. Земли была своя полоса. Все обрабатывали сами, пахали сохой на лошадях, жали серпами. Все работали с малолетства, а зимой женщины пряли пряжу и ткали новины. К 1928 г. мы жили хорошо. Имели около 500 пудов зерна, было вдосталь всего: гороха, гречи, проса; много копали картошки — пудов с 200 само мало, много сена косили. Все это нам досталось большим трудом. Ежегодно удобряли навозом паровое поле, мы ведь были хозяевами своей земли. В деревне народ ожил, повеселел» (Ф.П. Втюрин, 1904).

Крестьянское трудолюбие, воспитываемое в семье, было величайшей ценностью нации. Смысл, счастье жизни были не где-то далеко, а здесь — в своем труде!

«А вспомнишь, как работали?! Все успевали. А ночью молодые девки на себя работали. Деньги-то надо

на одежду. Кустари у нас ездили, к домам подъедут со шкурками беличьими. Вот я и брала хребтовые пластины. Сшивала бунты. До 5 сотен бывало сшивала. Надо сшить 26 рядов. А потом из этих бунтов манто богатым шили. У меня манта не было: шибко дорого. А за работу платили копейки. 25 копеек с сотни. Родители знать не знали, как девок одевать — заробишь и купишь. А вот еще интересно. Если раньше — Бога боялись, стариков почитали, работали с утра до ночи, а жилось весело. Злости ни на кого не было. Вот я всегда думаю, сколько у прежних людей было терпения... Умели все переносить. Неученые мы были, а хорошо жили» (Е.И. Платунова, 1900).

Приучали к тяжести посильного труда постепенно, но с очень раннего возраста. Работать было так же естественно, как дышать, ходить. Дико было, если кто-то отлынивал от работы. «Сейчас, когда парни до 20 лет бездельем маются или на мотоциклах гоняют, это ужас. Раньше такого не было. Только сил наберешься, разуметь начнешь что к чему — сразу и идем работать. Кто в поле, кто куда. Я теленков поила, кормила, ухаживала. Конюшила лошадей — уже побольше была. Жить было трудно, а жили веселее, чем сейчас».

В 30–40-е годы труд превратился из радостного (на себя) в принудительный, неоплачиваемый (пустые трудодни) и порой бессмысленный.

Мир крестьянских забот был многообразен. Хозяин в семье должен был обо всем позаботиться вовремя. Ответственность за жизнь семьи лежала на нем. Характерно в этом отношении письмо с фронта крестьянина Федосея Павловича Преснецова (1904–1945) своему двенадцатилетнему сыну (орфография сохранена): «1942 года 23 июня. Здравствуй мой дорогой сыночик Виктор федосеевич! Спешу сообщить тебе, что твое письмо получил, писанное 17 июня, а так же получил

от дочки Гали писанное 16 июня и спешу дать вам ответ, так же до этих писем получил от дочки Анюты 2 письма и от сестриц Любы и Анисы сразу 4 штуки. А теперь очень вам всем благодарен Виктору, Галине, Анюте и тебе Таисья Васильевна. Дорогой сынок как нибудь работай в колхозе зарабатывай трудодни, только через силу ничего не поднимай не порти сам себя слушайся мамы, я приду домой тогда ты отдохнешь я тогда тебя понежу тогда поиграем, а теперь такое время если будешь плохо работать то у вас совсем на будущий год не чего будет ести. Живите, не ссортесь с сестрами и с мамой, ты сам Виктор будь за хозяина, я тебе доверяю, экономь все начиная с дров, дрова летом хорошие не топи, а привези из лесу сучьев или насобирай сухарнику, а которые есть еще дома их береги зимой свезешь в город, деньги дадут, нужны на расходы по хозяйству. Так же сейчас позаботься о керосине и сам съезди в город, через Таню достань соли и керосину пока сейчас можно достать свободнее чем будет зимой. А поросенка хоть в июле или в августе, а купи обязательно, только хорошего, может придется будет кормить зиму. Дочка Галя пишет, что кушает молоко и масло и яйцо это хорошо я теперь Галина не кушал молочка и маслица как уехал из Борового хочется да где я возьму денег нет, молоко хотя здесь носят продают 15 рублей 1/2 литра. Кушайте с сестрой Маргаритой да растите здоровые крепкие и большие, я может быть и вернусь домой тогда еще поживем с вами. Ты Таисья пишешь, как я здесь живу — хлеба дают 200 грамм, суп и черпушка каши, как у нас дома есть поваренка эмалированная которой черпаеш суп. И на ужин хлеба 200 гр. и суп, сахару 25 грамм и чай. Вот и все что получаю на день и живу обедаем в столовой все время. Завтрак в 6 часов утра обед в 2 ч. дня и ужин в 7 ч. 15 мин. вечера, а то и позднее... Ну пока до свидания целую всех

крепко. Спасибо сынку Виктору Ф., доченькам Анюте и Галине и тебе Таисья за письма которые я получил от вас, благодарю. Да ты сама писала что пошла бы на работу в с/совет, если сама пойдешь то тебе паек дадут на всех детей если сможешь то устраивась сама, а Виктор пусть работает в колхозе. Передай привет от меня теще Ирине Григор., Васе с Лидой и сестренкам Любе, Анисе и Сане... Ну пока до свидания. Всем спасибо за письма, будте все здоровы. Остаюсь пока здоров твой Федосей».

Поддерживать спокойную, дружелюбную атмосферу внутри большой крестьянской семьи — дело непростое. Все-таки и взрослые сыновья, и их жены — все были людьми разными. Одним лучше удавалось одно, другим — другое, а сравнения в таком общежительстве были неизбежны. Неизбежны были и обиды, ссоры, разделы и выходы. Все-таки 1920-е годы — время для большой семьи позднее. Но даже тогда умели смягчить разногласия шуткой, смехом. Мужицкий здравый смысл, единоначалие еще помогали решать многие проблемы большой семьи. Е.Т. Дорохова (1912): «Вот так и жили все. И не тесно было. Вот семья была 14 человек и не ругался никто. Всем хватало места. И не ссорились никогда. Ну, когда там поссорятся из-за чего-нибудь, из-за работы из-за какой или из-за чего-нибудь еще. Но до драк не доходило. Были у дедушки 2 невестки: тетка Клавдия и моя мама, Мавра. Они через неделю менялись работой. Одна стряпала хлеб, а вторая ходила за скотом. Вот пройдет неделя, и они меняются. Мама хлеб хорошо стряпала, хлеб у нее хороший был и вкусный. А у тетки Клавдии от хлеба корки отставали. Сколько ее бабушка ни учила, все без толку. А дедушка у нас был забавный. Он первый всегда начинал резать хлеб. Отрежет ломоть — корку, а внутри-то пусто. Вот туда-то и сложит все ложки. А

когда Клавдия на стол накрывает, то в первую очередь на стол — каравай и ложки. А когда все готово, дед вдруг скажет: «А ложки-то где?» Да тут были. Посмотрят на стол, а ложек-то действительно нет. Все ищут их, а след-то их простыл. Вот тут-то дедушка и скажет: «Ну-ка, Клавдия, посмотри, не съел ли их хлебушко?» Тут все ясно станет. А Клавдия стоит да плачет: «Вы Мавру не ругаете, а меня постоянно!» А дед на это ей говорит, что все нужно делать хорошо. Кто же будет есть такой хлеб? Уж учила ее бабушка, учила, а так Клавдия и не научилась. Уж тоже намучалась она, бедная. Муж ушел на фронт и оставил ее с семерыми ребятишками. Люди жили сами, каждый своей семьей. Какая семья ведь. В семье, там если уж хозяин дедушка был, чё дедушка прикажет делать — все подчинялись ему».

ХОЗЯИН

Только хозяин семьи держал в своей голове все мельчайшие детали хозяйства, определял каждому работу. Впрочем, взрослые дети слушались и матери-хозяйки. Подчинение родителям очень часто было абсолютным и беспрекословным. Михаил Родионович Новиков (1911): «Вот сейчас с какого класса курить-то начинают? Лет с 7-8. Курят парни, ладно, а девушки-то, туда же. А спросили бы раньше у 30-летнего парня, который уж женился и себе на хлеб зарабатывает, почему он не курит. Знаешь, что бы он сказал? «Мамы боюсь!» Вот как почитали родителей-то. А отца-то как боялись! Отец — это глава семьи, все вопросы решались им единолично. Вот сидим утром за столом, он каждому на весь день работы надает, и попробуй, не сделай! Он вернется домой, чтоб ни в доме, ни во дворе, ни во хлеве ни одной соринки не было. Все вылижешь к его приходу!»

Трудовой потенциал такой семьи мог быть очень значителен — вместе они, действительно, могли горы свернуть — и новый дом поставить, и залежные земли распахать, и луга осушить. В такой семье прочнее была вера в будущее, она легче проходила через многие тяготы и испытания.

Анна Архиповна Новикова (1909): «Было у нас 19 человек: у прадедушки — 3 сына, они женаты, у дедушки — 3 сына и так далее. Но хозяин — прадед. Он раздавал утром работу, он все знал о своем хозяйстве. Утром, бывало, собираемся на работу — все лапти перепутаем, ну представь — 19 пар лаптей! Так брат у меня вот что придумал: шест приколотил к стене и лапти вешали на этот шест, очень удобно и ничего не путалось и не терялось. Много было неграмотных, но все знали наперед, наверно, через веру в Бога».

И тем не менее раздел большой семьи, выход из нее взрослых женатых мужчин был неизбежен в XX веке. А.А. Марков (1925): «В детстве я жил в большой семье. Дед был очень суровый и иногда даже обижал отца, не говоря уже о бабушке и матери. Мы его боялись. Все вопросы решал дед, его слово для нас было законом. Когда он нервничал, мы все прятались. Самостоятельно бабушка не принимала никаких решений. Отец высказывал свои мнения и был недоволен дедом. Однако домостроевскую жизнь в доме сломить не мог. Он отделился от деда и построил свой дом на окраине деревни, где мы жили с мамой, тетей и пятеро ребятишек. Морально стало жить легче. Отец был добродушным, трудолюбивым и жалел нас, детей, и маму».

Конечно, были и наказания младших в семье, свои симпатии, антипатии, были и просто страх перед старшими, боязнь наказания. «Детей воспитывали только в работе: с малолетства приучали мыть полы, посуду, ухаживать за младшими братьями и сестрами. Дети

боялись своих родителей, слушали и почитали их. Отец, чуть не так — ремнем. У нас в семье отец пошто-то часто бил брата — не любил его. Помню, брату было лет 16-17. Он ушел на сеновал, лег там и уснул; а отец давай искать его. Нашел, да давай ремнем полысать. Брат вырвался — на лошадь, да и угнал в лес. Отец за им побежал, да разве догонишь. Пока отец бегал — искал его по лесу, брат домой пригнал. Сидит, ждет отца и боится. Потом отец вернулся, бить больше не стал, помирились. Мать пристала за брата» (А.В. Лузинина, 1907).

ЖЕНЩИНЫ

Мужчина был работником в поле, в лесу, в отходе, — а вся работа по дому лежала на женщине. Нам трудно и представить, сколько сил и времени требовал уход за скотом (лошадь, корова, овцы, птица...).

«Мужчина-то добытчиком был, ну а на женщине весь дом был. Весь день у скота. Все время в хлеву, скотину кормили, детей. Все с грязным подолом» (З.С. Медведева, 1914).

У женщины в семье была своя работа, в которую мужик не вмешивался, но и женщина мужскую работу не делала. Великая Отечественная война все смешала, все хозяйство легло на баб. Вряд ли жестко патриархальный стиль в отношениях между мужчиной и женщиной внутри семьи начала века нам сегодня понравится. Но для начала века он был естественным.

«Отношение с женщиной было самое простое. Муж говорил своей жене “ты”, а она ему “вы”. Он называл ее “баба”, а она его по имени-отчеству. Когда он с ней заговаривал, она отвечала, когда он молчал, она не смела спрашивать. Жена своего мужа боялась, считала, что поставлен он над нею законом божеским. Мир-

ному житью ее это не мешало. Грамоты мы не знали, учили грамоте, когда в колхоз вошли. Женщин-то в доме много было, семейно жили. Так свекровка-то у печи, а сноха и золовки поденно стряпали. А когда не стряпает, так прядет сидит. Никто без работы не оставался» (А.А. Пырегова, 1900).

В большинстве семей в отношениях между мужем и женой царили согласие и понимание. Но и применение силы (наказания) к жене чем-то чрезвычайным не считалось. Это тоже было нормой, но не для всех семей. «Хвостали мужики баб своих. Нахвощет отец мать, вытолкнет на мороз, а мне ее жалко, хоть и не родная. А отец отойдет немного погодя “Зови!” А мать на печь залезет и не гукнет. Напротив нас дядя Сергей, как начнет, выгонит всю семью на улицу. Одну только дочь Маньку любил. А уж позднее совесть появилась у них, не смели уж бить баб-то своих».

Считаться с мнением женщины в семье стали лишь с 30-х годов. «Женщины в семье, конечно, были бесправны, полностью покорялись мужу. У всех куча ребенков. У меня был дядя, так он, прямо сказать, издевался над своей женой. Однажды ехали мы из города: я, он с женой — с базара. Дядя купил новые лапти и отдал жене, положи, говорит. Она оставила их на бревне, где мы сидели — отдыхали. Он прекрасно видел, что она забыла положить их в телегу, но ничего ей не сказал. Отъехали километров восемь, он и спросил: «Где лапти?» Жена поискала, конечно же, не нашла. Дядя ссадил ее с телеги и говорит: «Иди пешком обратно и принеси!» Жена ушла обратно на базар, зная, что домой вернуться без покупки нельзя, заняла денег у знакомых купила новые. Пришла обратно домой пешком. В 30-е годы женщины стали ходить на собрания, учиться грамоте, стали более самостоятельные. С ними уже стали больше считаться» (Н.П. Устинов, 1918).

Впрочем, единовластие отца 30-е годы еще не поколебали. «Я всегда подчинялся родителям, не разбираясь, прав отец или нет — но он отец. В основном ведь боялись отца. Поэтому дома как-то всегда царили мир и покой, не было ругани и ссор» (он же).

Женщина зависела от мужа и экономически. Пусть редко, но встречались и случаи просто варварского отношения к женщине. «Отношение к женщине в некоторых семьях было прямо варварское. Ругали жен, дочерей, выгоняли на мороз, били чем попало. Весь доход был в руках главы семьи. Женщина без разрешения мужа пятака не могла использовать. Если она пойдет в магазин, муж точно подсчитает, сколько фунтов ей того-то, того-то купить и денег даст в обрез. Прав у нее никаких не было, а работать заставляли больше. Если муж или сын пьяный вернется, прячется по чуланам да подвалам. Это больше было до 30-х годов. Приведу один пример. При строительстве дома, подымая бревно на сруб, женщина нечаянно упала па землю, ее придавило бревном. И муж, даже будучи в трезвом виде, начал ее, лежащую под бревном, избивать: пинать ногами и бить попавшей под руку палкой» (И.И. Зорин, 1918).

Характерны и такие высказывания: «Отец мой был суровый, неграмотный. К своей жене, моей матери, относился грубо. Суп сварит — он свиньям выльет, ярушники испечет — под порог сбросает. Закона на женщину не было, была рабыня, и все. Боялась мужа со взгляда». «А разве женщина одна многое может? Чтоб хозяйством управлять, мужские руки нужны. Хорошие мужики и жен жалели. А вот, помню, был у нас сосед такой, Иваном звали, так он как пьяным напьется, так и избивал свою жену, а потом за ноги ее привязывал — вниз головой. Как она бедная терпела все это? И ведь ребятишек у них было восемь человек. Раньше женщины мужчин боялись, угнетенные были. Женщина и не

хозяйка в доме была, всем муж руководил. Она знала только горшки, ухваты, детей рожать да за скотом смотреть. А уж позднее женщины волю себе таки взяли» (Т.А. Шубина, 1919).

Развитие всеобщего (пусть начального) образования, развившаяся экономическая самостоятельность женщины серьезно повлияли на расстановку сил в семье. «Женщины в 20-е годы дома сидели, боялись мужу слово поперек сказать. Били их мужья сильно. А потом, когда сами работать начали, так уж не так от мужа зависеть стали, так могли и слово свое сказать. А я хорошо со своим мужем жила, я ведь образованная была, 7 классов окончила, да и работала все, муж на меня не смел больно-то ворчать. Да может еще, что любил меня».

Сказывалось на отношении к женщине, вероятно, и то, что землю даже в 20-е годы не везде делили по едокам, а делили по количеству мужиков в семье. Естественно, что и основным кормильцем семьи был отец с сыновьями.

Случаев варварского, жестокого отношения к женщинам все-таки было немного. Но они были! Евдокия Ильинична Старикова (1911): «У меня тетка выходила замуж у Зубиных в деревню. Муж ее бил, запихал в печку и заложил дровами. Она как-то выкарабкалась оттуда. Пошла доить корову. Он с сарая сбросил сутунок ей в голову. Она у коровы и умерла. Никто не искался.

Из Прокопья взяли молодушку тоже в нашу деревню, убили. Она и полгода у них не прожила, вот не полюбили, и все. А мастерица какая была, на всю деревню славилась. Когда ее убили, лесину выворотили из дому и под лесину положили, обратно задвинули. Раньше ведь женщин не считали за человеков». И все же молодая семья была сильна ладом мужа с женой.

СТАРИКИ

Коренным образом изменилось к 40-м годам и отношение к старикам. Старики и старухи, полные хозяева в своем доме, хранители традиций, вершители дел на деревенском сходе, совершенно исчезли в 30-е годы. Они не вписывались в новую систему хозяйствования, нравственных ценностей, обучения молодежи. Между тем регламентация домашних дел в доколхозной (дореформенной) деревне была мельчайшая, порядок при выполнении их соблюдался строжайший. Вот как об этом вспоминает Катаева Анна Николаевна (1908): «А кто считался в семье главным? А как? Отец — старик. Раньше ведь старики командовали. Чего делать, говорил старик. Все соберутся, отец и говорил, где работать. Старики командовали и старухи. Старухи они по хозяйству говорили чего делать. Это теперь всех старух забросили, а раньше почитали. Ну-ка, скажи ей слово, так она тебе! Не обрадуешься. У них в доме бабушка жила. Ослепла, 20 лет не видела (до самой смерти). Так баню истопят, а Афоня все ее носил на себе в баню. Мыли ее. Выводилась, слепая, над всеми ребенками. Она и коров ходила доить. Афоня раз, маленький еще был, посадил ее доить-то под быка. «Дои-ка, бабушка!» (смеется). А родители узнали, выпороли».

Уважительное отношение культивировалось не только к своим старикам (старшим в своей семье), но и вообще ко всем старым людям. «Стариков раньше почитали, все их спрашивали. Пойдут во двор: «Тятенька, какое сено бросать?» «Маменька, заварку корове делать, которую муку брать?» А теперь разве спросят чего у старухи? Сойдутся, и на квартиру уходят, а если свекровь или отец пришли попроведать, дак они говорят: «Леший принес». Только бы старики валили им деньгами да мясом. Не только родителей, раньше всех

старых людей почитали, здоровались со всеми, поперек слова не смели сказать. Как старик скажет, так и будет. Слушалася молодежь» (А.А. Опалева, 1915).

Старики в деревне выполняли функции своеобразного общественного надзора. «А вот с какими почестями к старикам относились! Идет старик по деревне — лучше бы куда с дороги отвернуть. Поди не так поклонишься, или чё не так оболочено. Всем еще из ребят строго наказывают и учат, как надо им кланяться, здороваться. Одним словом, почитали стариков и слушались. Уж слова не переставишь» (Е.И. Платунова, 1900).

Старики были очень внимательны ко всему, что происходило в деревне, формировали общественное мнение. Были очень внимательны к детям. «Такой пример, как нас маленьких заставляли почитать старших. Через дом от нас жил купец Иван Николаевич Рыбник. Раньше ведь как здоровались — фуражку за козырек и кланялись. Так вот: он шел и поздоровался со мной. А мне 8 лет было — я не заметил. Тот пожаловался (проклятый купец!) отцу. Он снял с меня штанишки — а дальше, я думаю, ясно. И в 80 лет все еще помню» (М.В. Сурин, 1902).

Вместе с тем старики делали по хозяйству много мелких неотложных дел, нянчились с маленькими детьми, трудились посильно, даже сдав хозяйство сыну. Впрочем, нередко их советы, поучения вызывали вполне понятное раздражение детей. Не случайно народная поговорка гласит: «Есть старик — так бы и убил, нет старика — так бы и купил». Старик в семье, действительно, был незаменим. П.Д. Колотова (1909) рассказывает: «Без стариков вообще нельзя обойтись во многодетной семье. У кого не было их, в дом приглашали жить чужую одинокую старушку, чтоб она нянчила детей. У старика в семье всегда было дело: он

рассказывает внукам, сказки, слепит тютьку из глины, выточит веретенце, насадит ухват, сплетет лапти, невестке смастерит шкатулку...»

Старики были часто ближе к малым детям-внучатам, чем к своим родным сыновьям и невесткам. Различали, впрочем, дряхлых стариков, которые уже почти ничего не могли делать и требовали ухода и старых стариков, которые по дому были еще полезны в меру своих небольших сил. Люди к старости тогла физически израбатывались сильно и старели раньше, чем сейчас. Н.Ф. Ситников (1926, д.Зуи): «Были в деревне и дряхлые старики. К ним относились почтительно, спрашивали совета, к которому прислушивались. Зимой они обычно лежали на печке, а летом сидели под окнами на завалинке. Старухи ходили в лес за грибами, за ягодами и пекли хлеб каждый второй день».

ВЕЧЕРКИ И ПОСИДЕЛКИ

Обращает на себя внимание высокая культура ухаживания, жившая в русской деревне. Существовали традиции знакомства молодежи из близлежащих деревень. Парни и девушки в совместных играх, хороводах, танцах учились тактичному и ласковому отношению друг к другу в предбрачный период. Для молодежных игр отводились особые места в селах. «В каждой деревне свои любимые хороводные песни. Девушки и парни в праздник водили хороводы на особом месте. Невдалеке ставили скамьи для тех, кто приходил полюбоваться на молодежь, посмотреть игры. Песни были специальные, хороводные, другие петь нельзя было».

Тщательно разработан на такого рода игрищах был этикет знакомства, общения парня и девушки, которые нравились друг другу. «В праздники собиралось

у нас неизвестно из скольких деревень. Молодежь в кругу. Тут девки липатские, дальше наши девки, там за нами сапроновское звено, там еще какие. Ну и вот они даже две песни поют — велик круг-то. Тут одна деревня поет песню, там другая. А зимой вечерки все устраивали. Собираются парни, собираются девки — играют. Всякие игры. Гармонисты свои. Пели. В почту, например, играли. Так вот девка сядет, а парень за ней стоит. Девка топнет, парень спрашивает: «Кто тут?» Девка: «Почта!» А он: «Зачем?» Привезла то-то, скажет. Платок носовой или еще что. Парень: «А кому это, кому?» Ну, а она позовет, извеличает кого-то (по имени-отчеству). Тот приходит, они поцелуются. Он сядет на это место. И дальше снова. В «соседа» играли. Опять, знаешь, парни играми девок разберут, и вот ходят две девки спрашивают... Менялись кавалерами-то, кто люб, с тем и останешься. А частушки наперебой пели друг дружке, она тебе так, а ты ей так. Ну и играли всяко-всяко. Целый вечер. «Хрены» пели. Ну это так. Все на лавках сидят, а две девки водят парня, поют: «Кто тебя садил, да кто поливал?» — «Садил меня Иван, поливал Селиван, Селиванова жена близко к городу жила. Хрен ухаживала, огораживала. Хрен расцвел, все плоды развел». Подведут парня к девке: «В город по капусте, в терем по невесте. Кто женится?» Вот такой-то женится, его назовут, извеличают. К которой девке подведут, ее назовут. «Дело ли, ребята?» — «Дело!» И этого парня садят тут. А потом другого парня берут и опять — к девке. Как же выходить за того, кто не нравится. Я, милый мой, хоть верь, хоть не верь, за двадцать второго жениха вышла. Вот сколько у меня было сватов. От одного парня раз пять приходили сватали» (К.В. Белякова, 1906).

Строго-настрого запрещалось приходить на такие праздники пьяным. «Пьяный кавалер был всеобщим

посмешищем. С ним ни одна девушка плясать не пойдет», — это общее мнение. Молодежь хорошо знала друг друга во всей округе, включавшей порой два-три десятка деревень. «Раньше можно было выбрать кавалера. А сейчас им, молодым, и встретиться негде. А вот мы в Троицу раз сосчитали: с 22-х деревень парни приходили» (А.Н. Евдокимова, 1913).

Излюбленным времяпрепровождением деревенской молодежи 20–30-х годов были вечерки, проводившиеся зимой по очереди во всех домах деревни, а летом прямо на улице. «Веселый был раньше народ. Собиралась молодежь у какого-нибудь хозяина, хозяйки, чаще одиночки. И почти всю ночь танцевали и играли. Сколько было веселья! Танцевали «двенадцать» (это двенадцать разных фигур), прохожую, коробочку, краковяк и другие танцы. Особенно нравилась игра «соседушки». Легче можно было познакомиться с какой-либо девушкой. Парни-то из соседних деревень шли. Рассаживались все по лавкам попарно (парень с девушкой). Если ты оказался один, тебе посадят любую девушку. Выбирался разводящий, который тоже ходил с девушкой. Они подходили к каждой паре, и «разводящий» спрашивал парня: «Доволен или нет?» То есть доволен своей соседкой или нет. Если доволен, можешь с девушкой всю игру сидеть и занимать ее. Если не доволен, тебе разводящий оставляет свою, а твою уведет» (А.В. Нохрин, 1917).

Зачастую, для порядку, на вечерках присутствовали и пожилые женщины. «На вечерки ходили. Парни, девки соберутся и пляшут. Круг во всю деревню — это молодежь. А бабы песни долги поют:

Мамушка, мамушка,
Долго носила, да нещастну родила...

Игры были разнообразные и свои в каждой местности, одни — для лета, другие — для зимы. Играли в «платочки». Девушки сидели. Подходили несколько парней к одной девушке, которая держала в руке платочек, парни по очереди брались руками за платочек. Чья рука оказывалась верхней, тот парень и целовал девушку. Летом играли кругом. Пели круговые песни».

Смех, веселье, совместные игры очень сближали молодежь. Притом игры, нередко шумные, задорные были очень зрелищными, театрализованными. Вот как вспоминает о них Екатерина Тимофеевна Дорохова (1912): «Раньше весело жили! Молодежь-то все вместе была, по домам не сидели, нешто сейчас. Ой, раньше вечерки были. Вот соберется молодежь вся, вот и откупали кто жил бедно — изба большая если у кого, за вечер там сколько-нибудь 3 рубля или 5 рублей брали. Ну и вот, ребята ходили откупали эту избу и вечерку играли. Вот собирали девок и ходили отпрашивать у матери и отца каждой, чтоб отпустили на вечерку. Ну вот играли вечерку. Девка к парню на колени сядет. Ну вот весь вечер играли там. Плясали там кружочком, плясали польку-бабочку да простую польку, да там кроковяк, да такие пляски. Гармонья играла! Как придумают что, так начнут играть. Ремешками щелкали. Раньше в мячики играли, лапта называлась, а мальчишки любили в кости играть. Кругом играли, хороводы ходили. Соберется много народу и говорят: «Девки, в круг, девки, в круг». Парни и девки выбирали друг друга. Часто играли в воробушка, водя хоровод, в центре которого сидела девка, а на коленях у той лежит другая. И вот все ходят в хороводе и поют:

Воробей, воробушек
Искосатенький, волосатенький.

Потом подходят из хороводу и спрашивают:

Что болит у воробушка?
Ой, право крылышко заболело.

И дают, кто чё может. Там тряпочку, денежку или еще чё. И лечат этим. Вылечится этот воробушек, станет здоровым и крылышками замахает. И все повторяется снова, вот только болезни меняются.

Хоровод водили и в дрему играли. В центре хоровода тоже сидела девка. И вот все говорили:

Сидит дрема,
Сама дремлет,
Сама спит.
Вставай дрема,
Вставай дрема,
В хоровод.
Гляди, дрема,
Гляди дрема,
Гляди дрема,
На народ.

Она просыпается и встает в хоровод.

Раньше много как-то играли, сейчас-то все это забывают. А еще любили «просо сеять». Все — и парни, и девки — делились поровну, вставали друг против друга и начинали свою игру.

Первые говорили:

Уж мы просо сеяли, сеяли,
Ходит ладо сеяли.

А вторые:

А мы просо вытопчем,
Ходит просо вытопчем.

Первые: *А мы коней выпустим,*
Ходит ладо выпустим.
Вторые: *А мы коней переймем,*
Ходит ладо переймем.
Первые: *А мы коней выкупим,*
Ходит ладо выкупим.
Вторые: *А чем же вам выкупить,*
Ходит ладо выкупить.
Первые: *А мы дадим 100 рублей.*
Вторые: *А нам надо тысячу.*
Первые: *А кого же вам надобно?*
Вторые: *А нам надо девицу.*
Первые: *А какую вам надобно?*

Вторые говорят о том, какую девицу им надобно.

И вот первым ничего не остается, как отдать ее, и девица уходит».

Такие игры тем лучше театра, что в них нет зрителей — одни участники. Крестьянин с раннего возраста был не потребителем, а активным творцом народной культуры: в песне, хороводе, играх на вечерке, на свадьбе, любом празднике — он сам создавал себе веселье и радовался созданному им празднику.

Широко распространены были посиделки. В основном, они были зимой, когда девушки, собираясь по вечерам в чьей-то избе, пряли. В начале нашего века девушки ходили на посиделки лет с пятнадцати. «Ходили к девкам: сегодня у одной, завтра у другой. Пели песни долгие, часов до двенадцати сидели, пряли. Старались больше напрясть» (А.В. Кропанев, 1914).

Протяжных русских песен в 20–30-е годы на посиделках уже порой не пели. В моду быстро вошли частушки. Сколько в них иронии, юмора, искрометного веселья! В основе своей частушки создавались как своего рода диалог молодежи на разного рода встречах и

праздниках. Главная тема частушек — любовь!

Анастасия Ивановна Рублева (1921): «Посиделки были зимой. Собирались у кого-нибудь, песни пели, пряли. Посиделки были то у одной, то у другой девчонки; кто с пряхой придет, кто с вязанием; плясали, больше частушки пели:

Меня милый не целует
И не обещается.
А любовь без поцелуя
Строго воспрещается.

На вечерке без гармошки,
Как в лесу без топора,
А любовь без поцелуя,
Как бутылка без вина.

Задушевная подруга
Полюбить так моряка.
Он идет, так ленту черну
Видать издалека.

Папа, мама больно бойки,
Меня держат на веревке,
На веревке, на гужу,
Перекушу да убежу.

Все сердечные привязанности, измены, радости и огорчения выплескивались в частушках на общее обозрение, подчас больно задевая и высмеивая ненадежного кавалера или ветреную девушку. Не стеснялись смеяться и над собой. Вот несколько очень типичных частушек, оставшихся в памяти Марии Тарасовны Каратаевой (1920):

Черную смородину
Брала через колодину.
Не пойду далеко замуж —
Не бывать на родину.

У миленочка я
Восемнадцатая.
Всех по очереди любит,
Завтра очередь моя.

Черная смородина
В калошу закатилася.
Чернобровый, черноглазый,
Я в тебя влюбилася.

Мене милый изменил,
Я ему сказала:
Я такого таракана
На стене видала.

Ой, миленький мой,
Ты мне нравишься!
Расцелуй хоть разок,
Не отравишься.

У меня миленков 30.
Я пошла от них топиться.
Прихожу я на реку —
Все сидят на берегу.

Меня сватать приезжали
С позолоченной дугой.
Пока пудрилась, румянилась —
Уехали к другой.

В ухаживании ценились верность, постоянство. «Если парень у нас познакомился с девушкой, то он с одной с ней и знался. Упаси, Господь, изменить парню. По отношению к девушкам ребята вели себя скромно, сквернословия от них не услышишь. В почете были ребята гармонисты. Девушка разрешала поцеловать себя только в щеку» (Л.И. К-ва, 1905).

Многие вспоминают, что парами ходили редко, — в основном больше группами («табунками»). Таким образом, за несколько лет до свадьбы молодые девуш-

ки и парни хорошо узнавали всю окрестную молодежь, имели возможность «срубить дерево по себе» — найти себе наиболее подходящую пару. Впрочем, их мнение чаще всего решающим не было. Окончательное слово было за родителями.

СВАДЬБА

Выбор будущей жены (или мужа) от самого парня (а тем более девушки) зависел мало. «Раньше ведь сами не знакомились. Кого родители сосватают, с тем и будешь жить. После свадьбы редко ведь дочери к родителям-то вырваться удавалось в гости».

А от того, в какую семью войдет молодая жена, зависела вся ее жизнь, поэтому о будущем муже девушки думали с трепетом и надеждой, поэтому повсеместны были девичьи гадания на будущего мужа. Вспоминает П.В. Злобина (1909): «Раньше гадали, смотрели в зеркало, свечку на божницу поставят, закроются скатеркой, замечают — сколь семья велика будет, столь свечек загорит. У меня тетка была, захотелось поворожить. Свечку засветила, считали, считали — много нагорело. И вышла замуж в большую семью. Приехал жених. У них в семье 24 человека. Приехал сватом. Она поехала за 15 км. А там народу насобиралось — вся деревня невесту смотреть. Тетка не знала, что семья большая. На другой день опять много народу. Тетка говорит: «Почему так много — ведь вчера смотрели?» А дядя сказал: «Это все наши!»

«Раньше гадали в Рождество, на Крещенье. Ночью тетушка нас, девок, повела в развертку. Сели на корточки и говорим: «Полю-полю снежок, где мой женишок?» Тетушка чего-то говорила, мы не знаем, она и чертей отговаривала. Сидели мы недолго. Я слышала колокольцы. К свадьбе! Анютка — что доски строга-

ют. Муж умер. Симка — что петух запел. Так в ту деревню и вышла тем годом. В приметы верили» (А.И. Колупаева, 1910).

К замужеству девочек готовили чуть ли не с рождения. Надо, чтоб была хорошей работницей, умелой мастерицей, имела приданое (в первую очередь — одежда). Когда девка на выданье была, женихи смотрели, сколько приданого у нее, богата ли. Хорош ли дом, много ли скотины. Сколько сарафанов, есть ли пóльта, да в каких полушалках. И когда сватались, спрашивали — что за ней будет».

Сегодня многие старые женщины критически относятся к экономической подоплеке брака тех давних лет. «В деревне нужна была работница-рабыня. Женится парень — осенью играли свадьбу. Девку брали — даровую работницу. Через год родит она ребенка. Муж посмотрит: если девчонка — рожу скривит, мальчик — на руки возьмет. На девок надела не давали, вот девкам и не радовались».

Процедура заключения брака, предбрачных торжеств была детально регламентирована. Все в тонкостях знали, что за чем следует, и малейшие отступления от традиции вызывали неодобрение.

Невеста могла знать жениха до свадьбы, могла и не знать; могла влиять на выбор родителей, могла и не влиять.

Что помнят об этом невесты 20-х годов: «Стала взрослой, 17 лет стукнуло — вышла замуж. С женихом жили недалеко, с километр, не больше. Немножко знали друг друга — раньше ведь не больно бегали, мама не отпускала. Подружили немного, по вечеркам бегать некогда — работать надо.

Ведь обычно знакомились на вечерках — плясать приглашали. Плясали кадрели, топотуху, голубя. Провожали до дому, поговорим и разойдемся, чё ведь раньше смиреные были.

Договорились на вечерке Рождеством, две недели Рождество, вечерки не каждый день, а часто были. На второй день жених приехал на лошади, разнаряжена лошадь, с матерью и братом. Когда приехали, мама поставила самовар — был большой, медный, кипятили углями. Самовар вскипел, самовар на стол, я села, наливала чай. Жениха посадили напротив, рядом мать и брат, мы с мамой напротив, тятя был дома, с нами же сидел. Чаю попили, из-за стола вышли.

Чё, я ушла в боковушку, маленькая комната была. Жених попросил разрешения у моих родителей, можно ли зайти ко мне, они разрешили. Он зашел ко мне и спрашивает: «Ну, чё, пойдешь за меня взамуж?» Я сказала: «Пойду!» Мы оба согласны. Вышли мы из боковушки и давай опять чай пить. Жених сказал, что мы решили пожениться. Родители с обеих сторон согласны, ну чё стали насчет свадьбы договариваться, стали те и другие говорить. На смотринах водки не было» (Т.И. Кротова, 1912).

Смотрины и сватовство — начало брачного пути. Нередко сватались многократно. Согласие родителей невесты и ее самой зависело от множества причин. Сколько девочек в семье? Как родители относятся к дочери? Какое хозяйство у жениха?

«А пришло время, я в 1928 г. вышла замуж. Он у меня был ревнивый сначала. А вот не любила, а замуж пошла. Нас пять сестер, так чё еще не идти-то? А он все меня уговаривал замуж. Да... Хотела мама в город меня отдать. Я не пошла. Говорю: «Не пойду! Вот хошь чё будь, да я не пойду!» Я не очень-то его любила, он был какой-то неласковый, а пошла замуж. Чего уж, нас пять девок было... Он меня столько раз спрашивал, а потом сказал: «Я ведь буду жениться. Так дай ответ окончательно! Если ты не пойдешь, так я пойду вон к етой, вон там рядом-то, свататься». С мужем мы жили

неплохо, можно сказать. Он не держался сторонки, и мне это нравилось. Детей воспитывали вместе» (Л.С. Никулина, 1909).

Любопытно, что многократное сватовство было делом вполне обычным. Но возможность выбора не отменяла решающее слово родителей.

«Еще про сватовство расскажу. Сватались ко мне много. Я за тридцатого жениха вышла. Мама говорит: «Не буду со сватами сидеть, надоело — да и холодно!» Сначала приедут родители — посватают, потом жених — сидишь с ним. Здороваешься за руку сперва с женихом, потом с родителями. Потом скатерти выносишь, на подносе их сестра несет, а я расстилаю, сколько есть (чем больше, тем лучше). Потом ухожу. Чаем поим. А я выходила — так уж вином обносили. А раньше-то я его (мужа) не знала, не видела даже. Ведь был парень-то у меня, так и не дождала его, надо было уже выходить» (З.С. Медведева, 1914).

Между тем решение родителей чаще всего не было произвольным, случайным — а было тщательно обдуманным и взвешенным. «Когда выдавали замуж, то проверяли всю родословную, кто чего стоит. Считалось счастьем, если девка выходит замуж в свою деревню». Ю.Т. Базанова (1919, д. Пичугино): «Над ленивыми у нас любили надсмехиваться. Был у нас Никита Черный. Землю свою продавал на корню. А сам зиму в карты играл, а лето гулял. Таких у нас не любили, браковали. Дочерей у таких замуж не брали. Раньше ведь — от роду. Корову, говорят, выбирай по рогам, а невесту по родам. Все выбирали по родителям. Вот Маханские-то были — Настька, Зойка — песенницы, плясуньи, а замуж взяли прощелыги, которые сами с такого же рода».

Очень тщательно оценивалась семья, в которую предстояло идти невесте. Рациональные мотивы превалировали чаще всего и в ее выборе. Свято чтилось се-

мейное родство — братья, сестры, ценились их советы. «Братья и сестры любили друг друга, жалели друг друга. Родительское слово не переставляли, оно — закон».

Замужество, в конечном счете, определяло всю будущую жизнь женщины. И девушки это прекрасно понимали. «Женихов у меня много было. Один сватается — у леса живет, да и семья большая. Значит, не пойду, бедность будет. Другой сватается с заводу, смолу там гнали. Не пойду за заводчика, мама говорит — не нашьешься рукавиц. С которым парнем плясала, так у него семья большая была. Раньше рылись в женихах-то, а я ведь красавица была. А один сватался, так дед у него не слышал. Так брат сказал, что вдруг и зять будет глухой. А у другого отец пил, так и сын поди пить будет, не пошла. А замуж выходила, вся уревелась. Одни говорили: чё ты это? Вон какие красивые сватались! А другие: правильно, он хороший, да и служащий. Хорошо жить будешь! А брат Павел сказал, что если не люб будет, так я ведь от угла не отказываю. Председатель в сельсовете заставляет расписываться, а я из принципу не стала. Говорю — не умею. Так жених сам за меня расписался» (А.И. Колупаева, 1910).

Если девушка была пригожей и о ней шла добрая слава в округе, то сватали ее в свадебную пору часто. Не всем родителям это нравилось.

«Сватать меня начали с 16 лет. 13 женихов сватали меня. Из нашей деревни и из других деревень приезжали. Иногда по 2 по 3 жениха зараз. Тяте надоело, говорит: «Ночи не дают спать. Пропью я тебя». Замуж я вышла на восемнадцатом году. Тятя отдал меня силом, я не хотела идти, а деваца было мне некуда, была бы жива мама, она бы не отдала бы. Так всю жизнь прожила, промучалась. Свекор был буянистый, как выпьет, так нас и выгонял из избы. Всю посуду, какая глиняна была, всю перебьет» (М. И. К-ва, 1910).

Приданое играло важную роль в отношении семьи к молодой невестке, но главным была оценка ее трудовых навыков. Та девушка пользовалась уважением, которая и прясть, и ткать, и шить хорошо умела, работы никакой не боялась. Говорили: «Ищи себе жену не в хороводе, а за делом в огороде». К 16-18 годам девушка была уже хорошей работницей, владевшей всеми крестьянскими навыками. «В 12 лет меня повели в поле за большую косить. В 12 лет полностью закончилось мое детство. А в 16 с половиной лет меня выдали замуж. Когда я сказала, что не пойду замуж, так мать на меня как топнет ногой и говорит: «Как ты можешь против меня идти». Так меня просватали, были смотрины, выпили вино и назначили свадьбу. После моего замужества мать умерла через два года» (А. Г. Посохина, 1907).

По глухим углам в северных вятских деревнях сохранялся еще и обычай выкупа невесты. «Выкуп за невесту долго сохранялся. За мою маму, например, родители жениха уплатили зерном. Другие платили деньгами, разными дорогими вещами. Девушка чувствовала себя виноватой перед семьей, в которую вошла».

В каждой деревне были свои отличия и в предсвадебном ритуале, и в брачном обряде. Иногда решение объявляли не словом, а всем понятным знаком. Дарья Николаевна Казакова (1901): «Жених с невестой порой не знали друг дружку. Посылали сватью. Потом сватья с отцом, матерью и женихом заходят в избу к невесте. Невеста нарядится, поклонится, всем руку даст. Посадят гостей за стол, чай пьют. Кому понравится невеста, пустую чашку как обычно на блюдце ставят, а как не понравится, то чашку кверху дном опрокидывали».

Невест не столько выглядывали, сколько выспрашивали. Уху доверяли больше, чем глазам. «Свадьба —

событие для всей деревни и окрестных деревень. Раньше девок выглядывали для жениха нищие. Потом у них узнавали родители, где есть подходящие девки, которую можно определить в невесты для сына, узнавали, кто родители, что за родство. Если родословная устраивала и девка приглянулась родителям, объявляли о невесте жениху. Находили сваху, запрягали лошадь и ехали сватать. Сватунья должна уметь ловко соврать, расхвалить жениха», — вспоминает Александр Сергеевич Бусыгин (1912). Помнит он и о выкупе невесты на Вятке: «Договаривались о запросе, то есть о цене невесты. Маму мою в свое время оценили в 60 руб. Это по тем временам очень большая цена. Для сравнения: корова стоила 30 рублей. Так вот, 30 рублей заплатили деньгами, а 30 рублей — чистым золотом. Бывало, что с жениха требовали одежду для невесты, если та бедновата. Ну просили шубу или валенки, а то шаль. Потом с невестиной стороны родные едут смотреть дом жениха. Посидят за столом, поговорят, выпьют маленько. После этого жених со сватуньей и родителями едут опять к невесте с гостинцами. Чаще гостинцы из стряпни или сушек купят. В это время назначают свадьбу».

Богатый жених мог и перекупить уже «пропитую» невесту, так как родители могли менять свое решение. «Мать мою выдали замуж рано — в 18 лет. Приехали сваты и просватали без нее. Жениха своего раньше не видела. Сперва просватали за одного, а потом за другого — который вперед задаток дал. Замуж вышла в 1918 г. Раньше женщины очень стеснялись мужчин, слова поперек не сказывали. Я своей свекрови слова поперек не сказала за 35 лет. Саму меня отдали замуж. Сколько слез я пролила, когда пошла за нелюбимого!» (В.В. Рогожникова, 1920). «В 1949 году вышла замуж. Сосватали родители, без моего согласия. Привели же-

ниха, познакомили. Сказали — хватит в девках ходить, пусть теперь муж кормит. А я до этого 7 лет на лесозаготовках уж отработала. Не только себя кормила...»

«Замуж раньше отдавали насильно. И говорили: «Пуховое одеяльце в ногах, да подушка в слезах».

Перед свадьбой невеста собирала у себя подруг на девишник. Они наряжали ее, а невеста оплакивала свою закончившуюся девичью жизнь. М.Ф. Бабкина (1921) из Омутнинского района помнит старинную песню своего девишника:

На воде было, на заводи
Сера утица купается,
Косицы мьёт она,
Белится хорошо ли,
Румянится, снаряжается.
Над ней девушки дивуются.
— Не дивуйтесь, красны девушки,
Над моим да над хорошеством.
Я осталась от батюшки,
От родимой своей матушки.

Подружки гуляют, поют песни, невесте косу заплетают, а невеста плачет.

Свадьба — это плод долгих забот и тщательных приготовлений. Но это и веселый праздник — ритуал, где все тщательно спланировано заранее. «За невестой приезжает жених ее свитой — человек 20. Обедают, за обедом невеста дарит родственникам и сватам жениха полотенца, холст» (А.Г. Посохина, 1907).

В некоторых свадебных песнях оплакивалась злая участь молодой жены рядом со старым мужем. Печаль и грусть, наставления и предостережения на каком-то этапе свадебного торжества были очень уместны.

«Раньше пели песню про соловейко и ходили по кругу:

Маленький соловейко
Из саду в сад вылетает,
К терему к окну припадает.
В тереме в окне девка красна плачет.
Она возрыдает –
Вышла за старого мужа замуж.
Старый муж на рученьку ложился,
Ровно колода навалился,
Ровно колода дубовая,
Рученька кленовая.
Старого в уса целовала,
Ровно крапивы полизала
Жгучей, проволоки колючей.
Выходили красны девушки
Из ворот гулять на улицу.
Выносили соловеюшко во клеточке,
Позолоченной решёточке.
Соловеюшко рассвистелся.
Красны девушки разыгралися.
Молодушечки расплакалися.
Кому воля — кому нет,
Воля гулять — девкам,
Воли гулять бабам нет».

(А.Г. Посохина, 1907)

Дальше свадебное действо идет своим чередом: «Посидят гости за столом, поугощаются — выводят невесту. Она закрытая. Невесту выводит сваха к жениху. В это время девки и родные невесты воют. Жених и невеста не пьют не едят целые сутки. Из-за стола все гости отправляются в церковь на венчание, а потом едут к жениху пировать. У жениха встречают невесту

свекор со свекровкой. Усаживают гостей за столы, и начинается веселье. На другой день невесту ведут по воду на колодец. Гости наряжаются, всяко приставляются, поют частушки.

Невеста готовила всем подарки, раздавала их родным жениха. Подарки были рукодельные, в основном самотканые вышитые полотна. Народу на свадьбах было помногу, но все родные. Много пели песен, плясали под гармонь. Любимым угощением были сушки. Раньше они были не такие. В фунт укладывалось 12 сушек. Мука была качественная, хорошо пропеченные. В чае сразу размокали, как кисель. Пекли пряники, готовили мясные блюда.

Невесте перед свадьбой готовили ее родители шубу с борами, жакетку и другую одежду. Если она бедновата, а жених богаче, то выряжали что-то из одежды с жениха. После свадьбы невесте выделяли приданое ее родители. Это, в основном, давали кого-то из животных. Если хозяйство крепкое — давали корову, телку, а если бедное, то, бывало, и овечкой обходились» (А.С. Бусыгина, 1912).

«Лошади у жениха наряжены — ленточки в гриву вплетены, колокольчики под дугой начищены, сбруя новая. Свадебный поезд звенел на всю округу. «А свадьба! Ой, такая свадьба! Лошадей запрягут штук так 10, нарядют, в ленточках все, в дугу и в гриву везде навяжут лошадям. И едут. Поезд целый с колокольцами, с гармоней, дру́жка полотенцем перевязанный. А народу полная изба найдет. Везде ребятишек на полатях (раньше полати были) назалазит, и все смотрют на жениха да невесту, как невеста целуется с женихом. Потом гуляют целую неделю, катаются на лошадях. Жениху с невестой песни величальные поют. А весело!» (Е.Т. Дорохова, 1912).

Свадебный обычай был очень многообразен и мно-

голик. Анастасия Васильевна Кропанева (1914) вспоминает о своей свадьбе: «Обвенчали нас и поехали к жениху. Когда приехали, нас встречали родители жениха хлебом-солью. Кусали каравай жених и невеста. Считали, что кто больше любит, тот больше и откусывает. Молодых привели в избу. Невесту посадили на квашню, расплели косу и завили волосы куфтой. Накрыли столы, посадили молодых за стол, а потом всех гостей. Угощали всех, кричали «горько!» Два дня пировали у жениха. На второй день жениха с невестой заставляли пилить дрова. Натопили баню, жениха с невестой втолкнули, еще и двери держат. Да много чего заставляли делать.

Семья у свекра была большая — из девяти человек, и я была десятой. У мужа было трое братьев и три сестры. Они все были молодые и мне было хорошо с ними».

Многие старые крестьянки вспоминают о свадьбе как о начале счастливой семейной жизни. То, что они не были до свадьбы знакомы с женихом, никакого значения не имело. Клавдия Михайловна Локтева (1921): «Сватов заслали к нам из соседней деревни. На красивых лошадях с бубенцами прискакали они. С женихом я была еще не знакома. Слышала от других, что парень хороший, видный, что живут зажиточно, имеют в хозяйстве лошадь. Да и я была не бесприданница. За меня отдавали в приданое новую шубу, осеннее пальто, много платьев, туфли, богатую постель. Было у меня несколько отрезов. Ну вот, приехали сваты, договорились, когда чё. В день свадьбы приехал снарядный жених, тут я впервые увидела своего будущего мужа. Благословили в путь меня мать с отцом, и поехали мы в церкву. Было на мне новое кашемировое платье сжелта, высокие ботинки со шнурком. Была я счастливая и молодая. Запомнила, что в церкви было много народу.

Батюшка был снарядный и молодой. Все нас поздравляли и дарили нам подарки. Все клали деньги, кто сколько, а родители подарили мануфактуры и телушку. На второй день я одарила родственников мужа полотнами. Их соткала моя мать, а вышивала их я сама с кружевами. А сватунье Паше подарила два полотна. С мужем мы прожили 38 лет. Если б не проклятая война, которая не дала дожить нашим мужикам до наших дней, то жили бы мы очень счастливо».

Браки были разные. Порой разница в годах между мужем и женой была очень значительна. Вдовцы (и реже вдовы) по возможности старались вновь найти себе пару. Тянуть одному крестьянское хозяйство было непосильно. Да и не мог мужик делать женскую работу по хозяйству, а тем более женщина мужицкую... Нередко вдовец, человек со справным хозяйством, был в глазах родителей невесты предпочтительнее молодого несамостоятельного парня. Мнение невесты родителей интересовало мало. «Отец мой был на 21 год старше матери. Первая его жена умерла. В тот год, когда родилась моя мать, отец женился в первый раз. От первого брака у него осталось 2 дочери. И вот в 1907 году, когда моей матери было 20 лет, ее посватали в одну деревню за молодого парня. В ту пору сватались родители без согласия невесты. Сваты приходили с вином к невесте. В доме выпивали вино, с согласия родителей невесты, и невеста считалась «пропитой». Но этому не суждено было случиться. Будущий мой отец, уже вдовец, встретил молодую мою мать на празднике. Она ему понравилась, и он решил на ней жениться. Но он знал, что она уже «пропита» за другого и решил сделать выкуп. Приехав к моему дедушке, договорился с ним, что платит за все ихние расходы, которые они затратили к приготовлению свадьбы. А расходы по тем временам были немалые: деньги, подарки дорогие и

прочее. Позднее мать рассказывала, что он долго уговаривал ее отца, но все же уговорил его и заплатил за все. Но мать-то знала, что он вдовец и дети у него есть и к тому же тот парень, за которого она была «пропита», был ей по душе. Вот мать и решила воспротивиться. Что тут было!.. Моя бабушка, как рассказывала мать, была человеком со старым укладом жизни и была главой семьи. Ее слово было законом для всех в семье, и она не терпела никаких возражений. За то, что мать моя попробовала сказать, что он на 21 год старше ее, она так ее избила чересседельником, что ее нижнюю рубашку в бане отмачивали. Вот так она вышла замуж за моего отца» (И.В. Обатурова, 1927).

Когда замуж выходили вдовы, то внутри семьи (если брали примака в дом) расклад сил был в пользу женщины. «Было нас в семье четверо детей. Пятый, еще маленький, упал через перила и убился. Я самая младшая была. Отца я не помню, он умер, когда мне полгода было. Самогонки холодной на празднике попил, простудился, заболел и оставил мать одну с нами. И осталась мама с нами, с лошадью и с двумя коровами. Полгода так одна и жила: сама горбушей косила, серпиком жала, все делала — да разве управишься — помощников никого. Самому старшему у нас 8 лет было. Полгода промыкалась, а потом старый сосед и говорит: «Афанасьевна, женись!» Была у нас в деревне семья — сироты, 7 детей. Сбирали они. Старшие-то разъехались кто куда, переженились. А младшему Мише 21 год был. Его-то мать и взяла в дом примаком, а было ей тогда сорок два года. Отец наш второй нас пальчиком не задевывал. Дом сам выстроил. 28 годов они с матерью прожили. Говорили про них, конечно, разное. Говаривали, что Афонасьевна Мишу в работники взяла. Да мать не слушала, а нам говорила: «Я себе одну возжанку взяла, а другую ему дала». А отец

мой второй все лапти плел. Он-то молодой, ему вечером спать хочется, а мать старая — ей не спится. Вот она и кричит: «Слезай-ка, отец с полатей — лапти плети, а то все бока пролежишь!» (А.М. Гребенкина, 1923).

Порой на выбор жениха или невесты сильно влияли родные братья и сестры, чье мнение (как и само родство) ценилось чрезвычайно. В условиях, когда девушку сватал не один жених, ей было легче сманеврировать, выбрать человека себе по сердцу. Августа Михайловна Гребенкина (1923) так рассказывает о замужестве своей сестры: «У меня вот сестра выходила замуж. От Ельников Миша приезжал, сватали. Вроде всем парень хорош: и красивый, и работящий, а мне не понравился. Взбеленилась я, не хотелось мне, чтоб сестра за него выходила. А сестра и сама его первый раз видела, да что делать. Поехала она за сундуком в Слободской. А пока ездила, с Тарасовых другой приехал, Сережа. Уж он-то мне больно поглянулся. Сестра этого Сережу тоже ни разу не видела, а он ее зимой выглядел, когда из Дубин с лесозаготовок ехал. Сестра тогда в барчатке да в лаптях со скотиной во дворе управлялась.

Приехала сестра с сундуком и не знает, что делать. Родители решили, что в Ельнинцы сначала ехать надо, ну и поехали они подъезд у Миши смотреть. Раньше ведь не токмо жениха смотрели, надо было, чтобы и дом был справный, и подъезд хороший к дому. Приехали, посмотрели место и в избу зашли. Народу больно много понабилось, всем хотса невесту посмотреть. А в избе под лавками они куриц держали. Свекровка больно на гостей смотреть не стала, запричитала: «Куда прете, курец-то мне передавите!» Ярая была. Не понравилась. Домой приехали, решили жениху отказать, сестра сама отказывать ходила, уж больно ей идти-то к ним не хотелось.

А Сереже в это время другую сватали в Косарях. Да она ему не понравилась.

Венчаться Сережа с сестрой ездили в церковь за 4 км от нас и за 8 км от него. Повенчались, а обратно он ее только до развилки довез, километра три сестра пешком до дому добиралась, а Сережа-то в свою сторону уехал. Такие вот порядки раньше были до свадьбы».

Стремились в 20–30-е годы соблюдать и старинные послесвадебные обычаи. А.М. Гребенкина продолжает: «А бабы много тогда терпели. У другой сестры мужик больно был характерный. Как Масленица — так зять к теще идет, а теща зятю рубаху дарит, и обязательно надо было, чтобы яйца на столе лежали. А где мы яиц возьмем? У нас в ту зиму куры не неслись, соседи сами впроголодь жили, так и собрали стол без яиц. Так ведь зять больно разъярился, собрал скатерку посредине, да и все со стола стряхнул.

Некоторые мужики баб своих били сильно. А хоть как живешь — никуда не уйдешь. В суд, как сейчас, не подавали. Порядок любили. Про плохую хозяйку говаривали, что у нее в избе только сохи да бороны нет».

Из-за семейного деспотизма немало случалось и трагедий. Стерпится-слюбится — устраивало не всех. Павла Алексеевна Колотова (1909), сбежавшая от нелюбимого жениха в город, так вспоминает об этом: «И тут-то меня стали сватать в невесты. Не знаю, что и делать: или в лес на заготовки, или замуж. И парень-то мне не нравится, а замуж посылают, вот и пошла я в дом к жениху, пожила там дня два, не больше, да слезы задавили, на сердце тяжесть лежит и пошла снова домой к мамушке. Но в то время несильно слушали нас — молодых девок, раз выдана, значит живи и иди к мужу. Взяли, значит, меня под руки и увели обратно. Но не осталась я там, снова домой прибежала. Но к родителям не зашла, а заперлась в бане, взяла веревку, хотела

удавиться, да ничего у меня не вышло. Нашли меня. Что делать? Жить мне не хотелось с нелюбимым и взяла я себе иглу в руку запихала. В то время в сельсовете у нас рентгента не было и подумалось мне, что меня все равно отправят в Устюг».

МОЛОДАЯ ЖЕНА

Наши представления о том, что лучше, если муж и жена близки по возрасту, расходятся с мнением многих стариков. Главным они считают взаимопонимание, устойчивый контакт между мужем и женой. Опытный, хозяйственный муж (пусть не очень молодой) мог многому научить свою молоденькую жену. И последняя была ему за это очень признательна. Л.П. Бабкина (1923): «А когда мне 16 лет исполнилось, тетка за вдовца меня высватала (сироту. — *В.Б.*). Не по годам выходила, а чтобы посытнее было. Замуж выходила — три платья было, а рубашки и единой не было. Муж у меня умный был, а я даже не знала, как время узнавать. А признаться стыдно было. Муж мне скажет — разбуди меня во столько-то! А я как утром встану — так сразу во двор ко скотине: навоз таскаю, сено или еще что делаю. Муж утром встанет, посмотрит — я во дворе кручусь, он меня и не ругает. За домовитость-то ругают разве? Долго он так не знал, что я время не понимаю, потом я уж сама ему сказала. Ох и смеялись мы с ним тогда долго. Научил он, конечно, потом меня, как время узнавать».

Умение приспособиться, войти в ритм жизни новой семьи было делом сложным. Новых родственников было много и к каждому нужен был свой подход. Мужья относились к молодым женам по-разному, но в основном те страдали от свекровей. «Какая свекровь да золовка (сестра мужа), много значило для невестки».

Вот интересный эпизод из жизни А.Н. Катаевой (1908): «А я вышла замуж, жить стала у Афони, ну и раз пошла спать-отдыхать. А Афоня рыбачить ходил. Как выходной день, так леший его на луга унесет. А отец в село ездил. Приехал — обедать собрались. Ну и Маня пришла и мне говорит: "Анют, пошли обедать". А я с дурного-то ума и говорю: "Идите, сопите!" Ой, ну я думала, так светопреставление будет. Я думала, как дома, что попало можно говорить. Мы еще с Афоней-то первые месяцы жили. Маня матери-то и говорит, вот что она сказала — "сопите". Мать рассердилась на меня и Афоньке сказала. Он на меня осердился. Знаешь, спать легли, я с ним разговариваю, а он ничего не говорит, все молчит. Я говорю: "А чё ты все молчишь?" Я-то ведь думала, что это все прошло уже. Он говорит: "А что ты матери-то сказала?" Я говорю: "Так ты чё, с матерью жить-то хочешь, а не со мной? Так, говорю, пожалуйста". А тогда ведь не уходили. Хоть хорошо, хоть плохо — живи. Спрошу, если возьмут домой, то и уйду. Если спать со мной не хочешь, так на кой леший женился? Ну и вот. Так не стал на меня сердиться. А мать посердилась-посердилась, потом помирились. А Мане говорю: "Ты пошто на меня осердилась? Я ведь как дома с девками, всегда что-нибудь говорила". У нас Мария никогда не мыла пол, ничего не делала. Я как-то сказала ей: "Подожди, леший. Мама придет, так я все ей расскажу, что ты ничего не делаешь". Она мне говорит: "Ах, ты еще ругаешься! Мама-то придет, я скажу ей. Так она тебе знаешь что сделает. Испорет всю". Я опять хожу: "Мария, не сказывай. Только не сказывай. Я больше никогда тебя ругать не буду". Вот так жили».

Немало было сложено народных песен о горькой судьбе молодой жены в чужой семье. С замиранием сердца, страхом и трепетом думали молодые девушки

о своей жизни в другой деревне. М.Ф. Бабкина (1921) вспомнила такую старую вятскую песню:

Как под белою под березою
Тут не шум шумит, да не гром гремит,
Тут шумит, гремит —
Муж жену учит:
Ты учись, учись, жена умная,
Жена умная, жена разумная.
Ты зови, зови свекра батюшкой,
Называй его все по имени,
Величай его все по отчеству!
Как мне звать-не звать,
Лучше битой быть,
Стеганой, перехлестанной.
Битой, стеганой, перехлестанной.

Семейных драм, вероятно, было не больше, чем сейчас. Хотя в XX веке положение жены в крестьянской семье стремительно меняется. Но в 1900-е годы разводов еще почти не было. Уйти молодой жене было некуда.

«А вот рассказ моей бабушки. Это было где-то в 1900 году. Из деревни Суханово убежала молодая жена от мужа — от невыносимой жизни в новой семье — к своим родителям на Высоково. За ней приехали муж и свекор. Катерина в слезы — просит отца и мать не отдавать ее на муки, а отец сказал: "Отдана замуж — отрезанный ломоть, и теперь муж — твой хозяин, я уже ничего не могу сделать". Привязали Катю за заплетки (косы) к телеге, сами сели на телегу и погнали лошадь. Как она бежала, как волоклась по дороге — да как-то оторвалась у Ожегова и спряталась в овине. А они на деревню выехали, спохватились: Кати нет, заорали, забегали, нашли ее в овине, привели, снова хотели при-

вязать. Но тут кузнец, уважаемый в деревне человек, сказал: “Привязывать не сметь! Садите на телегу и везите как человека”. Посадили и увезли. Так и жили. Умерла Катя молодая. А теперешнее отношение к женщине в семье несравнимое. Теперь женщина в семье главная, она распоряжается всем, деньги у нее. Да и жить стало легче, мужской работы почти не осталось, вся женская. Деревни исчезли, а городская жизнь совсем другая» (В.Д. Устюжанинова, 1923).

Брак был нерушимым, освященным церковью, разводы практически отсутствовали. А.Г. Шустова (1912): «Раньше ведь как? Разводов не делали. Хоть он бьет свою жену, а жили. Теперь парень с девкой спят, поспали — и замуж пошла. Месяц прожила — ребенок родился. А раньше — почти не было. Раньше боялись родителей-то. Я вот замуж пошла, дак мы записалися, а я своего мужика даже проводить не пошла. Меня отец не отпустил, боялся, как бы не поцеловал. Венчаться ведь надо было еще по закону».

Впрочем, правил без исключения не бывает. Судя по всему, были уходы жен и без трагического конца. Многое зависело от решения родной семьи женщины. Дарья Николаевна Казакова (1901) рассказывает о своей судьбе: «На 19-м году я вышла замуж. Он овдовел. Девчонка у него была в 3 годика. Я пришла жить к ему в деревню и прожила с ним 4 года. Тятенька его хорошо ко мне относился. Обучал, чего не умею. К примеру, хлеб сначала не умела хорошо пекчи. Когда он умер, свекровка стала злиться на меня, родня ее подстрекала: “Голую взяли, по соседству в Чураковке богатая невеста есть, у ее сундуки набиты”. Заставили мужа расходиться, хошь и не хотел он. Он не обижал меня, жалел. Придет, бывало, с работы и скажет: “Бросай пряжу, айда отдыхать”. Но не ослушался матери своей, почитал ее, боялся. Я услыхала как-то за две-

рью, что свекровка говорила мужу: “Пошел в лес за дровами и заруби ее”. Вот пошли мы с им в лес. Он все похаживает, елки рубит. Я и говорю: “Гриш, а я знаю, что ты меня зарубить хочешь”. Он отказываться стал, а я из лесу к матери своей убежала. Дочка моя Клава в ихнем доме осталась. 2 года ей было. Мама и говорит: “Давайте, пошолте с братом за Клавой!” Я у ихнего дома в лужке притаилась, а брат за девкой зашел и забрал. С тех пор я одна без мужика и живу».

РОДЫ, ДЕТИ МАЛЫЕ

Рождение детей было делом чаще всего обыденным. Количество детей в семье регулировалось только высокой детской смертностью. Поэтому и к смерти ребенка относились гораздо спокойнее: «Бог дал — Бог взял». А.Ф. Окунева (1909) рассуждает сейчас об этом так: «Замуж раньше выходили рано, на 18-м году. Говорили: “Этот товар не держат”. Свекровка никуда не отпускала, без спросу за огород не выйду. Хлеб только свекровь пекла. А совсем старые старухи с ребенками сидели. В деревне жили женщины, ничего не знали, только детей рожали. Которого в хлеве, которого на молотьбе. Раньше ничего дошлого не знали (противозачаточного. — *В.Б.*), рожали как Бог пошлет. Я, слава Богу, через два года волочила. Рожали и думали, может, помрет ребенок-то. А в городе-то уважительнее относились, все штокали: што, пошто, на «вы» называли, на «ты» неприлично считалось. Здесь и дошлое узнала».

Сказать, сколько детей в семье выживало из общего числа — довольно сложно. Голод, войны, эпидемии резко увеличивали в отдельные годы детскую смертность. Во всяком случае во многих крестьянских семьях в живых оставалось меньше детей, чем умирало.

К.А. Вологжанина (1925) помнит: «У моих родителей было 14 детей, взрослых осталось только шестеро: три брата и три сестры. Мама меня родила в хлеву, у овец, на навозе. Сразу после родов пошла баню топить».

Мы совершенно забыли, что еще совсем недавно в деревнях свирепствовала оспа, смертность от которой была велика. «До моего рождения пять детей умерло от черной оспы, и родители очень боялись, что я тоже умру. Страшная была оспа, дети сильно мерли. Лицо становилось корявое, дети оставались слепыми. Смерть очень оплакивали. При горе в доме было как-то нехорошо» (А.И. Петрова, 1916).

Глубже жалели и сильнее оплакивали смерть уже подросших детей-помощников. Хозяину, конечно, был ближе сын, а хозяйке — дочь. Причем между детьми могли быть значительные перерывы. Петр Петрович Малых (1917) помнит такой эпизод: «К рождению детей у нас хорошее отношение было. Нас двое с братом сначала было. До тринадцати лет двое. А потом Нина родилась, так еще лучше было. Девка родилась. Горя-то больно не было у нас. Брат Аркадий только умер когда, отец вышел на крыльцо и сказал: "Лучше бы сгорело все". Большой уж был, пятнадцати годов помер».

Стоит вспомнить, что страшнее пожара, оставлявшего крестьянина один на один с голодной смертью, лишавшего его смысла существования — для крестьянина ничего не было. Иногда причиной смерти ребенка была случайность или неосторожность. Выжившие братья и сестры сохраняли в себе память об этих семейных потерях. «Детей у нас было много, так умирали все. Восемь детей было. Вырастут, большие уж умирали. Две девочки умерли. Одна девяти лет, другая шести. Одну-то Шурой звали, другую Леной. Сварилась

девочка еще у нас самоваром. Жалели больно, как не горевать. Лена умерла от черной оспы. Высокая была, светленькая. Всего два брата у меня было, Иван и Степан. Степан помер, почками болел год и помер. Ивана-то на войне убили. Оторвало ноги, подорвался на мине под Ленинградом. Все ревели: отец, мать» (И.С. Медведева, 1906).

Количество оставшихся в живых детей во многих крестьянских семьях было невелико — от трех до пяти. «В средней семье было четверо-пятеро детей. У реденького было трое. Раньше всех рожали, но умирало много, ведь их не лечили: выживет — так выживет. Нас у мамы девять было, осталось лишь трое» (Н.П. Крестьянинова, 1925). «Рожали раньше, пока не отойдут ребенки. Вон у моей бабушки было 18 ребят, а выжило четверо. А работала женщина до самых родов. Да и потом недолго оставалась. Маленький спал в люльке, которая привешивалась на бадог под лестницу. Остальные спали на полатях» (Н.Ф. Стремоусова, 1922).

Немало примет было связано с обрядом крещения ребенка. Анна Кузьминична Михайлова (1911) вспоминает о себе: «А еще мать рассказывала, как родилась я. Зима тогда холодная была, понесли меня в церковь крестить. Поп смотрел — долго ли я жить буду: бросал кусочек воска в купель — если выплывет, значит буду, а если нет — так долго не протяну. Потом из купели брали воду и до лета хранили. Летом же выливали на грядки, говорят, урожай лучше будет. После крещения домой понесли, да и много радости-то не было — парень нужен был, а не девка. И так семья почти из одних девок была».

Мы сейчас плохо представляем не только где и как рождался крестьянский ребенок, но и как за ним ухаживали: во что пеленали, чем кормили... Все мелкие бытовые подробности уходят как вода в песок и прак-

тически не восстановимы. Послушаем вновь рассказ Павлы Алексеевны Колотовой (1909) о рождении ребенка: «Родилась я летом в самую страду. Женщины беременные до последнего дня ходили в поле, обряжали скотину. Близкие оберегали женщин от тяжелой работы. Дети рожались прямо в поле под суслоном, в сенокосном сарае. Ребенка принимала бабушка: свекровь или мать роженицы. Она хлопала младенца по крохотной попке, вызывая крик: кричит, значит живой. Пуп завязывали прочной холщовой ленткой. Рождение дитя сопровождалось молитвами да приговорками.

Водой, согретой в самоваре, бабушка мыла ребенка, а потом совала в рот ему сосулю — завернутый в тряпочки жеваный ржаной хлеб — и ложила в зыбку. Скрип зыбки очень сочетался с колыбельными песнями сестер, бабушки или деда. Уже через несколько дней ребенок начинал подпевать няньке: «Ао-ао-ао!» Молоко наливали в бараний рожок с надетым на него соском от коровьего вымени, пеленали длинной холщовой лентой. Легкая зыбка, сплетенная из сосновых дранок, подвешивалась на черемуховых дужках к очепу. Очеп — гибкая жердь, прикрепленная к потолку».

Порчи боялись чрезвычайно. Поэтому в некоторых деревнях матери после родов выполняли довольно замысловатые обряды. Считалось, что малые дети и роженицы очень урочливы (на них легко напустить порчу). Бабки-повитухи защищали от такой напасти. «А после родов роженицы кладутся на пол на ржаную солому, где лежат неделю. Во все это время каждый день, по два раза, согревается баня, куда она ходит в самой изорванной одежде с костылем в руке, чтобы показать, что роды ей дались нелегко — избежать «уроков», отчего можно заболеть. Из бани возвращаясь, нужно опираться на плечо повитухи или мужа. А паря новорожденного, повитуха должна приговаривать: “Рóсти,

мое дитятко, по часам и по минуточкам!" Бабки-повитухи, чтобы не крючило человека под старость, "правили" новорожденного: родился ребенок, "поставь" ему на место голову, позвоночник, руки-ноги. (Наши врачи, к сожалению, этого делать не хотят, да и не умеют). Ну а если ребенок обмочит взявшего его на руки постороннего человека, то уж этому человеку гулять у него на свадьбе» (Н.Н. Коснырева, 1920).

Крестины — это праздник для всей родни. Не всегда было, чем отметить рождение ребенка, но собрать родню стремились. Род увеличивался еще на одного человека — усиливался... «А когда рождался ребенок, это было счастье. Как всегда собиралась вся родня. Посередине комнаты накрывали стол. Тогда еще много не хватало. Вся родня сидела за столом. Разговаривали, пели песни. Весело было. Как было возьмут гармошку и давай плясать. Все село соберется около дома и смотрят. Это всегда было так» (Е.П. Попова, 1907).

Думаю, что и любили детей своих не меньше, чем сейчас, просто не душили родительской любовью. В.Г. Багина (1913): «Дети? Над ими старухи водилися, кормили, поили, игралися с ними. Сопровожали учиться. Дети ведь это радость наша была, отрада, как не любить-то их? Детям очень радели. Милее-то дитя уж никого нет, они и утешают. Дети это утешенье было. Радовались, когда еще двойню принесут».

Огромная детская смертность отсеивала детей ослабленных, неполноценных. Выживали, действительно, сильнейшие. Во всяком случае многие из старожилов сегодня считают именно так: «Деревни были большие, семьи многолюдные. Незыблемым принципом каждой семьи был труд от мала до велика. Трудились все в меру своих сил. В трудолюбивой семье был и материальный достаток. Там меньше было и всевозможных неурядиц. И дети там росли здоровыми людьми.

Что касается неполноценных физических или при рождении, или в дальнейшем при росте их, надо отметить, что в большинстве такие дети умирали при рождении, или потом в процессе жизни в малолетнем возрасте.

Родители и не пытались их спасать, так как детей в семьях было много здоровых. Среди народа обитало изречение: “Бог дал, Бог и взял”. Очень мало в деревнях и психически неполноценных детей. Дураков жалели, не обижали, а щедро наделяли» (А.П. Березин, 1921).

Страшные демографические катастрофы в России 1910–1940-х годов резко изменили состав населения страны, соотношение полов, расстановку сил в семье, отношение к детям, качество здоровья народа. Патриархальная семья разрушилась вместе со всеми своими устоями.

ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ

К детям, рожденным вне брака, и их матерям отношение было негативное. «Если женщина рожала незамужней, что случалось редко, то беда была ей. Все на нее пальцем показывали. Никто не помогал матери-одиночке (как сейчас называют), а наборот, все оскорбляли ее и ребенка. А парню-то ничего. В героях ходил!» Многочисленные свидетельства стариков подтверждают это. «Такие дети, рожденные вне брака, были, но немного. Такую мать постоянно оскорбляли, унижали, никуда не выпускали. Ребенка, когда он подрастал, преследовали, унижали, другим детям не разрешали играть с ним. Такая мать не могла больше создать семью, так как ее высмеют, унизят. Бывали случаи, когда такую мать даже избивали» (М.А. Ануфриева, 1918).

А поскольку во многих деревнях внебрачные дети не

имели равных с жителями своей деревни прав, то они часто уезжали на выселки, основывали новые починки, уезжали в дальние края. Нормальной жизни ни им, ни их детям (да и кто пойдет за незаконнорожденного) в своей деревне не было. Их презирали, над ними жестоко смеялись, называя "выблядками". Они были — никто. Не считали их даже за людей, хотя они ничем не отличались от других, разве что этим... Они не имели никаких прав жителей этой деревни и открыто изгонялись из нее. Такой человек был стыдом, нестираемым пятном и от него избавлялись любыми средствами» (А.С. Славутин, 1910).

Трудно жилось и родственникам незамужней матери. Дурная слава ложилась на всю семью. Валентина Ивановна Яровикова (1912) хорошо помнит: «У одной моей подруги был ребенок, рожденный вне брака, родила она его после десятого класса — это был страшный позор для нее и их семьи. Отец выгнал ее из дома, и она куда-то уехала. Так я больше ее и не видела, но в селе еще долго про это говорили. На ее младшую сестричку показывали пальцем и все время ставили в укор старшую».

Нередкими, при такой морально-психологической атмосфере, были самоубийства забеременевших девушек.

К изменам мужчин, даже замужних женщин, относились значительно проще. Пытались как-то все утрясти на основе житейского здравого смысла. Прощения не было лишь девушкам. А.К. Михайлова (1911): «Измены да блуд в деревне не уважали. Был случай. У мужика одного вторая жена умерла, он третью откуда-то привез, а она брату его холостому полюбилась, и ушла она от законного мужа. Дак женщины ее чуть со свету не сжили, она и обратно вернулась: "поучил" ее немного поленом муж. А так жен в деревне не бивали, да они и сами ответить могли».

Лишь в 1940-е годы (в связи с войной) измены и случайные связи перестали быть делом чрезвычайным, единодушно осуждаемым всей деревней. Да и что осталось тогда от деревни? Вот типичное рассуждение: «В войну и после нее, когда резко убавилось количество мужчин, стало процветать пьянство, резко изменилось отношение к женщине. В войну женщины выполняли самую тяжелую физическую работу: пахали на себе, грузили бревна в телегу. Семью свою устроить — у многих просвета не было. Вот и вино, и случайные связи».

Немало пели тогда разного рода охальных частушек. «Всякие частушки пели, я всех петь не буду — стара для этого. Раньше ведь как было. До свадьбы не гуляли, это уж после войны гулять стали» (А.М. Гребенкина, 1923).

ДЕТСТВО

Большая семья — семья сильная, поэтому количество детей было своеобразным мерилом крепости хозяйства. М.П. Мартемьянова (1917) рассказывает: «В то время уважали семью, где было много детей. Хозяина такой семьи считали настоящим хозяином, он может прокормить свою семью. А у кого было мало ребенков (2-3 ребенка) не считали даже людьми, высмехали, что не может прокормить семью, толку нет хозяйничать. В то время никаких абортов не было, сколько было — столько и рожали».

С младшими водились старшие братья и сестры, правда, не всегда должным образом, поскольку им тоже хотелось поиграть, побегать, покупаться... Метко сказано: «Сначала — нянька, потом — Ванька». Н.В. Христолюбова (1924): «За ребенком никакого уходу не было. Раньше сами друг друга таскали. Я вот

родилась вторая, а когда мне было 4 года, сестры-двойняшки родились. Дак я уж сидела, качала зыбку. И с тех пор я всех их семерых вырастила, все таскалася с нимя».

Гигиена младенцев во многих случаях оставляла желать много лучшего. «А недавно я старушку одну встретила. Она удивилась, когда меня увидела. Говорит, что думала, что меня маленькую черви да мухи съедят. Мамка с тятькой на работу уйдут, а брату накажут, чтоб за мной смотрел. А он в окно веревку выбросит и сам на улице бегает. Как услышит, что я кричу — за веревку от люльки подергает — да опять убежит. А я постоянно мокрая, грязная, голодная лежала. Из люльки часто выпадывала. В тряпицах, что подо мной, и мухи ползали и черви белые — да ничего, выжила» (А.М. Гребенкина, 1923).

У крестьянских детей и игрушки были соответственные: старые изношенные вещи из одежды, ненужные предметы обихода. Анна Ивановна Карачева (1906) вспоминает о своем детстве: «Игрушки-то у нас — лапти были. Кукол-то из тряпушек портяных сами делали и в лапти их садили, и в лапте возили. А из огурцов бочки, колоды делали, а из репы корыты делали. Вот такие наши игрушки были. Ребенка бабушка в люльку положит, вот и сидишь — качаешь его. Вот так наше детство и прошло».

Свои игры были для каждого времени года. Зачастую у детей были и свои детские прозвища-клички. Семейная система воспитания была очень эффективна. Мария Ивановна Носкова (1902) так говорит об играх в своей семье: «Маленькие братья и сестры (Анна, Матрена, Таисья, Мария, Афанасий и Василий) в куклы играли, сами их шили из тряпочек — нашьем и играем. По крыше на солому кататься любили, из песка ватрушки пекли. В игры разные играли: в чиж играли,

в крадену палку, в прятки, в “солено мясо” — наберем драные лапти, воткнем кол, к колу водящий садится, а вокруг кола лапти разложим, и водящий должен следить, чтобы лапти никто не утащил. В лунки играли — загоняли шарики в ямку, а водящий противится этому. Хорошо было летом! Баловались, в речке купались, а я воды боялась. В церковь на исповедь ходили. У братьев и сестер клички разные были: Марийка-тарелка, Анна-банна-плешь-деревянна. Детей хорошо воспитывали: любили, не били. А зачем бить? Братья хорошие, красивые, умные были — не пили, не курили, не ругались. С 7 лет дети в поле работали — бороздки жали серпом, а девочки пряли — даст мама урок — столько-то напрясть — пока не сделаешь, гулять не идешь».

Вообще игры и забавы дети придумывали себе сами (и очень изобретательно). «Когда не возьмут на сенокос, ко мне подружки прибегут и мы идем смотреть — бегает ли по усадьбе баран. Если барана не выгонят, то мы возьмем ушат, привяжем его к барану. Баран бегает по ограде, а ограда была большая-большая, а мы сядем в ушат и катаемся. Играли в веревочку, в огорелыши, в третий лишний, через веревочку прыгали, в классы, играли в “солено мясо”. Куклы мы сами шили, тряпочные у нас куклы были. Голову из тряпок сделаешь, опилками набьешь, шейку как-нибудь, потом туловище тоже из тряпок делали и опилками набивали. Мячики еще делали тряпичные. Детство нелегкое было, но играли мы в игры разные, дети же были. На одной ножке надо было по деревне проскакать, чтобы взад-вперед не останавливаясь. На руках ходили. Пошли однажды на лабаз, там солома лежала. Я пошла на руках и у меня что-то с головой сделалось. Я говорить и слышать не могла. Мы сразу пошли домой, и когда я вышла из лабаза, у меня все прошло. На Масленицу катались на санках, на катушках. Куклы были самодельные. Мы их

сами шили. Я даже сама сделала ткацкий станок, поставила под окном и ткала половики для кукол. А потом я его положила в угол, зарыла и больше не нашла, сколько ни искала потом. В куклы мы играли на полатях, чтобы не мешать взрослым» (А.И. Рублева, 1921).

Огромным событием в детской жизни было возвращение отца с ярмарки или базара. Как правило, детям привозились гостинцы: сладости, сушки, обновки, украшения. «Очень хорошо помню, мне было лет 5-7, отец приезжал с базара, а он ездил либо в Нему, Нолинск или даже в Киров, ездили на лошадях. Туда возили продавать обычно масло, мясо, мед, плели лапти, делали глиняные горшки, иногда возили зерно, либо муку, если был хороший урожай. Мы его с нетерпением ждали. Нам, ребятишкам, он привозил всегда подарки: ленты, обновки какие-нибудь, обувь и, конечно, сладости, пряники, калачи, сахар в больших головах» (А.К. Коромыслова, 1914).

В некоторых семьях не были редкими и физические наказания детей (хотя очень многие опрошенные говорят, что их «пальцем никто не тронул» в детстве). Возможно, чаще они применялись к «приемкам» — детям-сиротам, перешедшим жить к родственникам. Вообще жизнь таких детей была иногда довольно тягостна. Т.Н. Скопина (1911) рассказывает о себе: «Родители рано умерли, а мы живем. На тычках выжили. Надо же подумать. Как оплеуху дадут, так не знаешь куда бежать. А живем. Как это мы такие крепкие? Ни слатенького кусочка не видали, ни ласкового слова.

Ругались часто. Мы мешали, конечно. Из-за нас все. Теперь-то кто троих на иждивенье держать будет. Ни копейки ведь не платили.

Как-то дядя Миша с дедушкой разругались. Дед купил рыжики. А дядя не велел. Ой как разругались! Ну и что. У меня один силенок (ребенок). — И у меня

один. Проживем. А нас-то куда?! Трое. В приют не скоро возьмут. Хоть куда иди.

Поругались. Снова сошлись. За стол опять все садимся. “На хлеб нечего сердиться”. Ругались больше все матом. Ругаться да матом не сказать, тогда есть не интересно будет.

А мы опять с Валькой-сестрой дрались. Зачем я наперед пол вымыла. Давай меня за волосы таскать. Я больно смирёна была. А где и я не уступлю. Пойдем к бабушке жаловаться. Ладно, по головке погладит.

Сейчас вот детей мало в семье. Умрет, так ревут. А раньше как-то умирали быстро. Плодили как котенков. Пока рождается — все рожают. Тетка Настасья семерых родила, а живет одна Маня. “Вы все живете, а у меня один силенок, и тот умер”. Вот так здорово, а мы-то чем виноваты? Дяде детей надо. Вот тетка родит, мы уж водимся-водимся, пикнуть не даем. Одна соску держит, другая пеленает. Все равно год пройдет — умирают. Двое двойников девки по 3 мес. жили, уже четверо, Колька-парень, Васька-парень, Маня уже седьмая одна выжила, да и то наперед нас умерла.

Мне запомнилась одна колыбельная песенка, которую пела моя тетя:

Баю-баюшки-баю,
Укачаю-укладу.
Спать укладываю, уговариваю,
Баю-баюшки-баю,
Отец ушел за рыбою,
Бабушка — коров доить,
Матушка — пеленки мыть,
Дядюшка — коней поить.
Баю-баюшки-баю,
Спи, мой миленький, усни,
Угомон с собой возьми».

Нередко родители, чтобы сэкономить хлеб зимой, сбывали лишний рот на сторону — отдавали своих детей в няньки на длительное время. А.Т. Дудоладова (1915) была, конечно, в няньках много дольше других детей: «Работать начала рано. В 7 лет отдали меня в няньки, жила в разных деревнях в четырех семьях. Домой из нянек вернулась в 15 лет».

Жизнь в няньках была очень несладкой. «Пожила лет до восьми и отдали меня в няньки в соседнюю деревню за 8 верст. Ну и натерпелась я там! Хозяева злы попались, все ругали, заставили ночью водиться. Сидишь в темноте, да и уснешь. Дитя заплачет, хозяйка проснется — ударить может и обидеть. Тяжело было, ведь сама еще ребенок! И поиграть, и поспать хочется. А за стол сядешь и боишься лишнюю крошку взять. Вот так и жила. А если отпустит хозяин домой, бежишь, как праздник какой. Поживешь денек дома и не хочется обратно возвращаться. Ревешь, а мама в спину подталкивает, а сама вся в слезах» (К.А. Рублева, 1918).

Старшие бессознательно и сознательно формировали в детях свои стереотипы поведения. «Бабушка была очень доброй, но характер имела твердый. В доме никогда не было пустых разговоров, никаких сплетен, никаких осуждений соседей. Бабушка видела у людей в первую очередь все хорошее, моралей нам никогда не читали. Все разговоры велись при детях, мы были в курсе всех дел. Нас никогда не били, не кричали на нас» (В.Я. Суслова, 1924).

И самым серьезным, важным из этих стереотипов — было отношение к труду. Дети рано становились маленькими взрослыми. «Мы, ребенки, росли серьезные какие-то, штыриться некогда было. Зарабатывать трудодни начали с 5-ти лет. Родители не жалели нас, будили — еще солнце не взойдет» (Л.И. В-ина, 1910).

Любое незначительное поощрение за труд воспринималось, как огромная радость: «В 6 лет с братом возили навоз деду в течение 7 дней. Так он нам за это купил 400 граммов пряников. Мы были бесконечно рады. В 6 лет летом ходила в поле, помогала лен теребить. Тяжело было без отца. Рано вставали с братом и до завтрака (летом) успевали сходить за ягодами, а после завтрака шли в поле жать» (Д.Г. Посохина, 1907).

К тяжести крестьянского труда дети привыкали еще в детстве. Они входили в ритм, многообразие работ, постигали многочисленные крестьянские ремесла. Школьное учение, по мнению крестьянина, было делом не очень нужным. В.Ф. Загоскин (1904) так рассуждает об этом: «Меня заставляли делать всю крестьянскую работу: жал серпом, косил горбушей. Подошли года, надо идти в школу на учебу. А в семье сказали: "Для чего учить? Пусть будет работник по хозяйству". Но брат настоял: "Как так? Он — мальчик, должен уметь читать, писать". И отвез меня в деревню Ожоги. Там был учитель, он учил в своем доме первый класс. А я стоял у одного дяденьки на квартире, все ему по хозяйству помогал. Потом открыли школу в деревне Четвериковы, и я закончил три класса сельской школы в 1916 году. На этом мое образование закончилось, стал работать крестьянскую работу. Старался приобрести какую-нибудь специальность (деревенскую). В деревне соседи были все мастеровые. Сосед Кирилл — он делал гребни. Я ходил к нему в свободное время и научился делать гребни из рогов. А сосед дядя Гриша делал горшки, я тоже начал ходить учиться — и научился. Брат был пимокат, я ему помогал — и тоже научился катать валенки. Крестьяне жили единолично, у каждого была своя полоса. Он ее обрабатывает и удобряет и старался иметь побольше скотины, чтобы получить навоз на удобрение. Для коров всегда делали

подстилку. Накормят ее — она лежит-пыхтит. А сейчас бедную корову держат на цепе, как дворовую собаку. Крестьянин без лошади в те годы жить не мог.

Детство тяжелое было. Земли у нас было на две души, три узеньких полосочки: урожаи родились плохие. Первые штаны мне сшили в 7 лет, а до этого бегал в длинной рубашке. Во двор зимой и летом бегали босиком. Когда подрос, мне сплели лапотцы и дали портяночки-онучки. Наша деревня была бедная. Только на трех избах крыши тесовые».

Детства, в современном понимании, крестьянские дети не ощущали, они были маленькими взрослыми (работниками), вынолнявшими посильный труд, жившими в трудовом ритме своей семьи лет с 6-7. «Пошлют с утра за грибами, а потом борозду жать. Никакого уж раньше детства не было — всем работы хватало. Скажут жни — нажнешься. Ушел бы куда играть, да уже не заможешь, да и уйти никуда нельзя было без спросу. Была раньше работа всем — и старым, и малым. Носили воду, так все плечи сшоркали до крови — вот оно детство-то» (А.Е. Рыкова, 1907).

А вот еще более ранний возраст называет наша современница: «По дому уже с 5 лет работала, а по найму с 13 лет. Колхозницей была, конюшила, всю войну лес валила. С 1966 года стала работать в городе уборщицей — это уже за деньги».

И сегодня тот труд вспоминается как очень тяжелый: «У нас детство было лет до 7. И было оно очень трудным. Вставали рано. С младшими водились, корову пасли. Я помогала глину месить, носить воду — дом мы строили. Очень уставали. Жать начинали с 8 лет. Вставали в 3 часа утра. Вполне взрослыми людьми становились с 14 лет».

«Я детства-то и не видела почти что. В 7 лет меня уж жать брали. Помню, день был холодный, а мы жали.

Руки замерзли, остановилась да оглянулась назад — тятенька так погрозил, дак реву да жну. А раз опять было — тоже жали. Снопы-то забираешь в горсть, вот у меня палец большой и гнуться не стал — до чего доработала. Бабушка увидела и говорит: "Иди, Таиська, домой, вся уж умаялась. Да только накопай картошки, на ужин свари, скотину накорми, корову подои, избу прибери, за ребенками догляди". Вот тебе и отдохнула. Много ли подросла — косить стали брать. А косили горбушами. За день-то так натюкаешься, что спину и не разогнуть. А в школе я одну зиму только и проучилась, больше не отпустили. Тут прясти, тут жать, тут за ребенками смотреть надо, вот мои ученья и кончилися» (Т.С. Вагина, 1914).

Многие отцы смотрели на учебу своих детей как на баловство. Дети будут крестьянствовать, считали они, грамота им не пригодится, мы век прожили неграмотные... Правда, мальчиков учили охотнее. «Нас было у папы-мамы 8 гавриков: пять дочерей и три сына. У тяти четыре брата, и все жили в одном дому. Потом разъехалися, братья рядом выстроилися. Еще не давали усадьбу-то, земли-то у нас мало было. Работали мы и пока малы были. Работа была по нам: ложки красили краской, шкуркой шкурили. Семи лет отдали в школу в Цыганах. Училася без ноля десять классов. Мама сказала, что фамилию расписать может, ну и ладно. Чё, говорит, их дома-то учить, письма писать парням, што ли?» (А.С. Никулина, 1909).

А вот какой любопытный эпизод вспоминает эта же рассказчица из детства своего мужа: «Он у их один был сын. Да, один. Он подрос, так они купили лошадку. А отец-то инвалид об одной руке, так сыну приходилось пахать. А пахали тогда сохой, ручки были высоко, соха-то ведь не как плуг. С непривычки мальцом еще работал да работал, на обед приехал домой, проработал-

ся, ести хочет, а ложка-то трясется и рука не сгибается. До роту-то донести не может! Разозлился, кинул ложку на стол и сам пошел заревел. Вот пахарь-то какой! Так и не пообедал. Мати тоже не утерпела, заплакала... И что делати?»

Роль старших детей в семье была особая — девочка заменяла мать: топила печь, водилась с младшими братьями и сестрами, ухаживала за скотиной, сын — участвовал во всех работах в поле, заготовке дров, перенимал ремесла, которыми владел отец. Дети воспитывались в полном послушании родителям, каждый их шаг контролировался. Во взрослых застольях в праздники они не участвовали. А.Е. Рыкова (1907): «В праздники кто придет, мы сидели на полатях. Пальцем помаячит отец — и сиди, в разговор никакой не влезть. От дома никуда не спросясь не уйдешь, никак ничё не скажешь. Пришел человек — мало ли какую речь ведут, ты не причастен к этому».

Семья... Ячейка общества, опора государства. И мощная, надо сказать, была опора.

Глава 7.
О СМЕРТНОМ ЧАСЕ

ТОЛЬКО ВЕРОЙ

Важнейший вопрос — напряженность духовного состояния человека. Мы плохо представляем — чего боялись наши деды и прадеды, что считали красивым, а что безобразным, кем ощущали себя на Земле. Именно об этом и пойдет сейчас речь.

Смерть была ближе к крестьянину, чем к нынешнему горожанину. Она постоянно маячила на горизонте, приближалась порой на расстояние вытянутой руки,

была осязаемой. Никто не был гарантирован от голода, внезапного разорения, падежа скота, войны.

В крестьянском понимании существа окружающего мира, его причинности, важных событий и их последствий было много здравого смысла, практического опыта, накопленного в общении с природой, труде земледельца и его круговорота годовых забот, неизменном возвращении на круги своя, религиозных элементов, принимаемых очень своеобразно и своекорыстно. В крестьянском мире все события, времена, природные явления — все было крепко-накрепко связано друг с другом, взаимосвязано. Равновесие мира было ощутимым и зримым. Но понять эту связь событий–времен не стремились, зачастую это осуждалось.

Мужики, самостоятельно читавшие Библию, вызывали уважение, смешанное с ехидцей. Матрена Гавриловна Огородова рассказывает: «Митя Салко у нас по деревне ходил, набожный был. Если кто заболеет, к нему ведут. У него было много книжек. Из Библии, люди узнавали обо всем, там и написано было, что революция будет и что война, а потом и конец света. А верить в Бога верили. Как же без Бога жить-то?! Он и начало всему. Главный он в мире-то. И в церковь ходили» (А.И. Молехина, 1921).

И тем не менее религиозность в поведении была нормой жизни, отклонения от нее (как чрезмерная религиозность, так и неверие) осуждались обществом. Религия входила в повседневный быт и не ощущалась как тягота. Наоборот, лишь правильное религиозное поведение (соблюдение постов, молитвы, исповеди, вера в Бога) могли обеспечить нормальное течение крестьянской жизни.

Для крестьян Бог был прежде всего крестьянским Богом. «В каждой семье были молитвы. Молились, чтобы урожай был хорош, — священник святил поле,

чтоб Бог сохранил скот, чтоб хлеба побольше было» (В.И. С-ова, 1909).

Естественно, что к старости люди становились более религиозными, дети и молодежь обращали меньше внимания на вопросы веры. «Веровали все. Дома молились. Дед занемог ходить в церковь, дома молиться заставлял. Свечку зажжет, лампаду затеплит, на колени вставали. Свечку зажжет, а неохота было молиться. “Скоро ли хоть дедушка помрет, не будет заставлять”, —думали. Ребенки есть ребенки. Помолимся — потом есть садимся» (Л.Н. К-ова, 1910).

Представления о христианстве, священной истории, прошлом своего народа у крестьян в деревнях были, зачастую, самые фантастические. Понятия о времени (идущем в аграрном обществе по кругу) заставляли переживать и события библейской истории как недавно случившиеся или еще не произошедшие. Но в каждом селе были один-два грамотея, толковавшие односельчанам прошлое, настоящее и будущее. «Газет не было. Тятя читал Библию. Сейчас вся жизнь идет по этой книге. Мужики приходили, разговаривали. Нас тятя все заставлял слушать Библию. Там было написано, что во стене будет кнопочка, нажмешь и будет свет. Нам было смешно. Там же было написано, что на земле будут стоять столбы и все будет опутано проволокой. Книга та здорово все знала, сейчас почитать бы» (Е.С. Штина, 1910).

Важнейшей частью (ядром) крестьянской религиозности были нравственные нормы поведения. Они регулировали отношения крестьян между собой. Устанавливалась стабильная линия поведения человека в течение года. Обязанности по отношению к Богу были не обременительны. Они помогали человеку жить правильно и достойно в своей среде. Вот что вспоминает об этом Афанасия Александровна Машковцева (1917):

«Бога почитали, в жизни следовали основным Божьим заповедям. Не обижать ближнего, помогать слабому, чем можешь, постоянно должен трудиться, не надобно выделять себя среди других, быть характером скромным. Соблюдали ежедневно церковные обычаи. Утром перекреститься обязательно, перед едой и после нее, при отходе ко сну тоже. Чтобы очистить душу свою грешную, исповедовались. Например, такая исповедь: 1. Господи, не обсуди ты нас по делам нашим, по грехам нашим, а обсуди ты нас по милости твоей; 2. О, возлюбленное чадо, Сын Господний, помилуй меня, великого грешника, и всех нас на земле; 3. Господи, когда умру, тело мое грешное возьми в руки твои, а меня, великого грешника, от райской обители не откажи. Как исповедуешься, так и на церковь (заутреню). Из церкви приносили крещеную святую воду, обрызгивали детей своих, в избе по углам, пили тоже.

В углу всегда стояли иконки и во время праздника зажигали лампадку (свечку) у иконки. Соблюдали посты, не ели ни мясо, ни молоко, ни масло. Все это называлось говенье. Ели все постное».

А вот как толкует Божьи заповеди Анна Архиповна Новикова (1909): «Вот тебе 10 заповедей Божьих, запиши их: 1. Аз есмь Господь Бог твой (т.е. Бог единственный); 2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия (т.е. нет никого, подобного Богу); 3. Не приемле имене Господа Бога твоего всуе (не ругай Бога); 4. Помни день субботний, еже святити его: 6 дней делай и сотворивши в них все дела твоя, в день же седьмой — суббота Господу Богу твоему (в седьмой день недели нельзя работать, стирать, косить и т.д.); 5. Чти отца и матерь твою, да благо те будет, и ты долголетен будешь на земле; 6. Не убий; 7. Не прелюбы сотвори; 8. Не укради; 9. Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна; 10. Не пожелай жены ближнего твоего, не поже-

лай дома его, ни раба его, ни рабечки его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближнего твоего. А еще большим грехом считалось, если в праздник Господен, или в обедню, или в службу переспишь с мужиком. Вот откуда и дети были нездоровые. Бог-то наказывал! Святым делом считалось: молитва, икона, церковь, нищим подать, ближнему помочь, сиротам, обгоревшим, вдовам. Говорили: блажен тот, кто нищим помогает, кто милует сирот и вдов, гонимым кто дает покров».

Вера давала и ощущение защищенности крестьянина в мире, гарантированности привычного порядка вещей, естественного хода событий. Нынешние старики видят в вере стержень незыблемости основ прежней крестьянской жизни. «Благодаря Господу Богу и жили тогда. А Бога забыли, все прахом пошло. В церкви послушанию учили, смирению. Девки замуж целыми выходили, парни молодые вино не пили, старших слушали. Праздники церковные какие были — загляденье. Забыли все. В молодости, конечно, тоже и из церкви бегали и “ржали” там по-лошадиному. О Боге вспоминаешь со временем. Когда к концу ближе, перед смертью. А старшие тогда Бога любили и чувствовали себя спокойнее. С ним им была никакая беда не страшна» (С.А. Пыхтеев, 1922).

«Без Бога — ни до порога», — гласит старая русская поговорка. Что же в крестьянском сознании считалось грехом, отклонением от привычных норм жизни? Вот один из самых распространенных ответов: «Грехом считались ругань, непочитание старших, воровство, пьянство» (А.Ф. Мусихина, 1910).

Грешно было и любое уклонение от данной тебе судьбой крестьянской доли — крестьянского труда. Алевтина Ивановна Дрижаполова (1911) рассказывает: «Раньше грехом очень многое считалось. Во-пер-

вых, не работать — грех. Вот меня уже в 6 лет посадили за прястицу прясть, а уж если ты не прядешь — грех. Бабушка заставляла меня молиться, грехи замаливать. Икон у нас в доме было много. Церковь у нас была в деревне — туда и ходили молиться, чтоб Бог урожай хороший послал, чтоб в огороде все уродилось».

В любой крестьянской избе непременно был святой угол с иконами. Были иконы будничные и праздничные. Последние выставлялись только во время больших праздников. В начале XX века широкое распространение получили цветные репродукции на религиозные сюжеты. Вера переходила детям от родителей незаметно, в ежедневном обиходе. Она защищала семью от напастей внешнего мира, сил природы. Многие новации считались не делом рук Бога (у него все стабильно и постоянно), а дьявольским наущением. О.Е. Помелова (1909): «Если что-то случалось — мы молились, а во время грозы все садились в святой угол. Неверие считалось большим грехом, грехом было Господа Бога ругать, вообще ругаться, особенно женщинам. Грешно было кулаком по столу стучать. Стол — “Божья ладонь”. Грешно было фотографироваться. Фотографии и кино считались “бесовщиной”, “бесовскими выдумками”. Мы никогда не фотографировались, и у меня от родителей даже фотографии не осталось».

В незыблемости основ жизни видели существенное достоинство. Гарантом этого, своеобразным наместником Бога в России считали во многих глухих деревнях царя — фигуру для многих крестьян мифическую. Пелагея Яковлевна Плехова (1907), бывшая батрачка, вспоминает с ностальгией о прошлом: «До революции было много бедняков, но народ был сытый, потому что народ добывал себе все сам. На царя молились как на Бога. Все люди веровали в Бога, в школах преподавали Закон Божий».

Соблюдение религиозных обрядов, праздников было важным элементом нормального хода жизни. Крестины, венчание, отпевание, исповедь и причастие, посты и мясоеды — важные формообразующие основы жизни крестьянина. Человек чувствовал свою нравственную ответственность перед Богом и старался вести себя в соответствии с нравственными нормами поведения. Мы сегодня и представить себе не можем удивительной доверчивости и честности многих людей недавнего прошлого. «Надо сказать, что люди жили честно, держали свое слово. Продавал у меня отец корову, сказал, что стоит 200 рублей, пришел покупатель, дает денег больше, отец не взял: "Я сказал 200 рублей, значит, столько и возьму!" Отец еще говорил: "Если попросят меня о чем-то никому не говорить, умру, но не скажу!" А вообще люди были доверчивы, боялись Бога и людской молвы» (М.Р. Новиков, 1911).

Считалось, что воздаяние за грехи непременно настигнет человека. Жизнь есть жизнь, грехи случались очень крупные. «Всяко бывало. Сожгли у моего отца брата. Ходил слух, что жена его полюбила другого и сожгла мужа. За это ее потом Бог наказал: она раком долго мучилась и умерла рано» (М.Р. Новиков, 1911).

Как любили говорить старики, «Господь долго терпит, да больно бьет».

Представления о земной и небесной юдоли были самые простые. Считалось, что на небе есть Бог, и находится рай, а под землей — ад. Если будешь соблюдать Божьи законы, то попадешь в рай, а если будешь грешником — то попадешь в ад. Но почти в каждой деревне было по одному-два вольнодумца, чей жизненный опыт, как правило, выходил за пределы родной деревни. Крестьянский здравый смысл этих людей напрочь отвергал все, что нельзя увидеть и пощупать рукой. «Многие старики в деревне считали, что мир сотворен

Богом, что все события, происходящие на Земле, зависят именно от воли Божьей. Но мой дед в это не верил. Он говорил, что прожил очень долгую жизнь и если бы Бог действительно существовал, то он бы обязательно его увидел.

Дед был участником империалистической войны, видел царя Николая II» (А.П. Катаргина, 1927).

Атмосфера глухих пророчеств, темных предсказаний о будущем России и новой крестьянской жизни характерна для русских деревень начала XX века. Какое-то томление жизни остро ощущалось многими. «Я слышал от бабушки, что ее дедушка читал Библию и вечерами рассказывал, что будут птицы железные, что земля сплетется проволокой. И все это сбылось. И самолеты летают, да и земля вся проводами обтянута. И что будут войны большие. Одна война — свергнут царя, вторая — в ней наш народ победит (“Красный петух победит”). А последняя война будет — никто не победит» (В.А. Пестова, 1921).

Бережно и трепетно относились к иконам, имевшимся в каждом доме. В праздники и воскресные дни на время службы в церкви зажигали перед ними лампаду. Иконам придавалось магическое значение — ими родители благословляли детей на брак; под ними лежал на столе покойник. Особое значение вынос икон имел при пожаре, стихийных бедствиях. «Говорили, что если при пожаре горит один дом, чтобы на другой не перекинулся огонь, вокруг горевшего дома носили икону Божией Матери “Неопалимая купина”. И говорили и верили, что ветер поворачивается в другую сторону от дома, который не горел. Очень берегли венчальные иконы. С помощью их благословляли. В каждом доме было не по одной иконе. Даже если двухэтажный дом, то иконы были на каждом этаже» (В.А. Пестова, 1921).

В полной немыслимых тягот и лишений жизни старые крестьянки горько сетуют на отсутствие Бога. Свое отношение к нему, как к большому и маленькому начальству, они характеризуют одним словом — страх. Для них Бог не защитник слабых и униженных, а карающий за любую земную провинность небесный контролер их дел и чувств. Анна Ивановна Петрова (1916), оставшаяся неграмотной до сего дня, размышляет о своей жизни: «Бога все боялись. Верили. Каждое воскресенье ходили в церковь вместе с родителями. Но сейчас я в Бога не верю. Он мне ничем не помог. Осталась одна без мужа с пятью детьми маленькими. Я и так жила плохо, почему он мне не помог, если он есть.

Спокойно себя не чувствовала. Всегда была в страхе. Без отца осталась рано, без мужа рано. Все была тревога, как детей прокормить, воспитать».

И все же, хотя жизнь была каторжной, большинство крестьянок обиды ни на кого не держат. Они остались верующими. Особое место в жизни человека занимала исповедь — своеобразное очищение души от грехов. Дарья Николаевна Казакова (1901) рассказывает: «Чтобы легче душе было, ходили в церковь исповедоваться. Перед тем как к попу идти, не ешь 5 дней. Все только постное. Покаешься, а другой раз поп сам вопрос задает: “Горох воровала? Кого оскорбляла?” Ну и другое всякое. Даст крест поцеловать, ризой накроет, перекрестит, потом Евангеле поцелуешь и отходишь. Когда обедня отойдет, идешь ко причастию. Чайную ложку причастия выпьешь, просфирку съешь и запьешь водичкой. Грехи сняты. Все ходили на исповедь. Самое малое раз в год. Я всегда была активисткой в церкви».

Надежда, вера в будущее была очень сильна. Представления о загробной жизни были четко определенные. «Каждый человек ждал чего-то лучшего. Думали

о будущем, верили, что жить будем лучше. Хотели грехи сдать, молились Богу. Знали, что на том свете водить будут: кто грешен — в огне будет гореть, кто не грешен — в рай попадет. Бес тянет в левую сторону, ангел — в правую. Если не грешен, ангел перетянет. По мутарству там водить будут. Сначала — свидания с родными, но это недолго. Потом всяк свое будет» (она же).

Павел Николаевич Малышев (1910) рассказывает об этом же, но более образно: «Что говаривали наши старушки о загробной жизни? Говорили, милая, что здесь на Земле мы живем лишь частично, что с приходом смерти душа человека продолжает жить. От того, как прожил на грешной земле человек, будет зависеть, куда он попадет на том свете — в рай или в ад. В раю тепло, кругом сады, в них полно всяких там яблок, груш и прочего, кругом поют красивые птицы. Люди живут в красивых домах, кругом бегут речки и падают с холмов водопады. Людям приносят еду разные феи. А те, которые прожили беспутную жисть, плохо работали, не почитали Господа Бога, пьянствовали, развратничали, не становили своих детей на ноги — попадут по кончине жизни земной в ад. В аду черти хвостатые поджидают беспутых, подогревают воду в больших котлах для того, чтобы потом посадить их туда. На некоторых подвозят воду и дрова, на других катаются верхом черти».

К священникам отношение было, в основном, вполне доброжелательное. Они были частью той жизни, непременным (и необходимым) ее атрибутом. Хорошо знали семьи священников, дети которых в XX веке очень часто пополняли сельскую и городскую интеллигенцию (учителя, врачи, инженеры). А.И. Сухогузова (1924) рассказывает про родное село: «К священникам верующие относились по-доброму. Наш священник

был очень хороший человек, довольно грамотный, трудолюбивый. Имел корову, сено заготовлял сам. Была у него и пасека, земельный участок, который тоже обрабатывал сам со своими детьми. Дети все были грамотные: дочь Усольцева Нина Николаевна — учительница русского языка и литературы. Она учила меня в Великорецкой неполной средней школе. Два сына его — инженеры, которые трудились в городе Вятке, а на выходные дни приезжали домой на лодке».

Церковь была регистратором всего течения семейной жизни (рождение, брак, смерть — официально фиксировались ею). Священник знал изнанку любой семейной жизни и был силой примиряющей.

Церковно-приходские школы для многих крестьян были единственным источником грамотности. В них детям пытались дать не просто грамоту, а четкие и определенные нормы мировоззрения и поведения. Е.Я. Прокашева (1911): «При церкви была приходская школа. Школа была деревянная на четыре класса. В этой школе я училась три зимы. В революцию четвертую зиму учиться не пришлось. В школе нас учили священник и еще учителя. Изучали Закон Божий, арифметику, грамматику, еще нам давали занятия по ведению домашнего хозяйства. Я как думаю, что и сейчас тоже надо такие занятия, а то нынешняя молодежь ничего не умеет. В религиозные праздники нас водили в церковь, где учили правильно вести себя в Святом Храме, хорошо относиться к ближнему и нищим, которые стояли на паперти, также учили правильно ложить крест и давать поклоны.

На селе у нас священники были самые почетные и уважаемые люди».

«Особым святым местом в селе была церковь. Она стояла на пригорке беленькая, как невеста, и люди шли к ней на исповедь и в радость, и в горе. В молит-

вах они находили утешение от нищенской тяжелой жизни» (К.Н. И-ова, 1921).

Василий Матвеевич Кобелев (1930) вспоминает о церкви как о празднике души, своем детском чуде: «В нашем селе, которое стоит на небольшой возвышенности, в центре стоит белокаменная церковь. Так эта церковь до начала Великой Отечественной войны 1941 года была главным очагом культуры и воспитания всего населения в округе. Церковь была видна со всех сторон за несколько километров. Ее позолоченные купола и колокольни сверкали в солнечных лучах. Вокруг церкви со всех сторон росла сирень шириной 3 метра, а перед сиренью стояла металлическая ограда очень красивой работы. Между церковной стеной и сиренью были захоронения священников с надгробными плитами. Вокруг стен церкви была абсолютная чистота, и это вызывало какое-то особое волнение, когда проходишь по этому месту. У нас, мальчишек 6-10 лет, это оставляло неизгладимое впечатление. В дни службы и религиозных праздников со всех сторон собирался народ на богослужение. Это был разнаряженный народ. Некоторые шли босиком и только метров за 200 от церкви они обувались. Мужчины были, как правило, в сапогах, в отцовских яловых, смазанных дегтем. Из дальних деревень ехали на лошадях с разукрашенной упряжью. В телегах с родителями было много детей. Весь этот люд стекался вокруг церкви, и все это напоминало большое шествие. Внутри церковь выглядела настоящим музеем. Все было прибрано и ухожено и блестело россыпью золота. При звуках церковного хора все это захватывало дух. Все стоящие в церкви были захвачены богослужением и неистово молились. Во время служения никто не разговаривал, и поэтому были отчетливо слышны все слова священника. В церкви были люди всех возрастов. После богослужения народ

расходился не сразу. Некоторые уходили на кладбище к могилам родственников и знакомых. Кладбище находилось метрах в 400 от села. Многие заходили в лавку, в которой было много всяких товаров. Торговля всевозможными товарами проходила и на улице. Торговали и частные лица. Тут были товары домашнего промысла. Торговля шла бойко и весело. Это были настоящие праздники, к которым готовились все».

О своеобразной психологической разгрузке, снятии повседневного напряжения в церкви вспоминают многие. «Религия вообще действовала на людей успокаивающе. Выйдешь из церкви, как облегчит тебя, идешь, не чувствуешь под собой дороги, на душе легко и спокойно» (М.В. Пикова, 1914).

В село во время церковного праздника стекались жители всего прихода — со всех окрестных деревень, находившихся порой довольно далеко. Для них такое паломничество имело свой особый смысл (как выход в большой мир, общение с соседями и знакомыми из других деревень, праздничный базар). В большие праздники, конечно же, в центре внимания был религиозный обряд. Матрена Андреевна Кудрявцева (1910) хорошо помнит: «В церковный праздник с вечеру уходили в церковь, которая в 17-ти километрах от нашей деревни была. Шли пешком, босиком, обутки берегли, несли с узелком на палочке. В узелок складывали кулич, яйца, булочную мелочь (всякие кренделя, «сороки» — булочки в форме птички). В церкви с вечера до утра шла служба (всеношная), и на клиросе пел церковный хор. Я тогда голосистая была, все время пела в церковном хоре на клиросе, знала все молитвы, обряды. Поп-батюшка заранее присылал мне записку, дескать, Матрена Андреевна, окажите большое уважение своим присутствием на всеношной. После богослужения, едва рассвет, выходили и шли с иконами во-

круг церкви, а перед тем батюшка всем давал причаститься».

В народе постоянно ходили устные рассказы, предания о местных чтимых святых, чудотворных иконах, святых целителях всех недугов телесных и душевных. Нередко к уважаемому монаху-наставнику (реже — монашке) приезжали за советом и помощью издалека. Анна Кузьминична Михайлова (1911) рассказывает: «Жила еще на свете Натальюшка Истобенская. С 9 лет слегла она и не вставала. Жила при монастыре, а когда монастырь закрывать стали, выкинули ее солдаты во двор под забор. Да слава Богу, люди добрые к себе ее взяли. Так вот, ходило поверье, что она молитвами людей исцеляла. Я к ней и в молодости ездила, и потом, когда сын умер. Она-то меня и научила, как жить дальше, обратила меня к Богу. Благодаря ей и выжила, с ума не сошла.

Вера в Бога и помогала во всем. Люди добрее были, не было хамства грубого, доверяли друг другу. И к природе по-другому относились. Бывало, зайдешь в реку, а рыбы так из-под ног и выскальзывают. Не то, что теперь. Мне кажется, что слишком много людям власти дали, давали бы не всем, а тем кому стоит».

СТРАННИКИ

Представления о большом мире, находящемся за пределами своей округи, были мифологичны. Многие крестьяне и крестьянки за всю свою жизнь не бывали ни разу в уездном и губернском центре. Доверчивость и легковерие людей были потрясающи. «Что знали крестьяне о других странах? А что они могли знать, когда до революции были деревни, где ни одного грамотного, на весь год приходило 2 десятка газет, да и то их выписывали попы; ни радио, ни книг — ничего. По-

этому о других странах знали только понаслышке от странников, от нищих, которые передавали новости с большими искажениями. Всем казалось — там рай, а у нас плохо, как говорится: «Там хорошо, где нас нет» (А.А. Кожевников, 1925).

Источниками любой информации о мире и округе были нищие и странники. В голодные годы число их резко возрастало. Пожалеть убогого и сирого было делом богоугодным. Пускали нищих в большинство домов любой деревни, но они чаще старались ночевать в тех домах, где к ним особенно хорошо относились. Такое нищелюбие было далеко известно в округе. «Пускали, конечно, нищих везде, но почему-то нищие всегда к нам приходили. Ночевали у нас по две, по три ночи. И какая-то жалость у нас была к ним. Мы всегда их накормим, спать предоставим где. Они тоже рассказывают, где были, что видели. Интересно было. Заслушаешься. И нищие тогда были настоящие. Не такие, как теперь. Это были такие слаборазвитые, покалеченные люди. Был вот такой нищий Алеша от Пархачей, Маша от Норчат» (Л.И. М-ова, 1908).

Атмосфера мягкости и сострадания, душевной жалости согревала не только людские судьбы сбирающих, но не меньше согревала жизнь подающих. Жест милости был осознанным и трепетным. Марфа Васильевна Кайсина (1913) подтверждает эту мысль: «По деревням раньше много нищих ходило, время голодное было, детей в семьях по многу было. Всегда им подавали то хлеб, то муку. Денег-то никто не давал, потому что мало было. Одеты были плохо, в лаптях, пальто холщовые, на голове шаль худенькая. В руках бодог носили и комель. С другой деревни ходили, со своей. Мама которых-то жалеет, так покормит и с собой хлеба даст. По деревням ходили, большинство собирали старики и старухи. Денег никто не платил. Что выраc-

тишь, тем и кормишься. А бывает так, что есть совсем нечего, так и идешь собираешь по деревням. Никто не осуждал, все жалели. Грешно было прогонять нищего. Вдруг завтра тебе тоже придется ходить собирать».

Отношение к монахам, священникам, церкви тоже было неоднозначным. Существовали какие-то минимальные приличия, которые стремились соблюдать. Забвение церкви, как и чрезмерная набожность вызывали насмешки соседей. «Семья наша была работящая, и считалось, что времени не хватает посещать церковь. Ходили молиться в храм больше по привычке. В доме висели иконы, но лампадка там никогда не горела. Отец, когда ездил в Пустоши, в церковь заходил, считал, что не зайти неудобно от людей, скажут — в магазинах бывал, а в церкви не видели» (А.Д. Коромыслова, 1903).

Прагматичность религиозности русского крестьянина сомнений не вызывает. Традиции того или иного рода жили в семье поколениями. Закладывались они очень прочно и дожили кое-где до сегодняшнего дня. Рассказывает Лукия Спиридоновна Кромкина (1901): «В семье было 5 девок и брат. Родители — крестьяне. Отец ушел в монастырь конюшни строить ради спасения души. Училась 3 класса, со 2-го пела на клиросе, богатства не видела, все служила богатым. Сестра поступила в просвирни, пекла на церкву. Тятя, когда помирал, всех созвал и говорит: "Всех благословляю замуж, а тебя не благословляю. Оставайся девушкой и будешь за нас хлопотать. Живи с Богом!"

Когда советская власть установилась, водили на допрос к начальнику, чтобы монастыри были советскими. Я в послушании была. Выселяли нас из келий. Я одна живу, но ходить по квартирам не люблю. Если скучно, то книгу почитаю божественную. Родители шибко верующие были, сестры приучены к Закону Божьему.

Нынче характер у людей нервный, мало смиренномудрых людей. Всех нужно любить на свете, как самого себя. Все нации нужно любить, русская она или нет. Все люди божьи, какая бы нация ни была. Ставь себя ниже травы, тише воды — и будешь человек. По-крестьянски жили. Теперь живем как гости. Я стремлюсь к монашеству. У меня было одно церковное пение и чтение. Родители радовались, что я ближусь к Богу, а не к сатане. Вспоминаю годы детства более, чем как сейчас. Была вера и была надежда».

Апокалиптические мотивы о близком конце света звучат сегодня в речах не смирившихся с крушением церкви стариков. В последние годы они заметно оживились. Правда, такого рода пророчеств очень немного. Но они есть. Вот одно из них: «Вот! Там написано, в Библии, что на народ будет гоненье. Побежат из своих домов не знают куда. Вот. Места не найдут. Всех сгонют в город. Будет. До того доживут — всю землю перекопают до единого пласта. Ну и вот. Будут заразные мухи летать по облаку. Конской силы не будет. Будут машины. Время будет окорочено. Не будут замечать. Солнышко будет плохо смотреть. Может, это затменье. Вот. Будет там перед концом века землетрясенье местами, ураганы будут, наводненье будет. Вот! Будут болезни последнее время. В восемьдесят девятом году — на молодых. Молодые будут умирать, старики будут жить по свое время. Поняли? Что урожаи будут последнее время хорошие, на поле никого не будет народу: убираться будет некому. Подойдет, говорит, время, будет на народ гоненье страшное. Погонят матерей со своими детьми — не знают куды. Как вернутся, так и покинут. А старикам куды бежать, старики дома не покинут. Вот как. Ощо должен идти Антихрист с печатью. Будет печать на лоб садить, шестерку на праву руку. Вот. В одно время подойдет так, что ос-

танется на Земле, двух верстах, — двое, два человека, парень — девка, голос от голоса будет не слышно. Доживут. Так в Библии сказано. В реке воды не будет. Побежит, говорит, воду искать. Кто-то придет к реке, увидит, что в реке блестит вроде вода, он вернется, побежит друга звать: «Пойдем-ка, я воду нашел!» Прибежат они к реке, а там: деньги. Ведь даже напиться нечем будет. Вот чего будет.

Я все прожила. Чего и будет — страшно. Все пожнем. Все пожнем. К этому идет. Жизнь клонится. Жить мало осталось. Все» (А.Г. Шустова, 1912).

Хочется только заметить, что традиция такого рода пророчества всегда жила в крестьянской среде.

ЧУДО

Сознание людей не просто допускало существование чуда — оно было нацелено на чудо, требовало чудес, как засохшая от зноя почва — дождя. «Верили все в чудеса, гадали. На Пасху обновляли иконы. Было так, икона стояла старая, мутная, а после Пасхи блестела, как новенькая. Моя мама вынесла однажды икону в чулан. Она была уже старая, мутная. Через несколько лет, когда уже об этом забыли, я захожу туда, что-то искала, и нашла икону совершенно новую, принесла домой, мама как увидела — так и села на лавку» (А.А. Новикова, 1909).

Необычные видения могли посетить человека лишь однажды, но память о них оставалась на всю жизнь. Человеческое сознание структурировало окружающий мир в привычных своему времени формах: «И в чудеса раньше верили. Вот я в детстве, до сих пор я гадаю, что тогда со мною было? Один раз я шла в школу, мне было лет 10, наверно, или 11. И по одну секунду я потеряла сознание, идя по полю. И вдруг передо

мной открылось небо — яркое-яркое небо и, значит, из иконы какой-то монах стоит, в голубом одеянии. Я остановилась, или не помню, этого тогда я не чувствовала. Я шла по тропинке и дошла как раз до крутого оврага. И если бы я дальше шла, я бы упала в него. А вот он меня, этот монах-то с неба остановил, значит. И когда я очнулась, открыла глаза-то, гляжу: как раз один шаг — и я бы упала. Я вот до сих пор гадаю. Или это мне показалось, или это в уме что-то такое?» (А.И. Д-ва). По-детски впечатлительное сознание людей поражали, словно молнией, вещи для нас привычные и незаметные, но выбивавшие из обычного течения жизни. Их потом подолгу обсуждали.

«Где чё сотворит, какой несщастной случай, где пожар, дак чудом звали. Миша Иванович начальником был, утром мы коров доили, он прошел по двору. Там лошадок 3 было; на лошадку надел узду, хомут стал надевать, тут упал, тут и душу отдал. Это разве не чудо?

Под осень гроза большая была. Мы в деревню соседнюю ездили. Как осветило, так ровно не знаю чё. Пришли колды, а там яма была, а вокруг нее ельничек и 3 коровы мертвые лежат, одна наша схоронилась. Молния попала в елку и убило коров-то. А мясо у телушек аж черно стало, дак ветилинар заставил закопать их, а не дал скоту скормить... Дак это тоже чудеса!» (В.О. Медведева, 1921, дер. Колбяки).

Мир был полон чудес, они подстерегали человека в его привычной жизни.

СУДЬБА

Люди воистину жили как Бог на душу положит и несли свою земную долю (будь это даже доля нищего) с достоинством и терпением. На жизнь роптать было не принято — ее следовало принимать какая есть. Сам

человек изменить свою жизнь был не в состоянии. Будущего, как правило, поэтому не боялись и ждали от него лучшей жизни. Афанасия Александровна Машковцева (1917) и сейчас, подобно своим дедам, считает так: «Судьба Богом дана. Каждая судьба Богом дана. Плохо или хорошо жилось — не роптали, значит то на роду написано. Девушка замуж вышла, люб в дальнейшем ей будет муж иль не люб, живи, на судьбу не жалуйся и во всем повинуйся мужу своему. В основном судьбу решали в семейном кругу. Отец определял, куда тебя определить. Если родился в деревне, на земле, то и работай на ней, а уехать куда и речи быть не может. Поэтому семьи крестьянские были крепкие, сплоченные. Вот отец не отдавал на обучение, а оставил работать, говорил, что для этого много знаний не надобно.

Судьбу, человеку предназначенную, было не переломить. Н.В. Огородова (1919) хорошо помнит такой случай: «Судьба у человека разная, что написано на роду, этого нельзя изменить. Так одному парню предсказали, что когда будет у него свадьба, то утонет он в колодце. Не поверили, конечно же, люди, но колодец все же заколотили. И вот свадьба была, а он вышел на улицу, так, лежа на колодце, и умер».

Мужчины, впрочем, все же меньше поддавались мистическим переживаниям, были частенько закоренелыми прагматиками и рационалистами. Н.И. Рычков: «Жили, лишь бы поести чё. В общем, звериный образ жизни вели, полузвериный. Народ был дружный, конечно, очень помогали друг другу... Вот смысл жизни был: побольше бы лошадей у меня было, побольше бы хлеба вырастить, да чтоб хватило, да не заболели бы... Раньше високосна года боялись: ой, Високос, Касьян немилостивый, на кого посмотрит: на людей ли, на скота ли, на урожай ли...»

Жизнь, надежная, хорошо проверенная поколениями предков, шла по накатанной веками колее, поэтому больших страхов и фантастических умствований в крестьянской среде не существовало. А.А. Машковцева продолжает: «О будущем больно не задумывались, не надобно было думать об нем. Верили всегда в лучшее будущее, что легче нам будет, а если пока тяжело — ничего, потерпим. Все веровали в Бога и от того, как ты поработаешь, зависит, попадешь в рай или в ад. На земле мы временно находимся, а основная наша жизнь там.

Смерти не боялись, все равно человеку уготовано помирать, сколько Богом дано, столько и проживешь на этом свете. Только как проживешь. Прожить надо честным трудом, чтобы люди поминали тебя хорошим словом. В молодости, правда, кому хочется помирать. В сундуке лежит уже наряд для похорон, специально приготовленный».

Смысл жизни видели в стремлении к лучшей доли для себя и своих близких. Интерес к жизни не угасал часто до глубокой старости. Люди не изматывались механическим ритмом машинной цивилизации и жили в темпе и ритме посильном человеку. А.А. Лысов (1924): «Смысл жизни видели в самой жизни. Понимали люди-то, что один раз живем. И все было интересно. Ведь трудишься, а любой труд интересен. Интересно вырастить на огороде капусту, лук. Интересно, зачем мужчина и женщина на свет родились. Все знали, что если вдохнута в тебя жизнь Богом, то все должно быть интересно. Ведь и старику умирать не хочется, все ему интересно, до последней минуты. Што бы ишо бы потянуть. Вот был у нас старичок — старый выдумщик. Прохором его звали. Последние часы на кровати лежал, а все: “Старушенька, поцелуй в последний раз”, “Чё там на улице-то, дождь пошел? Ну, слава тебе гос-

поди, урожай буде". Кто в Бога-то верил, дак говорил: "Умрем, к Христу запазуху попадем". Считалось грех запиться или отравиться, или задавиться. Это уже все! — сатана на тебе на том свете будет ездить».

Естественность жизни, естественность смерти, спокойно-терпеливое перенесение тягот при неизменно доброжелательном отношении к миру у этих светлых душой страдалиц XX века, не озлобившихся в котле горя и ненависти. «У тетки Кати тоже была трудная судьба. Осталась она от родителей 13 лет, была самая старшая, после нее еще четверо. Как она говорила: "Мать умерла после родов от горячки, ребенок остался жив. Через 40 дней умирает отец от воспаления легких. Сначала ходили соседи к ним ночевать, приучали ее ко всему. Потом ходить не стали. Меньшие не так боялись, а она боялась. Спали на полатях, она в середине, малые по бокам. Заболела маленькая, дело было летом, отнесли ее в чулан, зачем, она сама не знает. Изредка посылала меньших глядеть, жива ли, те придут: "Жива, жива, волосики повеивают", — а там ветер гулял. Пришла соседка посмотрела, а та уже померла, окоченевшая". Всей деревней им дом перестроили — срубы на дом были. Продали у ребят корову, но их почему-то в приют не сдали. Много им пришлось перенести, но все выжили. Тетя Катя ушла от нас, когда моя младшая сестра ребенка родила, она у них троих ребят вынянчила, помогала по хозяйству. Все говорила: "Ой, слава Богу, хорошо живу", — хотя жили они вшестером в комнате 16 квадратных метров, кухня одна на троих, т.е. на 3 семьи. Умерла она в 1975 г. на 100-м году жизни» (Т.П. Шихова, 1923).

Истинная ценность, смысл жизни в труде, который никто у человека отнять не в состоянии. Деньги при этом сами по себе большого значения не имели. Важнее работать, а не зарабатывать деньги, важнее иметь,

а не тратить деньги. Любопытен в связи с этим следующий эпизод: «У деда был сундучок со старыми деньгами. Когда дед выпьет, то всегда доставал его и всем показывал, сколько он за свою жизнь заработал. При этом все время приговаривал: “Вот их как много, можно всю мою избу деньгами оклеить”». (О.Н. Солодянникова, 1922). Старику важно наглядно показать всем свое трудолюбие (столько денег — что можно оклеить избу, а не купить, например, два дома).

В привычном мире деревни, где все события неизменно повторялись, явление чего-то нового, ранее невиданного, считалось делом дьявольским. Вот как отреагировали жители маленькой вятской деревни на первое появление аэроплана в небе над деревней: «Большим событием для жителей нашей деревни было появление первого аэроплана. Люди в это время находились в поле, и когда увидели на небе огромный несущийся предмет, который еще и гудит, подумали, что это конец света. Они думали, что это сама нечистая сила летит к ним. Все побежали прятаться. Кто-то убежал в лес, кто-то в канавы, а некоторые ложились прямо на землю. Люди истово крестились и причитали, моля Господа о прощении грехов. Одна женщина находилась в это время дома и, увидев несущийся с неба страшный предмет, убежала в погреб, и съела там крынку сметаны. Решила: раз конец света, пусть ее сметана никому не достается» (А.П. Катаргина, 1927). Мифологичность сознания позволяла не просто доверять чуду и ждать его, но радостно удивляться любому его проявлению.

Слушать, открыв рот, могли часами — и не только странников и сказочников, но и любые лекции заезжих агитаторов, понять что-либо в которых было порой просто невозможно. П.С. Добрынский (1914) вспоминает: «Когда работали учителями, ходили по дерев-

ням. Народ собирался моментально, когда приходил учитель. Готовы были слушать часами. Обратно давали тарантас, зимой — сани. Это было золотое время, богато никогда-никогда не жили, но всегда мы были довольны всем».

Деревенский коллектив был целостным, живым организмом, в котором так легко и привольно было дышать каждому отдельному человеку. «Многое сейчас лучше да красивей стало, акромя души человеческой. Раньше весь народ был доверчивее. У нас вот соседи доверяли друг другу. Вечером высыплют все на лавочки — да как весело: и нахохочемся и наревемся все вместе» (Л.И. Рычкова, 1912).

«Все вместе». В этом было столько спасительной силы и душевного покоя.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

События сами приходили и уходили в потоке жизни — их встречали и провожали, как заведено от дедов-прадедов. К ним были готовы. «В жизни жили, как придется, как жизнь поведет. О судьбе не думали — надеялись на что-то хорошее. А всяко бывало! Будущего не боялись — не думали ни о жизни, ни о смерти, а как уж судьба подведет» (Т.И. Кротова, 1916).

Переламывать линию своей жизни, спорить с судьбой было не принято. «С судьбой мирились люди. Если у кого какое-то горе — то говорили: видно такая уж у них судьба. Умирал молодой человек, тоже говорили, что судьба такая. Лечили не очень. А сейчас вон как родится ребенок, его все к врачу таскают, а раньше детей вообще маленьких не носили к врачам. Мать родит — в свою юбку завертит. Выживет — так выживет, не выживет — так судьба такая. Ребенок болеет-болеет да помрет. Никогда их никуда не возили, ни в какую

больницу. И говорили: так на роду написано, столько Бог веку дал» (А.В. Кропанева, 1914).

Здравый крестьянский смысл не только позволял разумно отнестись к вещам непонятным, запредельным и отвлеченным, но и рождал в крестьянской среде некоторое количество скептиков, своеобразных Вольтеров в лаптях. Вот речь одного такого человека: «Судьба! Черт его знает, судьба это или не судьба. Судьба, говорят, как индейка. Как жилось, так и жили своей семьей сами. Кто будет указывать, залазить в чужую семью? Каждый в своей семье. А в лучшее все-таки верили. Конечно, верили. Ждали, что лучшее придет, может получше будет. Загробна жизнь! Чё загробна? Умрешь, дак кака там загробная? И сейчас так же. Умрешь, закопают и все. И вся загробна жизнь. Ну вот раньше умирали, их в церкву увозили отпевать — снять все грехи с души нашей грешной, чтоб спокойно хоронить человека. А теперь вот не стали отпевать у церкву возить. Отпевают так, заочно теперь уж. Схоронют, а потом отпевают. Умрешь, а там хоть куда, земля и земля» (Е.Т. Дорохова, 1912).

И все-таки страх смерти постоянно присутствовал в повседневной жизни людей. Он лежал в сознании людей под спудом повседневных забот, но, вырываясь изредка на поверхность, проявлялся многообразно. Люди умели горевать. Мечта о долгой жизни в сочетании с этим осознанным страхом смерти была для человека сокровенной, потаенной, самой дорогой. Анна Куприяновна Фоминых (1907) так рассуждает об этом: «Судьба для нас значила многое. Судьбу определяли родители, они более старшие, отдавали в работники, женили не по хотенью. Будущего не боялись, верили в лучшее. Сегодня хорошо, завтра будет еще лучше, дети вырастут, помогать будут. А смерти никто не хотел ни своей, ни тем более родным. Смерти боялись очень.

Детей малых ей стращали. У Бога просили, чтобы он дал здоровья и долгих лет жизни, на всех праздниках в первую очередь желали друг другу долгих лет жизни. Сейчас многие не боятся смерти, а тогда боялись очень».

Общедеревенские страхи, общедеревенские радости и общие для всех печали. «Самое большое горе во всей деревне было — это когда кто-нибудь из жителей умирал. Покойников оплакивали — были даже специальные ревуны. Если у одного горе — значит у всей деревни, у всей окрестности горе. Горе делили сообща» (А.В. Власов, 1927).

Смерть как важнейшее осознанное событие в жизни человека требовала и особого к себе отношения. Ее ждали, к ней готовились загодя. Смерть не просто венчала жизнь человека, она и вознаграждала его за эту жизнь. Павла Алексеевна Колотова (1909) считает так: «Смерть представлялась естественным, как рождение, но торжественным, грозным и радостным событием, которое избавляло от лишних забот, лишнего рта и от других страданий. Старики терпеливо ждали смерть и призывали ее, однако самоубийство считалось позором. Старики готовили себя к смерти, но встретить ее спокойно мог лишь только тот, кто был чист душою перед Богом и людьми, кто не делал зла и не был одиноким. По-ранешному считалось: чем больше грехов, тем тяжелее умирать. Совсем безгрешных, конечно, не было. Человек мучался своим грехом, поэтому перед смертью люди причащались и каялись в своих грехах. Это облегчало их страдания. Ранее считалось, что чем добрее человек, тем дольше он живет, а злоба порождает болезни».

Раскрытость, свежесть чувств, их непосредственность и сила, свобода излияния выгодно отличают русского крестьянина прежней эпохи от наших совре-

менников. Контролировать себя в моменты горя, стесняться и стыдиться окружающих не следовало — это были родные и соседи, помогавшие человеку горевать. Эмоциональная раскрепощенность. М.В. Сурин (1902) подметил это так: «Сейчас мало плачут открыто, раньше плакали больше. Было очень мало грамотных, а чувства-то — скорбь, горе — были такие же. Когда умирал человек, приходили соседи, сочувствовали, а сейчас все грамотны стали и сдержаны». В.Г. Богина (1913) тоже помнит: «Спасу нет ревели — кто умрет дак!»

Сочувствие, эмоциональная поддержка распространялись и на тяжелобольного человека, находившегося между жизнью и смертью. Александр Георгиевич Рокин (1908) запомнил такой деревенский обряд, практиковавшийся в его родной вятской деревне: «Особенно хорошо в моей молодой памяти сохранился эпизод, о котором люди уже, наверное, забыли. Расскажу я об так называемом «курятнике». Когда захворает старший в доме и серьезно, то посылали за попом и сзывали всю родню, и всех односельчан, по одному с дому, на «курятник». В это время накрывают столы скатертями, выносят больного на лавку, усаживают его в красный угол и «начинаются столы». Это угощение, причем перед каждым стоит чашка с пивом. Сам больной не должен ничего есть. Если он сидит накрытый простыней, то над его головой читаются молитвы священником. Когда кончается его соборование и пирование, его уносят. Причем приметы требуют, чтобы никто не выходил из комнаты, прежде чем вынесут закрытого простыней больного. После чего «курятник» кончался, и весь народ расходился по домам».

Смерть как заслуга всей трудовой жизни человека — такая идея активно пропагандировалась и церковью. Но ведь и священники жили идеями, бытовавшими в

крестьянской среде. Анастасия Васильевна Кропанева (1914) помнит: «В то время, чтобы смерть заслужить, — молились, так в проповедях священники говорили: смерть нужно заслужить, и заранее за смерть люди молились. Те, кто не своей смертью помирал, на себя руки накладывал, тех даже за упокой поминать было нельзя, да и сейчас ведь так же. Считалось, что они водятся с чертями на том свете, и если будешь их поминать со всеми, то они и других к чертям утянут, а всем хотелось попасть в рай. Помирать, конечно, никому не хочется, каждый ведь на что-то надеется, старый или молодой. Свекор умер в возрасте восьмидесяти лет. Он проболел всего три недели. Перед смертью он со всеми попрощался. Мы спали утром с Гришей. Я слышу, свекор говорит тете (это с нами жила свекрова брата жена), чтобы она нас разбудила. Мы подошли к нему, он перекрестил нас и сказал, что живите счастливо и долго. Не ссорьтесь, воспитывайте детей. А мы в ответ сказали по очереди «Прости меня», а он ответил: «Бог простит». Потом мы снова легли, так как рано было очень, но я больше не уснула и потом подошла посмотреть на него, а он уже умер. Вот так почувствовал свекор свою смерть. Свекор был очень верующий человек. Он еще в церкви служил, кажется, старостой назывался. Пожилые к смерти относились спокойно, а молодым, конечно, умирать не хотелось».

Достойная человека кончина вызывала уважение. Помнили, что этот человек такую кончину заработал всей своей жизнью. «Всяк старый человек был в почете, его заслуженно уважали: раз старый — значит, жизнь прожил не зря, и кое-чему да научила жизнь, раз пряди волос сединой блещут. Много и молодых ребят и девчонушек уносила смерть. Как я думаю: смерть — это заслуга человека» (А.Г. Славутин, 1910).

З.К. Семиглазова вспоминает: «К смерти же готови-

лись, ходили грехи замаливали, все посты соблюдали, все мясоеды. Считали, сколько нужно, столько и проживет человек — и не больше».

Вместе с тем в человеке жила и постоянная опаска, бережение от случайной (не своей) смерти. «А умирать, конечно, в молодые годы никто не желает, да и в старые смерти эдак же боишься. Куда бы ни пошел, остерегаешься, чтобы кто чего не сделал худого, не убил. Всегда боишься смерти. Страх есть: как душу отдавать. Хоть и здесь плохого много, да вдруг там того хуже будет. Грехов-то у всех много» (Д.Н. Казакова, 1901).

Нередко в людской судьбе смерть была попутчицей всю жизнь. К.И. Исупова (1921) рассказывает историю своей семьи: «Отец ушел на собрание и не вернулся. Убили его. Нашли утром в канаве недалеко от нашего дома убитым. Это большое горе было для нашей семьи. После смерти отца настали настоящие «черные» дни. У матери на руках остались семеро детей. Старшему Федору было 12 лет, а младшему Коленьке 1,5 года. Федя бросил учебу и пошел работать в колхоз, а мы занимались по хозяйству. Говорят, несчастья по одному не ходят. Год смерти отца принес еще одно горе. Во время грозы загорелся наш дом. Мать и двое старших братьев были на сенокосе, а мы, младшенькие, остались дома. Я уложила двух близнецов-мальчиков в люльку, а сама забралась на печку. Ваняшка, 4 года, и Коленька, 1,5 года, играли на полу и уснули. Вечерело. Когда я проснулась, горели окна, двери, кругом дымно. Разбудила Ваняшку с Колей, потом взяла близняшек, но в окно вылезти не смога. Помню, они очень громко плакали. Малыши забились под стол и ни в какую не хотели вылезать. Стоял треск дерева и рев ребячий — страх такой. Когда вылезли из горящего дома, мать бежала уже к нам, прижала нас к себе и плакала

долго-долго. В этой суматохе не заметили, что близняшки молчали. Когда их раскутали, они оказались мертвы: видимо, задохнулись от дыма. Мать как будто онемела, потеряла с горя дар речи. Через неделю умер Ваняшка от ожога на лбу. Переселяясь в Архангельск в 1942 году, умерла от воспаления легких сестра. На фронте убиты два брата».

Плач, даже по родственникам давно усопшим, был искренним. Плакали, как правило, на могилах близких в определенные поминальные (родительские) дни. Причем, одинаково оплакивали родственников, умерших очень давно и совсем недавно. Н.И. Маишева: «Радовались, как и сейчас. Отличий нет. Причитали, горевали вместе. На могилах рев был. Два раза в году ходили на кладбище (в Роданицу, в Троицу), плакали там. Расстелют скатерть на могиле, ревут».

Культура семейной, родовой памяти пестовалась и сохранялась. Беспамятство осуждалось. Надежда Васильевна Терюхова (1923) рассказывает: «Я была у бабушки старшей внучкой. Летом бывает праздник Иванов день — 7 июля. В это время горячая пора сенокоса. Бабушка же всегда отмечала именины своего мужа Ивана, нашего дедушки. Отмечала его одна. Испечет хлебушка, возьмет меня с собой, а по дороге на обочине у берез мы наберем земляники и идем на кладбище в Сезенево. Бабушка на могиле прочитает молитву, потом поминаем (едим хлеб и землянику) и идем домой. Вечером дома всей семьей поминали дедушку за ужином. Особых вечеров и обедов не устраивали».

Посещение кладбища было не просто поминанием усопших, но и общение с ними. «Поминали своих родителей: ходили на кладбище. Вставали рано утром, нарвем полевых цветов — ромашек и других — и идем все вместе, всей деревней, на кладбище. Посидим там у своих могил, наревемся, вспомним своих родственни-

ков, поговорим как бы с ними и становится на душе полегче» (И.А. Тумбарцева, 1918).

Но плач людей был только причинным, не нервно-безосновательным, а конкретным. «Без повода никогда не плакали. Мало ли кто руку сломает, умрет кто, хлебную карточку потеряет. А смеялись часто, часто шутили. Сегодня больше плачут, сейчас больше умирает» (А.В. Зубкова, 1918).

Не так уж и редки рассказы и об общении с душами умерших близких людей. Рассказывает Анна Васильевна Рубцова (1918): «У моей матери у подружки умерла мать, а отец этой девочки был кустарем, и, не подождав 40 дней, сразу же женился. Он имел большое хозяйство, сам был в разъездах, поэтому и взял жену. Им надо было ехать летом на ярмарку. Кустарь и попросил соседей, чтобы каждую ночь, пока его нет дома, ночевали с его дочерью три девочки. В их числе была и моя мама. Пришли они в первую ночь к этой девочке, легли спать, уснули и в 12 часов просыпаются от громкого разговора и стука посуды. Девочки с ними не было. Смотрят они в комнату, а девочка ставит самовар, посуду на стол и разговаривает с кем-то, радуется тому, что гость в доме. «Как хорошо, что ты ко мне пришла, почему ты ко мне раньше не шла, как мне плохо без тебя с мачехой. И голос ей отвечал, хотя никого в комнате, кроме девочки, не было. Когда прошел неурочный час, поднялся ветер над крышей, и голоса затихли. Девочка пошла ложиться спать и скоро уснула. Всю ночь приглашенные девочки не спали. А на утро девочка сказала, чтобы в следующий раз к ней никто не приходил, что «ко мне маменька придет, мне не страшно». На следующий раз девочки не согласились уже идти и рассказали родителям, в чем дело, но взрослые убедили их идти, а сами отслужили в церкви молебен, и ночь прошла спокойно. В следующие разы взрослые уже сами ходили ночевать.

Однажды, когда намечалась свадьба, невеста заболела чем-то и умерла. В гроб ее положили в свадебном платье и туфлях. Через некоторое время матери снится эта девушка и говорит: «Зачем ты меня положила в туфлях, я так устала, пошли мне тапочки», — и назвала адрес, число (когда нужно прийти) и имя покойника. Мать этой девушки пришла в этот дом, и правда, там покойник. Она спросила, можно ли положить в гроб тапочки. Родные покойника, не удивившись этому вопросу или просьбе, согласились.

Как моя мать получила похоронку на мужа, плакала сильно о том, что осталась с тремя детьми, жизнь тяжелая. В один из летних дней в 12 часов ночи просыпается она от того, что будто бы к дому подъехала лошадь и кучер говорит лошади: «Пр-р!», и слышит стук в окошко. Как будто видит она мужа и слышит: «Поля, открывай!» Хотела она открыть окно, а в темноте за окошком никого не видит, и начала сразу креститься, мало этого, начала читать молитву и отошла от окна. Тут за окном поднялся сильный ветер и все исчезло. На следующий день она пошла в церковь и отслужила молебен».

Вера в существование души, загробной жизни была широко распространена. Утешительно и предостерегающе думалось многим о загробной жизни. Н.В. Огородова (1919) считает: «И в загробную жизнь люди верили. Раз копали люди землю, нефть искали, наткнулись, говорят, на душу, заревела она, а те испугались и перестали копать. Говорят, душа 40 дней летает вокруг своего дома. А подумай-ка, вот если б отделить душу от тела, сколько ж людей-то уже умерло, они бы ведь все уж заполонили, всю вселенную. Это сюда дана воля вольная, а там человек за все ответит. Один раз Наталье приснился сон, что будто бы в ад она пришла, стоит яблоня развесистая, мужик под ветками прыгает

и не может достать, а оказывается это наказание за то, что он людей в жизни обделывал».

Жизнь и смерть жили в неразрывном единстве — слитости и во многом зависели друг от друга.

Глава 8.
ПРИМЕТЫ, ГАДАНИЯ, КЛАДЫ И НЕЧИСТАЯ СИЛА

О ПОЖАРАХ

Относительное равновесие в жизни крестьянина, минимальный достаток — все это было очень зыбко. Страшный враг — огонь — мог за несколько минут уничтожить все нажитое долгими годами тяжкого труда. Крестьянин мог остаться один на один с миром — и раздетым-разутым идти собирать по окрестным деревням «на погорелое место». А между тем живого огня внутри избы было немало: топили печь, теплили на праздники лампадку у образов, жгли лучину долгими вечерами для света, так что причина для пожара всегда имелась. Петр Алексеевич Вострецов (1911) вспоминает: «Хоть лапотина и стара — брюки крашенинные, а напляшешься вдоволь — дым коромыслом. Это все от лучины. Воткнут ее в светильню, под светильню светильное корыто поставят — и дымит она себе. Хозяин знай только лучину меняй. На потолке в каждой избе черное пятно от лучины было, а на полатях дым все время глаза ел. Да и не в каждую избу плясать пустят. У многих в подполье зимой ульи с пчелами стояли».

Пожары были часты на памяти каждого крестьянина, а поскольку деревни стояли близко друг от друга, то заполыхать могла вся округа. Е.А. Смертина (1914, Сорвижи): «Ой, в нашу бытность в деревнях много по-

жаров было! Ой! Столько пожаров было, что все и не упомнишь. А горело потому, что где-то курили, где-то пойдут с лучиной. Раньше ведь электричества не было, все с лучинами сидели вечерами. Тут вот пожары были частенько. Где-то заронишь лучинку, то да сё. А загореться ведь недолго. Вот к одной женщине полюбовник все ходил, дак он как-то и зажег. Уж не знаю, с чего у них там получилось. А сразу сгорело семь домов подряд. Такой ветер в тот день шел, дак прямо в соседнюю деревню головешки летели. Вот это в мою память вроде как самый сильный пожар был. А без малого вся деревня тогда выгорела. Чё, с ведрами побегаешь-побегаешь, а все одно. Ото всего могло загореться, если неосторожно чего делаешь дак. А раньше ведь дома все деревянные были, рядом все, и деревни недалеко друг от друга. Вот и горело».

В сухие лета, когда загорались окрестные леса, многие деревни выгорали целиком. Спастись от такой напасти было почти невозможно. Хотя порой удавалось. В 1938 году сухота была. Пожары пошли. А лес близко к деревне был. А ветер все от леса огонь гонит. Уж скотину на поля вспаханные выгонять стали, вещи выносить, думали, сгорит деревня. А в соседней деревне, верст за 6-7, старичок жил. Старичка этого привезли. Он походил вокруг деревни, пошептал и дым отговорил. А пожар больно страшный — верховой был. Много тогда леса выгорело (П.А. Вострецов, 1911).

«Постоянным источником опасности были бани. А я как помню, было в деревне 120 домов. Весной одна женщина топила баню. А на бане лежал сухой лен. Он загорелся. Баня загорелась. Ветром перекинулся огонь на дома. Шестьдесят домов сгорело в один час, ничего не успели вынести, бедствовали. Скотина была на выгоне, не сгорела. Ужас какой был! У мамы ноги отнялись. Люди растерялись — больно быстро огонь пере-

несся от дома к дому. По деревням потом собирали посуду, одежду, хлеб. Амбары-то были под крышей. Как свечки, вмиг, надо представить — за час!» (Л.И. Скрябина, 1920).

Случались и ночные пожары — неизвестно по какой причине. Августа Прокопьевна Железнякова (1924, дер. Дуплино) вспоминает: «Пожар большой по лету случился у Матвея Лапотнина. Дак ведь двое детей у него погорели, да и сами-то выскочили в том, в чем спали. Ночью ведь дело-то было. Боялись пожаров — это пуще всего на свете говаривали: "Вор придет, дак стены хоть оставит, а этот вор все с собой унесет". Мало в те времена от пожаров-то спасали, машин-то еще не было. На руках воду-то таскали. Ох, страшно, упаси Господь от этого, даже врагу злейшему не пожелаешь».

Как всегда на Руси случались во время пожаров и необъяснимые явления. Рассказы о них долго гуляли по округе. Н.Ф. Ситников (1926): «Случались в окрестности и пожары. Почти полностью выгорела соседняя деревня в 25 домов. Огонь перекидывался с одного дома на другой. Во время пожара произошло чудо — в самом центре пожара уцелел один дом. Все дома вокруг сгорели, а он нет, потому что хозяин несколько раз обходил дом с иконой Божьей Матери».

Пожар представлялся многим чем-то вреде божьей кары, и сопротивляться которой было бессмысленно. От страха и ужаса люди цепенели и беспомощно смотрели, как погибает их добро. Летние пожары были страшны еще и тем, что все взрослое население находилось в поле или на сенокосе, а дома оставались лишь старики с малыми ребятами. При таком раскладе зачастую сгорал и домашний скот, птица. Т.М. Иванцова (1926) рассказывает: «Помню, когда мне было 8 лет, у нас в деревне был большой пожар. Выгорело почти полдеревни. Начался пожар днем, когда все взрослые

были в поле, в деревне были одни старики и дети. Когда пожар разбушевался, старики и дети стали выбегать из деревни. Я выводила из деревни за палку одного слепого старика, он поблагодарил меня и дал мне за это золотую монету».

Пожалуй, ничего так не боялся в жизни крестьянин, как пожара.

ДЕВИЧЬИ ГАДАНИЯ

Ворожеями, знахарками, колдуньями, как правило, были женщины. Гадать на суженого умела любая девушка. В каждой деревне был свой традиционный круг гаданий, которым и пользовались все девушки этой деревни. Замужество в жизни женщины — событие главнейшее. От этого зависела вся ее жизнь. Поэтому с трепетом и волнением девушки пытались узнать свою будущую судьбу: какой будет муж — пьющий или нет, какова мужнина семья, куда доведется выйти замуж — в какую деревню округи. От любого из этих вопросов зависело будущее счастье или несчастье девушки. Гадали обычно в праздник. И гадание было таким же неотъемлемым элементом праздника, как ватрушки или хороводы. «В Рождество мы ходили ворожить, с 7 до 19 января были у нас вечерки, тогда не пряли и ходили плясать. Пускали в избу плясать по очереди. Бери керосин и ходи просись. Жили 4 девки, и они все пускали на квартиру. Плясали кадриль, бегали по ночам — снег пололи. "Полю, полю снежок, в которой стороне мой женишок, там собачка взлай". Иногда сбывалось. Еще на голой пятке на снегу покрутишься. Снег схватишь и бегом смотреть, какой волос будет там — такой и жених будет. Если белый — будет белый жених, если черный — так черный. Ведра на колодце запирали. Поставишь на колодец ведра друг с другом, запрешь

замком, ключ под подушку и заветишь, какой жених есть — тот и приснись во сне. Когда мама девкой была, ей приснился отец мой и сказал: «Дай-ка мне ключ, кобылу поить надо». А еще вот под стакан с водой насыпали сажи, туда клали обручальное кольцо и смотрели в зеркало жениха. А мне все какая-то женщина виделась и плат колпачком» (А.А. Феофилактова, 1918).

Очень типичен и рассказ Анны Ивановны Суровцевой (1923) о гаданиях на будущего жениха: «Девчонками в Новый год и по другим праздникам мы бегали ворожили. Бегали и на перекресток дорог. На перекрестке крутишься до тех пор, пока не упадешь. В какую сторону головой упадешь, значит в той стороне и жених. Под праздники выкладывали из спичек под подушками колодцы. А ночью кто из парней придет за водой, значит тот и жених. Раньше заборы были из ивовых прутьев. Подойдешь к забору, обнимешь его, сколько руки хватят, и начинаешь считать прутья — щетка, гребенка, сусек, мешок, котомка. На каком прутке закончится, значит, такой и будет жених. Если закончится на щетке, то жених будет чистенький, если на гребенке, то жених будет форсистый, если на мешке, то средний, ну а если на котомке, то выйдешь ты за нищего. Чтоб узнать, выйдешь ты в этом году замуж или нет, ставили лошадиную дугу. И если сможешь пролезть сквозь дугу, то выйдешь, а если нет, то, значит, не судьба. Любили говорить: «Если пролезу в дугу, замуж выйду в этом году». На Рождество, Крещение ходили узнавать судьбу. Когда все в семье поужинают, то мы, девчонки, забирали скатерть вместе с крошками и ложками. Шли к кому-нибудь под окно, подойдем и кричим: «Как судьбу зовут?» Из избы иной раз надур что-нибудь ответят, а иной раз имя какое-нибудь назовут. Девчонками любили сидеть в избушках у одино-

ких старушек. Принесешь по полену дров, дров ведь не было, и сидишь что-нибудь вяжешь или песни поешь. Дрова воровали из дома».

Иногда в деревнях были свои, не присущие другим местностям формы гаданий (наряду с самыми распространенными). Александра Павловна Гончарова (1921, дер. Борчинки) их помнит: «В Рождество гадали да и в Масленицу тоже. В основном с 12 до 3 часов, когда миром правит колдовская сила.

Берешь лист бумаги, загадываешь что-нибудь, мнешь его, ложишь на перевернутую крышку и жжешь. Получается нерассыпавшаяся сгоревшая бумага. Вот и смотришь на тень, поднеся к комку свечу. Что привидится, то и сбудется.

Или расплавишь воск, растопишь, а потом выплеснешь в таз с водой. Какая фигурка, то и сбудется.

Надеваешь на правую ногу чулок, а под подушку гребень и мыло, и говорили: «Суженый, ряженый, приди меня разувать, умой меня, причеши меня!» — приснится твой единственный в свадебном наряде, проснешься без чулка, причесанная и умытая.

Мамаше клали под подушку сковородку, ей и приснится, кого она блинами кормит — тот и суженый.

Подслушивали под окнами чьего-нибудь дома, что услышишь, то и сбудется.

К проруби девки ходили. Тоже слушали.

На бобы гадали: “41 боб скажите сущую правду!” Вопрос загадывают, раскладывают на три кучки наугад, отсчитывается от каждой по четыре, если в первом ряду получается 5, то исполнится, если девять, то задержится».

А Мария Николаевна Шадрина (1905) рассказывает: «В святки гадали. Вот одно из гаданий. Ночью по 3-5 человек (обязательно нечетное количество) ходили на ростань — это на пересечении дорог. В руки брали

сковородник. Все садятся, а одна обводит вокруг себя три черты и приговаривает: «Черта медна. Черта оловянна. Ходи вокруг, сила окаянна. Чур, слушай». Садятся спинами друг к другу. Глаза закрыты. Слушают. Ждут, когда с какой-нибудь стороны собака залает, скрип саней послышится или колокольчик зазвенит. Кто с какой стороны услышит, туда и замуж пойдет».

Форм гаданий было воистину тысячи. Некоторые из них довольно неожиданны сегодня дня нас, но тесно связаны с крестьянским обиходом. «На праздники гадали, больше на Рождество. Старшие всегда кудесили. Как-то петуха заморили сестра с подружкой. Его садили под кадку с курицей. Если выйдешь ты замуж, то они вместе из-под кадки идут к столу, а нет, то разбежатся в разные стороны. Это сестра гадала с подружкой Марусей. У Маруси вместе идут, а у Поли в разные стороны разбегаются. Так и вышло: Маруся вышла замуж, а Поля — нет» (М.П. Галкина, 1906).

Особые гадания существовали для невесты уже высватанной. Девушка уже знала, в какую семью она пойдет — на нее и гадала.

Имелось множество примет о будущей семейной жизни. Их хорошо помнит Мария Макаровна Лузянина (1905): «Если жених к невесте наряжухой придет — свадьба скоро. А вот коли теща его не узнает — то любви большой быть. Еще, если невеста к жениху пожалует — быть ей у свекрови, как у мачехи. Поэтому девки не часто наряжухами были. А еще обычай был: невесте в дом жениха тайно пробраться и спрятать куда-нибудь подальше яичко. Свекровь его не должна найти. Если день оно у жениха пролежит — свадьбе быть. А если найдут его — это уж невеста виновата — спрятала худо. А еще бабушка мне говорила, что, мол, ежели яичную скорлупу истолочь в Пасху, да половик в сенях настлать — все нежеланные женихи ходить от-

вадятся. Таких примет много было. А Пасха за полночь кончалась, напоследок каждый должен был пол-яйца съесть, а половинку через правое плечо кинуть. Это чтобы все хорошо было. Хорошие хозяева и собакам в конуру яички клали — чтоб те дом стерегли лучше! Ой, интересных примет много. Ну, к примеру, эти: если коням жениховским сахару к овсу подмешать или сыты вместо воды — к любви большой; если в тарелке еду оставлять — брошенной быть, в зеркало смотреть да жевать — детей не иметь; дятла в Купавню видеть — трудиться много; крошки со стола рукой сгребать — к бедности; соседку не признать — к беде, ссоре. Да много еще, не упомнишь все-то. Так, если к случаю придется. Но приметы, я считаю, — дело серьезное».

О крестьянских приметах речь пойдет отдельно. Это действительно дело серьезное.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПРИМЕТЫ

Человек, не оглушенный внешними событиями, в ходе привычной размеренной жизни мог пристально и внимательно вглядываться в окружавшую его природу, людей, в самого себя. Круг примет, пословиц, поговорок чуть ли не у каждого крестьянина был свой, хотя имелся и общепризнанный ряд.

«У нас в доме были часы-ходики, а у многих соседей часов не было. Вставали по петушиному крику. Грамотных людей было очень мало. А ведь деревенская работа требовала сноровки. Все надо успеть вовремя, и старались увидеть изменения в погоде, от этого зависели и многие работы. Жили по приметам: если петух запел с вечера часов в десять — жди ненастье, если кошка спит на печи, спрятав мордочку, — к холоду; если сойдет с печи, ляжет на пол кверху мордой — к теплу; заскрипит дверь — будет холодно; если молодой

месяц лежит горбиком вниз — к ненастью, если стоит серпиком — ждут вёдро (М.С. Семенихина, 1909).

«Примет было очень много, по ним только и жили. Какое дело ни затевается — проверяется, а так ли по примете? Вот что вспоминается. Не сей пшеницы раньше дубового листа, так как в мае два холода живет: черемуха цветет и дуб распускается. Никольщина (22 мая). С Николы вешнего сади картофель. До Николы крепись — хоть разопнись, а с Николы живи не тужи. Коли на Федота (31 мая) на дубу макушка с опушкой, будешь мерять овес кадушкой. Жди ненастья, если утром роса не выпала, ветра нет, а лес шумит, молоко в подойнике пенится, лошадь трясет головой и храпит, стадо к вечеру разревелось. Весенний дождь из тучки, осенний — из ясени. В лесу много рябины — осень дождливая, мало — сухая. Первый снег выпадает за 40 дней до зимы. Темные святки — молочные коровы, светлые святки — ноские куры. Пять раз в год солнце играет: на Рождество, Богоявление, Благовещенье, Светлое воскресенье и в Иванов день. На Василия — свиную голову на стол. Пришли Евдокеи — мужику затеи: соху точить, борону чинить. Авдотья-весновка — весну снаряжает. С гор вода, а рыба со стану. Ясное утро на Юрья — ранний сев, ясный вечер — поздний. После Егорья бывали 12 морозов» (К.П. Михеева, 1921).

Примечали малейшие изменения в природе, хозяйстве, своем доме, соседях и родственниках, самих себе. «Первый гром при северном ветре — к холодной весне, при восточном — к сухой и теплой, при западном — к мокрой, при южном — к теплой. Из березы течет много сока — к дождливому лету. Птицы вьют гнездо на солнечной стороне — к холодному лету. Март сухой, да мокрый май — будет каша и каравай. Гром в сентябре предвещает теплую осень. Быть зиме суро-

вой, коли птица дружно в отлет пошла. Снег глубок — хлеб хорош. И так далее.

Существуют приметы и бытового характера. Кто скоро засыпает — недолго проживет. Не играй ножом — ссора будет. Локоть чешется — к горю. Затылок чешется — к печали. Споткнуться — кто-то бранью помянул. Когда сядешь есть, не закрыв книгу, — заешь память. Лоб чешется — спесивому кланяться. Отрыжка — душа с Богом беседует. Правый глаз чешется — к смеху, левый — к слезам. Примет множество, они и сейчас бытуют» (К.К. Салтыкова, 1912).

Человек представлялся сам себе кладезем прогнозов на близкое и дальнее будущее. То есть каждый был для себя лучшим пророком. Такое внимание к своему внутреннему голосу, неосознанным жестам, очень полезно. Человек не заглушал свою интуицию, а чутко к ней прислушивался. Все это сейчас нам кажется нелепым атавизмом, но здесь много здравого смысла. Наблюдай за собой сам!

А.П. Гончарова (1921): «Глаз чешешь — реветь; локоть чешешь — на новом месте спать; бровь — с родным встречаться; правая рука — здороваться; левая — деньги считать; перед ненастьем у старых кости и ноги болят; икает — кто-то вспоминает; нос чешется — к покойнику или вино пить; сера в ушах кипит — к холоду; чих — правду говорят; губы чешутся — к гостинцу; ладонь горит — кого-нибудь бить; девка локоть ушибет — неженатый парень вспоминает; в ушах звенит — кто-то лихом поминает; через правый бок не плюют — там ангел; плюй через левое плечо — дьявол там; на дорогу не шьют; на себе не шьют; коль перешагнул порог — не возвращайся; если поперхнешься — кто-то торопится».

Не имеющий чуткого уха и приметливого глаза был обречен на прозябание и неуспех. Природу надо было

чувствовать сердцем. Только в этом случае крестьянин мог выжить.

КЛАДЫ

Поверья, слухи, легенды жили в узком деревенском мирке долгие десятилетия, не вытесняемые волнами новой информации. Одни из самых устойчивых — слухи и предания о кладах. В них, как в капле воды, отразились все особенности крестьянской психологии, мировосприятия. Доверчивость и боязливость, детская запуганность и отчаянная отвага — чего только нет в рассказах о кладах. Вместе с тем они очень типичны. Основные элементы, как правило, повторяются. Мир чудес, мифов, сказок и приключений входил в монотонную крестьянскую жизнь с легендами о кладах. Словно приоткрывалась дверца в совсем иную жизнь, желанную и страшноватую, которая пугала и манила одновременно. Любили рассказывать о кладах в русской деревне. Невдалеке от каждой деревни была или заветная старая сосна, или городище, или тайная пещера, куда вход только по зароку. Чудеса были рядом. Вспоминает Анна Васильевна Зубкова (1918): «На перекрестке улиц Луговая и Городищинска в Первомайском стояла часовня. В 12 часов ночи якобы выходил петух и ходил вокруг этой часовни и никого не подпускал во внеурочный час. Петух этот охранял захороненный в этой часовне клад. Кто подойдет — этот петух налетал и клевал в голову. Все боялись этой часовни, никогда не ходили мимо этого места: даже ребята не бегали туда играть. Это рассказывала нам наша мать, говорила: “Не ходите туда играть”, — никогда мы туда и не ходили.

В Первомайском есть курган. Все ровное место — и вздымается гора. На нем растут елки и кедры. На этом

кургане всегда было сыро, иначе он называется Городище. На Городище всегда было холодно. На вершине его стояла часовня, в ней молебны правили, потом ее снесли и построили вышку прыгать с парашютом. И вот говорили, что есть в кургане этом потайная дверь, тайный ход, и караулит его нечистая сила. И уже в 8-9 часов боялись ходить мимо этого места, особенно зимой.

Клады не молчали, они манили людей к себе. Считалось, что птица или какое-то животное, стерегущее клад, выходят ночью на поверхность земли. Поймай его — и клад твой. Охотников было немало. Мария Васильевна Пикова (1914) рассказывает: «О кладах в деревне тоже говорили. Вот, дескать, на дороге от Мокрецей до Каринки бегает желтая красивенькая курочка. Если пойдешь по той дороге в 12 часов, то ее непременно увидишь. Кто поймает ее, узнает место, где зарыт клад. Многие видели ту курочку, но поймать боялись, думали, что она превратится в страшное лесное животное. Боялись. Потом по той дороге ездить перестали, и курочка пропала. На городище, говорят, был клад. Все его искали, перерыли всю сопку, но клада не нашли. Многим он казался».

Несомненным признаком клада считали огонь, выходящий ночью на поверхность земли. Клады, как видим, тесно связаны с ночью, ночным миром. «О кладах я чего слыхала. Напротив нашей деревни стояла деревня Чутай. На Чутайской горе каждую ночь горел огонь. Казалось только летом и все на одном месте. Говорили, что там клад зарыт. Как подходили к горе, огонь потухал. Сколько ни копали, так ничего и не нашли» (А.И. Петрова, 1916).

В местах, населенных русскими позднее, колонизированных, считалось, что клады, уходя, зарывали коренные жители. На Вятке из всех деревьев наиболее

кладоносной считалась сосна. «У нас за огородом растет сосна. Так под ней, говорили, зарыт клад. Деревни-то когда не было, первыми сюда приехали марийцы, так вот они клады-то прятали. Этот клад казался. Люди видели, как под сосной как будто свечка горит. А дедушка рассказывал, что он там коня золотого видел. Красивый и весь золотом светится. Еще рассказывали, как небо открывается. Я сама-то ни разу ничего этого не видывала. На небе появляется точка, она увеличивается и занимает полнеба. Говорят, кто три раза такое увидит, будет счастливым. Другие говорят, что небо открывается перед концом света» (П.С. Медведева, 1906).

Клады выходили из земли при определенных условиях выполнения зарока. Иногда зарок бывал тяжек. «Один житель Березовских Починок услышал разговор, что на берегу реки Камы зарыт клад с заветом "душу отдать", то есть убить человека, тогда клад легко найдешь. Этот житель решил убить старушку, которая скоро умрет. Подкараулил старушку, переходящую бродом речку Каму, в церковь в село Георгиево шла, и утопил ее в реке. Долго потом копался с лопатой на берегу, клад не нашел» (В.П. Сюткин, 1903).

Использовать клад на благое дело считалось невозможным. Трудно было его достать — страшно его и расходовать. Кладов боялись — считалось, что они притягивают несчастья.

А вот что рассказывает Анна Семеновна Гонцова (1912): «Про клад один случай помню. У нас на лугу стояла сосна толстая. Возле нее будто белая баба. Поверье было, если баба будет в положении и ей худо станет, надо к сосне идти — клад будет. Как-то одной бабе худо стало, мужик ее и повел к сосне. Она там родила и — правда —клад вышел — горшочек. Потом милиция приезжала: мужик тот на сплаву утонул. Баба им

горшочек и выставила. А там все золото, как нынешние две копейки. А куда потом это золото дели, не знаю. А сосну потом сожгли зачем-то».

По воспоминаниям старожилов, клады порой стерегла и охраняла от людского глаза ночная нечистая сила. Уводила кладоискателей в другую сторону, переносила клады из опасного места. Особенно часто водила она людей по ночному лесу. Степан Андреевич Пыхтеев (1922) рассказывает: «С лешим надо дружить. Он, если повезет, клад найти поможет. Укажет или еще как. Но бывали сельчане, которым он помогал найти. А кладов у нас немало находили. И банды, бывало, схороняли награбленное, и с давних времен оставались, или еще откуда. Рассказывали, мужик с Погорного домой по лесу пьяный шел. И заснул ненароком. Просыпается, а перед ним мальчик маленький стоит, белый такой и светится, голенький. Пошел мужик за ним. Долго шел, по корягам, по болотам. А мальчик идет и не оглядывается. Шел, шел и как бы в землю увязать начал. И совсем пропал. Испугался мужик, утром, когда рассвело, пришел он домой и рассказал все. Собрались мужики, взяли лопаты и пошли туда. Далековато то место было. Копать начали. Золота они тогда не нашли, но откопали немалую гору скелетов. Старые, гнилые, ломаные. Великое множество их там было. Неведомо, откуда они там взялись в глуши. Вот сейчас никто не верит ни в леших, ни в чертей, и в Бога люди теперь не верят. Нет для них ничего святого».

Земля была самой надежной сберкассой для мужика, куда он и прятал свои сбережения.

Об огоньке, светящемся по ночам над кладом, вспоминают очень многие рассказчики. Мария Андреевна Колбина (1916): «Богатые мужики имели золото и ставили в поле, копали ямы и закладывали золото в чаны, шкатулки. Клад этот завещали кому-нибудь из род-

ных. А выходил этот клад, словно свечушка горит. Если этот клад завещен тебе, то видишь огонек и сможешь отыскать. А те, на кого он не был завещен, огонек не видят».

Вторая верная примета клада — мальчик, человек или конь, ведущий очевидца к кладу, и там внезапно пропадающий. А.Я. Шутова (1915, дер. Угор): «Слыхали о кладах. Мужики искали клад под елочкой, говорили, что там зарыт. Но ничего не нашли. Есть такая примета, что если увидишь, будто лампочка светит, здесь и зарыт клад. Сестра мне рассказывала, что, когда она возвращалась домой, перед ней мальчик появился и побежал. Она за ним, а он упал у пня и будто зарылся. Когда она подбежала, то никого не нашла. Бабы говорили, что ей надо было очуркать, и клад бы появился. Говорили, что в одном месте видели, как каталась чурка, надо было очуркать, клад бы появился».

Но если были среди крестьян любители поискать клад, то были и крестьяне, панически боявшиеся найденного клада. М.Г. Огородова (1921) рассказывает: «К одной семье под окна приходила лошадь, ржала, кушать просила, они ее пустили в ограду, она все равно ржет. Они решили ее выгнать, хлестнули, а она и распалась, а внутри — клад, одно золото. Видимо, когда стали раскулачивать-то, вот богачи, когда уезжали за границу, и заговорили с помощью колдуна лошадь, в которой золото, на Ивана. А прошло 2-3 года, вот клад к ним в ограду и закатился. Иван же не хотел принять золота, говорил, кому клад, тому яд, меня посадят, скажут, что я с богачом заодно».

Советская власть шутить не любила. Масса кладов была закопана раскулаченными крестьянами перед их арестом и ссылкой. Они надеялись вернуться домой. У.А. Федорова (1906): «Ранешны клады — это колды люди, которы убегали, их раскулачивали, они клады

закопывали. Серебра большую чарушу Прокопьиха Щироковска закопала, дак веть сын не мог найти. Помесье раскопывали, все равно не нашли. Умерла, так не сказала… На Мамаевшине говорили, что клад искали; где закопан, не могли найти. А после трактора-то ходили, дак, как ни старались, не нашли. У нас дед Макар закопывал, дескать говорили, что нашли, как лишали-то их. Посуду закопывал, дак потом земля-то осела, все и сломалось…

Это уж чуть не 40 лет назад, в Раменье событие было. Ученица ушла на речку, а тут большие-большие берега. Весной-то вода обмыла берега, под сосной отмыла, а девчушка сначала денежку нашла. Она учителям сказала, потом раскопали и нашли много золота. Все его сдали и отремонтировали школу».

Нередко и в советское время человек, нашедший клад, ничего не получал от своей находки. Местное начальство умело пользовалось наивностью крестьян в этих делах. А.П. Кашина (1920): «Клады-то закопывали. Дедушка наш тоже клад находил. Нашел он бурак золота под сенями. Отдал он этот клад в сельсовет, и отдали ему 20 рублей, а сами себе дома построили».

В местах поближе к Уралу, горным заводам легенды и сказки о кладах были особенно распространены и любимы в вечерних рассказах как взрослыми, так и несмышлеными ребятами. В них появлялось много красивостей, неслыханных ужасов и отчаянной удали молодецкой. Такие сказки сохраняли, как правило, связь с окрестностями села. Рассказчики стремились сделать их пострашнее и незамысловатее. Типичный пример такой вечерней сказки о кладах — рассказ Евгения Николаевича Осколкова (1926) из заводского поселка Кирс: «Народ был очень суеверный и всего этого боялся. На пруду есть Отрывной Носок (небольшой островок, соединенный с берегом полоской земли, которую

в период паводка заливает), там до сих пор люди изредка призраки видят. И вот один рабочий услышал, что там клад зарыт, но его можно взять, лишь Черную книгу почитав. И вот он нашел старика, у которого та книга была, по легенде там была избушка разбойников полуподвальная на речке Кире. Старик тот показал, где надо рыть. И вот летом в ночь он начал копать. Вылез из ямы покурить, глядь — а земля обратно сыплется, как вода, как раз и туда. А поскольку он твердо до конца решил дойти, то он нашел в книге заклинание, и земля больше не осыпалась. Вот докопался до сруба, но бревно прогнило, и он провалился сквозь сгнивший сруб, а книгу ту наверху забыл. Опомнившись, постарался он выбраться обратно, но отверстие исчезло, и вокруг была тьма кромешная. И стал он искать выход, шарить вдоль стен, и в одном месте он нашел в нише трут, огниво, свечку и кипу бумаг. Добыл он огонь и огляделся. Был он в маленьком помещении, и видны были лишь прогнившие доски и бревна. А в бумагах он на листе прочитал: «Нашел одно, найди другое». Поискал еще он в нише и нашел пистолет кремниевый и кинжал. И на бумагах сразу еще буквы появились, и было написано, что надо встать спиной к тайнику и ударить кинжалом в третье бревно, стена рухнет и откроется другое помещение, надо снять с сундука убитую девушку и под ней будет то, что он искал. Парень был неробкого десятка, но от этого волосы у него заходили дыбом. Но выбираться надо, и вот вложил он в удар кинжала всю силу, обрушил перегородку и пролетел по инерции в другое помещение, и руки его попали в скелет. А на бумаге-то было написано, что клад искать надо. Стал он стаскивать скелет в сторону, но скелет не двигался. Страх сковал его руки, ноги. Чувствуя, что попытки бесполезны, перебрался он в то помещение, чтобы выбраться, ему уже не до клада было, и

внимательно дочитал до конца, что жизнь его будет теплиться до тех пор, пока горит свеча, но так как он не из робкого десятка, смел и силен, и сможет выполнить одно поручение, то жив останется. А надо всего лишь встать в голове у женщины и перебирая волосы, найти тот, который на ощупь твердый, а на цвет зеленый, вырвать его и порвать, и в тот момент, когда потухнет свечка, выстрелить в призрака. У него хватило силы и воли сделать все это, и какой-то странной силой его выбросило вверх, от страшного напряжения он потерял сознание. Придя в себя, он увидел, что находится в своей яме, что скоро наступит рассвет, и рядом валялись лопата, топор и лом. Лом был скручен в узел, на топоре были огромные зазубрины, а лопата была смята в гармошку. Книга исчезла. Там эту яму можно найти, и себя можно испытать и сейчас. Таких легенд было много, и пострашнее этой».

Клады. Без нечистой силы здесь дело не обходится. Но нечистая сила действует и во многих других областях жизни.

ПОВЕРЬЯ, СУЕВЕРИЯ И ЗНАХАРИ

Кроме реально мира (мира дня), человека окружал мир ирреальный (ночной), очень густонаселенный домовыми, лешими, русалками и прочей нечистью. Связующим звеном между этими двумя мирами служили ведьмы, колдуны, знахари, гадалки. Вера человека была чиста, цельна и проста, а потому очень прочна.

«Верили в приметы, всему верили: в диконьких, и в домовых, и в огневых — во всех. Даже в черта. Только раз и гадала. Шли из города с базару, решили зайти к старухе погадать. Нагадала она мне, что я выйду за вдовца, да еще за инвалида. И точно: вышла за вдовца, а на войне он ногу потерял» (Л.В. Г-ова, 1922).

Люди довольно много и часто гадали сами. Не редки рассказы, когда сбывались самые невероятные предсказания. «Я, вообще-то, не верю во все приметы, ворожбу, но случай один расскажу. Это было еще на войне, как раз были святки. Один узбек говорит, что он умеет гадать, только нужно найти обязательно фарфоровое блюдечко. Мы тогда обошли всю деревню, но все-таки нашли. Зашли в старую избу втроем. Он на бумаге написал алфавит, «да», «нет», «здравствуй», «до свидания» и еще что-то, уже не помню. И вот вызвал дух Суворова. И блюдце у нас запрыгало и все показывало правильно, мы спрашивали, как зовут наших матерей и так далее. Спросили, когда окончится война. Всех интересовало, когда мы умрем, и моему другу показало, что через 3 дня. Мы, конечно, заволновались и превратили все это в шутку, как будто оно (блюдце) показывало все неправильно. Самое интересное, что моего друга через 3 дня убило. Вот какая произошла история» (А.С. Тубаев, 1923).

Нечистая сила обычно вредила человеку, но с ней можно было и договориться, чтобы она начала кому-то помогать: «Примет было много, народ верил. Еще до революции рабочий Песковского завода Чувашов Михаил Васильевич в пьяном виде в бане голову засунул в задвижку печи, обратно голова не выходит — с перепугу закричал благим матом. Соседи помогли освободить голову. Чувашов был удачливый охотник. Люди говорили, что он знается с сатаной, сатана ему помогает, а в бане за что-то наказала» (В.П. Сюткин, 1923).

С нечистой силой знались гадалки и знахари. Им она помогала, хотя и требовала взаимных услуг. Память об искусных гадалках, дальних предсказаниях жила в народе долго. Некоторые предсказания (на манер Нострадамуса) затрагивали очень дальнее буду-

щее. Это не могло не волновать очевидцев гадания. Прикидывая, примеряя свою жизнь к данным в далекой молодости пророчествам, они с удивлением отмечают, что сбылось очень многое. Феклиния Семеновна Коновалова (1921), родом из деревни Спасибки поражается: «Со мной на протезном заводе работала одна молодая женщина, Татьяной звали. Красивая такая женщина. Муж у нее в театре работал, она и сама театр любила. Вот как-то раз сидели мы с девчатами, и она ко мне пристала, давай погадаю, все за руку хватается. А я ей не даю, говорю, что, мол, за гадалка выискалась, а сама боюсь, нагадает какой-нибудь ерунды, да и накаркает. Потом у нас уж чуть до ругачки не дошло, ну я и говорю, гадай, мол. Вот начала она мне говорить, что будет у меня 2 сына, один будет летчик, а другой — моряк.

А я смеялась, думаю, что за сыновья, я тогда еще и не замужем была. А она мне дальше говорит «Будет жизнь чем дальше, тем хуже. Будет у тебя и у всех денег очень мною, а купить много нечего на них будет. Карточки будут. Кино в каждом доме». Я ей совсем не верила, а она ведь мне всю жизнь тогда рассказала. Имена всех правителей назвала. Я только Брежнева запомнила. Когда о нем услышала, то ее вспомнила. А говорила она еще, что когда жить плохо будем, то потом война вскоре будет, но не на нашей территории. Погибнет у меня один сын, который — не помню. Вот так я это вспомнила, то пошла ее искать. Хоть и много лет прошло, нашла. Она меня узнала, но ничего не сказала, теперь, говорит, не может ничего по мне сказать. В больнице она лежала, там и умерла. Страшно умирала, вся палата ушла. А под матрасом у нее колоду карт нашли. Вот теперь и подумаешь, надо ли не верить-то. А детей у нее не было. Никому она не передала своего уменья. Наперед только помню, что в войне победят

наши, но другие, а что она этим хотела сказать, не знаю. А потом все закончится и мои правнуки будут последние. Не знаю, я уже не увижу этого, ну и слава Богу».

Гадания были тесно связаны с видениями. Человек, настроившись на гадание, видел своеобразный шифр, образный ключ, который надо было еще разгадать. Мария Макаровна Лузянина (1905) вспоминает из своей жизни: «Я ведь до 20 годов все темноты боялась. Однажды, дай Бог память, 17 мне было, собрались мы у церкви гадать. Ну, на улице ни души, темнотища, тишина. И вдруг — шаги. Все во мне вздрогнуло сразу, душа в пятки ушла — стою не шевельнусь. Появляются три мужика, с лопатами. А на них глина сырая. Господь, за что же? Ведь это к покойнику, ясно сразу. Откуда ж зимой глина возьмется? Ну, я никому не сказала ничего. Сама жду каждый день, что кто-нибудь помрет. Ночью слушаю хожу, все ли дышат. Симу никуда не отпускаю — боюсь! И наконец свершило! Через 4 дня ровно бабушка семидесятилетняя померла, вот ведь как вышло. А я на похоронах в себя никак не приду — напророчила! А еще мне, прости, Господи, любились поминки. Малая была, не понимала, что к чему. Люди придут, плачут, про покойничка хорошее все вспомнят. Песни грустные поют. А потом к концу и свои темы заведут. Я сижу, слушаю. Деревенские-то сплетни интересны!»

Перед крупными событиями в жизни человека или его семьи зачастую бывали вещие знамения. В основном они касались смерти близких людей А.М. Кузнецова (1919): «Про привидения говорили. Говорили: “Поманило” — показалось, мол, что-то. Как перед покойником казалось — доски брякают, гвозди заколачивают. Отец рассказывал: шел он как-то на овин мимо дома одной молодой женщины и такое услышал:

будто все доски развалились. На следующее утро она померла».

Сам характер многих работ предрасполагал к видениям. «Старые люди недосыпали, поэтому им млело часто. Пряли, сидели с лучиной, то дверь откроется, кто-то ходит в стылых лаптях, то скажет чего-нибудь — это все казалось в сонном виде» (А.Е. Боброва, 1923).

А как часто в войну вдовам казались погибшие мужья! Мир народных сказаний о призраках обширен. То, что реальный мир густо населен всякого рода «чертовщиной», ни у кого сомнений не вызывало. Раз есть святость, то должна быть и нечисть, обратная, так сказать, сторона медали.

«И приметы и колдовство разное — это все было. Мама у меня верующая была, так она много такого знала. Вот, например, рассказывала она такой случай. В одной деревне в семье умерла мать, и осталось двое детей. И поселилось в их доме какое-то привидение невидимое. Когда дети спят, у них то кто-то подушку вытащит, то одеяло стащит, то вдруг ложка упадет, то стукнет кто-то. Однажды пришла в этот дом старая бабка, поглядела на все это и сказала: "Черт у вас, детки, поселился. Дайте ему работу, чтоб отстал. Забейте кол в реку, пусть заливает". Дети так и сделали, и черт перестал ходить» (В.В. Ерок, 1922).

Очень большое значение в повседневной жизни человека играли сны. «В сны верили. Например, если видишь во сне кровь, будет встреча с родными. Рыба снится — к прибыли; яйца — значит, кто-то явится; собака — к другу. В общем, в сновидения люди верили, придавали им большое значение» (С.И. К-ов, 1909).

Умели толковать и необычные, редкие сюжеты в сновидениях. В каждом селе были свои знатоки по снам. К ним и обращались при затруднении. «Надысь

сон видела. Иду это я по ввозу, а навстречу верховой почтальон, и что интересно, сам в седле, а лошадь его под хомутом идет. К письму, говорят люди, а хомут — к сердечной тяжести или болезни» (В.А. Л-ова, 1904).

Большое значение придавали явлению в снах родителей. Пожилые люди в этом отношении более суеверны и чувствительны. Семен Андреевич Пыхтеев (1922) делится сокровенным: «Отца я очень любил и сейчас, по сей день, помню его. Часто он являлся ко мне во сне. Являлся таким, каким я его помню пацаном. Является и говорит, зовет, значит. Иногда сказки рассказывает: одни я знаю, другие нет. Зовет, сильно зовет, помру, наверное, скоро. Да и хватит, пожил я со свое. С малолетства я с отцом. Годков с пяти-семи таскался я за ним по соседям, в других деревнях, бывал в Вятке. Плотничали».

Кроме гадалок, с темными силами были связаны и многочисленные знахари и колдуны. Перед их ворожбой человек был беззащитен. Но они же могли и вылечить человека от болезни, снять насланную кем-то порчу.

Считалось, что «испортить» человека сглазом, наговором, колдовством нетрудно. В первую очередь от такого рода порчи и лечили имевшиеся в каждом селе знахари. «Раньше много было знахарок, и колдуньи были. Больниц было мало. Поэтому, если кто заболеет, приводили знахарку. Уроки (уроченье) признавали — вот их знахари и лечили. Женщины всегда обращались к знахаркам. Рожали, в основном, дома в бане или на печи. Роды принимали бабки, их еще звали повитухами» (А.Н. Скочилов, 1911).

«Верили в сглаз на детей и красивых девок. Черный глаз — злой. Кого сглазят — потом их ломало. Вроде бы ничего не болит и в то же время все болит. Ходили к бабкам, те их “меряли”. Лежит человек на животе, у

него сводят левую руку и правую руку, потом наоборот. Потом умывают заговоренной водой. К старухе носили младенца с паховой грыжей. Матери сказали: "Поставь одну ногу на стул", — и через нее три раза перебросили младенца. Затем из голбеца достала бабка березовое помело. Вынула прутик, сначала помешала, потом побила вицей — ребенок заревел. Нашептала на бутылку с молоком. Грыжа была размером с яйцо, и ее не стало» (Г.Т. Гонина, 1923).

Нередко такие повитухи были умелыми массажистками, вправляли вывихи. При тяжелом сельском труде такие люди были незаменимы. Очевидно, что из поколения в поколение мог передаваться природный дар к такого рода занятиям. А.А. Лысов (1924, дер. Балчуг): «Тетушка у меня роды принимала. Мать тоже знала какие-то слова, говорила. Ребенка приносили — ревет, и день и ночь ревет, и чё-то она нитку какую-то напрядет, потом замкнет без конца и без краю, и вот с головы к ножкам поводит, и чё-то все говорит, говорит, говорит. Потом возьмет эту нитку, скомкает. Дунет на нее три раза, и унесет на улицу. И куда она ее утыкала, не знаю. Вот и ребенок не ревел. Потом на улице увидит мать: «Ой, Анна, ребенок ведь как полено спит». Вот так вот. Взрослым пупы правила. Фельдшер не везде все умел. Вывихнут ногу или пальцы, приедут к Анне, маме моей. Она возьмет, мылом намылит, распарит ногу в горячей воде и начинает гладить. Чё-то счикает, и все — иди, больше нечего делать. Пуп правили, вот и сейчас говорят врачи, что, дескать мол, живот надо растирать, если болит что-то. Вот навоз наметывают, ведь очень тяжелая работа была. Приедут, умирают все. Она положит, живот разглаживает, разглаживает, со спины погладит, пошепчет чё-то, и все, пошел домой здоровый».

Лечили знахарки все, в том числе и самые обычные

болезни. Результат был разный, но считалось, что это уже зависело от авторитета семьи данной лекарки. «Слыхала я о том, что люди по злобе могут наслать на других порчу и болезни. Говорили, что и брата у меня испортили. Заболел он, увезли в больницу, признали дизентерию, не пускали к нему месяц. Выписали домой, ночку только и прожил. Потом папаша поехал к какому-то мужику, так он сказал, что кровь застыла. Бабушки у нас от испугу приговорами лечили. Раз Тася испугалась собаки, маленькая еще была. Мы молотили — она сидела на лавке. Упала, а собака-то к ней и подбежала. Заревела, вся почернела, а я-то как испугалась! Двенадцать раз к бабушке лутошкинской носила. Помогло. И Васю, после того как тонул, водила. В приметы верили, все соблюдали. Если хочешь быть всегда права, надо все делать с правой руки» (А.А. Пырегова, 1900).

Тайное знание передавалось в семьях по наследству, от матери к дочери. Если дочери не было, можно было передать свое искусство и постороннему человеку. Роль семейных традиций в народной медицине изучается явно недостаточно. Любая старая женщина, пусть в самой малой степени, врачевала свою семью. «Отношение к престарелой женщине было как к иконе, только на нее не молились, а почитали, уважали, несмотря ни на что». «Лечили раньше дедушки и бабушки. Если заболел ребенок или взрослый, к врачам не обращались — шли к знахаркам. Они что-то пошепчут да травушки дадут, так и боли отступают. Если заболеет девушка, даже в мыслях не допускали, чтобы обратиться к врачам, что люди скажут?» (С.И. К-ина, 1915).

В любой семье простейшие наговоры, заклинания старики употребляли сами в соответствующих случаях. Хотя надо отметить, что молодежь не всегда в них верила. «В чудеса, гадания, приметы мало кто верил.

Когда приехала к родителям мужа, мела в избе и нашла сухую ветку от веника, обмотанную ниткой с узелками. Спросила: «Что это такое. Свекровь сказала, что это у них колдуют так, если кто-нибудь болеет: как веничек сохнет, так и человек сох. Нужно ветку бросить за печь, чтобы она сгорела. И болезнь уйдет» (О.Н. Солодянкина, 1925).

Конечно, особым уважением и авторитетом пользовались настоящие мастера-знахари, умевшие излечивать и то, что было непосильно городским докторам. Мария Ивановна Сергеева (1910) вспоминает об одном таком лекаре: «Дедушка у нас как-то ногу сломал и кость раздробил. В больнице сказали — только отнимать надо. Он отказался. Отец ему лекаря привез. Он посмотрел ногу, выровнял и повязал белой ниткой. Говорил — не говорил, не знаю, нитку всю извязал на узелки и три маха сделал. Дед сразу уснул и 3 суток спал, и я, говорит, не только пошевелить ей боялся, взглянуть боялся. А через трое суток с обеих сторон хрящи стали расти, и он вставать стал с палкой. Через 2 недели снова лекарь приехал. Спросил, как он. Лекарь слепой был. Снова деду нитку повязал, чуть-чуть рукой погладил, и шишки как рукой сняло. У двоюродной сестры горб был. Ей 12 лет было, а она маленькая-маленькая была. Так он ей этой ниткой горб вылечил и она расти стала».

Отношение к искусным докторам было такой же смесью чувств удивления, уважения и страха перед неведомым и непонятным мастерством, что и в отношении искусного знахаря. Вот прелюбопытный документ — письмо излеченного крестьянина к врачу-хирургу в январе 1929 года. Стиль и орфография сохранены: «По резанью олерачь дохтору Семену Оханастевичу Шушикову “Многочелебный Семен Оханасиевич Шушиков чувственно благодарю вас за все удовольствие кое

от вас получил и молю господь бога за ваше здоровье 8 годов прошло, как вы меня операчили. Отрезали слепую кишку. Теперь я чувствую такой простор в брюхе, ем горячие шаньги, говядину и хоть бы що. Ето хочу обратить к вашей милости так как вы и по настоящее время все вынимайте человеческие порочья и негодности. Вот у моего братца бы вырезать всю внутренну организацию, она у него совсем довелась. Он лежит 8 месяцев. Ваша милость допустите койку. Чтобы не возить ото в Вятку. Повезет жена, а сами знаете женщины сосуд неразумный, что ведро погано. Ничего не смыслит потому и пишу до погры. Зовут его Семен Митроевич Омучин. Прямо вырежите все чиво сгнило. Я услышал, что ваша сподручница Агния Михайловна при вас находится и настолько это редкий человек, пошли ей господь добра, здоровья. Ужо больно она неравнодушна ко всем больным. Зделайте божескую милость примите брата на койку».

Знахарство порой было связано с Божьей помощью, проникнуто религиозным чувством. М.С. Галкина (1906) рассказывает: «Раньше были и колдовки-лекари. В больницу не ходили, а ходили к ним, и излечивали болезни. У нас в деревне была бабушка-лекарка. У нее был крестик, и она нальет в чашку воды и крестиком эдак перекрестит воду и смотрит. Если выздоровеет, значит вода скажет, что выздоровеет. И это была правда. Относились к ней очень почтенно, так как она помогала людям, не было ни врачей, ни фельдшеров и относились к ней, как к врачу».

ДОМОВЫЕ, ЛЕШИЕ И КОЛДУНЫ

Буйная людская фантазия и жизнь среди природы (где, действительно, много странного и таинственного) способствовали всевозможным слухам и рассказам о

нечистой силе. Нам трудно сегодня представить, как жизнь на грани голода расцвечивает людскую фантазию. Любопытно суждение об этом А.В. Мельчаковой (1911): « В чертей, леших верили. Ой как верили! И раньше еще на перекресток дорог ходили. Бедные-то люди и в колхозы верили. Если ничего нет — так во что хошь поверишь. У кого плохо-то было — тот верил во все».

В каждом селе были свои устойчивые слухи и видения, местные домовые и лешие. Отметим вновь, что молодежь всегда была скептична к слухам. Е.В. Маклакова (1914) помнит: «Раньше часто говорили, что тут что-то кажется, там что-то кажется. А еще ходили слухи, что в лесу, у села Буйска, все на одном и том же месте дедушка кажется с длинной-длинной бородой, сам высокий, руки и ноги длинные. Многие видели, но он с ними не разговаривал, а поворачивался и уходил, а то и убегал. Говорили очевидцы, что и тело у него волосатое. Но мы этому не верили».

Более остальных были распространены рассказы про домовых, живших почти в каждом доме. К ним относились доброжелательно, уважительно, зная, что они сохраняют жилье.

«В кажном доме есть домовой, он хозяин дома. Следит он за порядком в доме, а если хозяева нерадивые, он их наказывает. А в бане живет домовой-банник. Не любит он, когда в бане ночью моются или пьяные. С домовым старались не ссориться, так как считалось, что он может настроить вещи против их хозяев, устроить падеж скотины и прочее» (Н.Ф. Ситников, 1926).

Считая, что домовой вспыльчив и не любит шуток над собой, избегали рассердить его. В случае переезда хозяина из старого дома в новый в вятских деревнях одновременно с нехитрым скарбом перевозили и домового в старом изношенном лапте. У домового было

и определенное место обитания — между русской печкой и стеной, а также в подпечке. Старшие пугали домовым маленьких непослушных детей и считали его такой же необходимой частью домашнего обихода, как ухват или кадушку. Впрочем, в некоторых местностях домовые ночью, шлепая по избе, «шебаршали (по выражению очевидцев) и мешали людям спать. Их напускали по осержке в некоторые дома бабки-колдуньи. Избавлялись от таких докучливых домовых с помощью тех же бабок за определенную плату.

Порой домовые могли быть опасны. Александр Георгиевич Рокин (1908): «Кроме того, встречались всякие необъяснимые явления, которые или я пережил, или мне рассказывали отец и дед. Помню я один зимний вечер. Спать я лег раньше обыкновенного. Был тогда еще молодым. Оставили меня с сестрой дома хозяйничать. Покормил я скотину, убрался по хозяйству и лег спать. Не прошло и пяти минут, как я уже спал. Около 12 часов ночи сквозь сон слышу: кто-то подходит так тихо к моей кровати, даже слышно дыхание. Ну, я притаился. Вдруг кто-то легко и быстро вскочил на кровать и сел прямо на грудь. Я хотел кричать, но даже мой рот не отмылся, и язык не подумал пошевелиться. Я сразу догадался, что это «суседко». Несколько раз пробовал кричать, но мой рот был точно зашит, мои усилия остались бесполезными. Руки на шее все больше и больше сжимали мне горло. Я пробовал вставать, но это было бесполезно, и я отдался в руки судьбы. Вдруг проснулась моя сестра, видно, Бог ее разбудил, и зажгла свечу. Мне сразу стало легче, и совсем потом я очнулся. После этого случая, ложась спать, надеваю крест».

В вечерних семейных разговорах тема ночной темной силы занимала немалое место. Степан Андреевич Пыхтеев (1922) хорошо помнит, что домовые и лешие

были самыми обыденными явлениями из всей нечистой силы для крестьянина: «Часто говорили о чертях, леших, домовых. Ты веришь в них? Зря не веришь. В каждом доме они есть. Без домового в доме нельзя. Все, что в доме ни начнешь, без домового прахом пойдет. С домовым надо дружить. А черти с лешими в лесах живут. Леший — он хозяин леса. О нем много говорили. Человек ли пропадет, корова ли, во всем виноват леший. От лешего зависят ягоды, грибы. Леший — рачительный хозяин. Появляется он ночью. Многие наши видали его: небольшой, лохматый, глаза желтые горят, кричит громко. Этим людям плохого он ничего не делал».

Крестьянин жил лесом, поэтому бывал в нем часто. С лесом связана масса поверий, сказок, примет и легенд. Лешего видели своими глазами многие из опрошенных стариков крестьян. Матрена Афанасьевна Трушникова (1908) из дер. Щукино рассказывает: «Мы верили в различных духов, например, в лешего. Однажды с соседом Филиппом ходили в лес сдирать с ивы кору. И вдруг увидели человека небольшого роста в блестящей одежде, за плечами у него висел небольшой сундучок. И где этот дух проходил, то бушевал ветер, деревья сгибались. Мы очень испугались и заревели; и сразу же никого не стало, все исчезло».

Были большие любительницы рассказывать подобные истории детям. Знали они их неисчислимое множество. С.А. Попова (1910) помнит такую в своей деревне: «В деревне у нас бабка была. Соберет нас, бывало, и начнет рассказывать. О себе рассказывала, будто с ней было. Собрались они за ягодами в лес с девками. Только зашли за деревья, к ним старичок вышел с большущей бородой и зовет к себе. Все девки ему сказали, что боятся его, только одна девка, ее Манькой звали, сказала, что не боится, и подошла к нему. Взял

он ее за руку и пошел с ней, а девки все за ними. Идут дальше старик с Манькой, легко идут, а у нее грязь какая-то к ногам прилипает, а он идет и Маньку сухой ногой ведет. Зашли далеко. Он сказал нам: “Садитесь, а то пристали”. И повел ее дальше одну. Потом пришел и говорит нам: “Вон видите Маньку, она вам ягод принесет”. Смотрим, он ягод нам несет. Дал нам и Маньке ягод и отпустил нас домой. Пошли назад. Наши ноги вязнут, мы запинаемся — ягода рассыпается, а Манька идет — и ничего. Вывел он нас на тропинку и пошел назад, а у него волосы распущены, и шерстка, и хвост собачий, и одежды нету. Домой пришли, только у Маньки ягода, а у нас нет, вся рассыпалась. Прибежали домой к матери, рассказали ей все. Пришли в лес на то место, а там никого нет — почудилось все нам».

Леший мог принимать облик знакомых людей встретившемуся человеку. Он мог быть беспричинно добр или вредоносен, но относились к нему всегда с опаской. Вновь вспоминает А.Г. Рокин (1910): «Помню еще случай, который рассказал мне мой дед. Пошел он раз искать коров в лесу и встретил своего соседа. Сели курить. Сосед все смеется и так мало все говорит. Тут почему-то мой дед подумал, что «это, наверное, лешой» и прочитал шепотом молитву. Да воскреснет Бог и расточатся враги его. Сосед неожиданно вскочил с места и стал пятиться. Чем дальше отходил, тем больше становился ростом. Потом стал издавать страшный свист, хохот и визг, с такой силой, что гнулись деревья, как будто в бурю. Потом, говорит, все исчезло, и стало тихо-тихо, как будто ему “выключили” слух. Вот насчет этого случая я не знаю. Может, мой дед тут где-то и приврал, а, может, и правда все это было».

Были в округе места «нечистые», где чаще всего с людьми происходили какие-то неприятности. Люди

кружились, теряли дорогу, ходили до утра по кругу. Вот свидетельство о таком месте: «Как от Якименков к Малышковым ехати, тоже в одном месте у нас млело. Млело — значит тут сколько людей убивалося и все, и машины опрокидывались и все, тоже так же. Тятя говорит: я поехал из городу, дак к Тусковым заехал, к маминой-то родне, к тестю. Тестя-то уж не было живого, а вот эти братья-то у мамы живы. Там выпили, посидели все. Он сел, значит, на лошадь и поехал домой. Доехал, значит, до этого места. Поедет-поедет и опять, значит, заворачивает лошадь, и опять приедет обратно. Спрашивает: “Как это проехати-то к Малышковым? Дороги нет”. Ему отвечают: “Стоишь на пути, а спрашиваешь дорогу. Прямо едь”. Сколько ни ездил, все до утра дорогу искал. А видно, что тут леший дорогу перешел» (Л.В. С-ина, 1910).

Чудес было в деревенском миру много, но все они были крестьянские. Лешие могли вредить человеку, могли ему и помочь. Валентина Осиповна Медведева (1921, дер. Колбяки) сама встречалась с нечистой силой: «И в лешего верили, он коров утаскивал, водил людей по кругу, из-за него плутали в лесу. Рассказывали, в соседней деревне парень маленький пошел брату обед отнести, а ушел далеко, аш за семь километров на Молоканку. Его уш потеряли, спрашивали, как через речку-от таку глубокую перешел? А он говорит: “Меня дедушка перенес”, это, мол, как опять лешой. А еще случай: мать отругала сына и дочь маленьких, а они разобиделись и пошли по деревне, и пошли, и пошли, да так и не вернулись. Целу неделю искали их по лесу, потом кто-то набрел на них и видит: сидят они около елки по шею мхом укутанные. Их спрашивали: “Почему не отзывались на крики?” — а они говорят, мол, нам дедушка не велел. А по один раз вихорь страшной был, а мужик-от греб сено, кучи копнил, а кучи-то вихром

поднимало, мужик-от со злости сказал: “Я тебя, лешова, грабелищем!”, и вдруг мужика-то кверху подняло вихрем, а потом книзу бросило. Опять же лешой баловался. У мужика домовой жил, он все свалит, разложит и говорит хозяину: “Хлеба дай, ложку и каши”. Он кашу-от съел, а хлеб на пол бросил, все ругался. Мужик уш и в церкву ходил, не мог от него избавица. Как-то мать его заходит домой, а он с печи давай ее луком обкидывать, аш весь лук скидал...

Помню, пошла я белье на речку полоскать, а там на жердях сидит, ноги калачом, волосами обвешана, сидит моща. Я как взверещала, так ужас. Веришь, во век не забыть, это ведь кикимора. Было у нас, кикимор девкам сажали из-за парней. Дак те и мучались с ними всю жись.

Всяки чудеса встречались...»

Встречаются в рассказах стариков упоминания о русалках, хотя их не так много. В основном рассказывают случаи, когда кто-то из соседей видел русалку. Например, Анна Ивановна Петрова (1916) помнит такой эпизод: «А выдумки-то какие? Вот мне Иван Савватеич рассказывал. Пошел на луга драть лыко на лапти, к озеру подходит, а на берегу девушка сидит и волосы пальцами расчесывает. Он смотрел, стоял долго, а потом кашлянул. Русалка нырнула в воду, а озеро раскололось пополам. С тех пор в этом озере никто не купался, все боялись, что русалка утащит. Мамин брат еще рассказывал. Он ехал из Малмыжа домой, один, сани были пустые. Лошадь остановилась и не стала идти дальше. Дядя слез с саней, посмотрел в кольцо у дуги. В санях сидел черт. Он выругался и перекрестился. Черт исчез, а лошадь понеслась, дядя чуть успел в сани заскочить».

Стремление нечистой силы заманить к себе простого человека, загубить его жизнь отчетливо видно в сле-

дующем рассказе: «Сказывали бабы и про русалок. Ехал-де однажды мужик с нашего села (из соседнего) поздно вечером с базара, а ехал-то по берегу. Домой торопился. Смотрит, а в метрах пяти от него на камне, есть такой большой камень под горкой у нас, сидит молодушка, красоты неписанной. Сидит и слезы льет. Увидела она мужика-то и давай петь. Мужик, как музыку услышал, забыл и жену, и детей. И вдруг исчезла девка-то, мужик очнулся, домой пришел, а все про ту девку думает. Зачах весь, а какой работник был! Не выдержал, пошел к реке и утопился. А молодушка-то не иначе русалкой была. Вот ведь какие дела. Много чудес-то люди рассказывали. Я уж теперича и не помню» (А.Т. Чекмарева, 1912, дер. Рыбная Ватога).

Не так часты упоминания о ведьмах. Вот очень типичный рассказ: «Мать мне рассказывала. Баня была у реки. Ушли туда мыться три женщины. Вымылись они, начали одеваться — вдруг дверь открывается, заходит чертовка с распущенными волосами, стала их колоть огромным железным гребнем с длинными-длинными зубьями. Женщины страшно испугались, в панику впали, кричат, а голосу нет, как будто онемели, некому на помощь придти. А ведьма смеется, глазищи черные, страшные — жуть. Что делать? Стали эти женщины молиться, колдунья исчезла. Так и боялись этой ведьмы с железным гребнем» (Е.Т. Михеева, 1920, дер. Коршуны).

Любопытно, что многие крестьяне за всю свою жизнь ни разу не встречались с нечистой силой, но хорошо ее представляют и знают по рассказам соседей-очевидцев. Характерен рассказ М.И. Х-иной (1909): «И поверий у нас всяких много ходило. Сама никогда такого не видела, а слыхать слыхала. Переезжали мужики на лошадях однажды реку. А из реки женщина вышла и посмотрела на них. Как ни стегали лошадь, а

все на месте стоит, и пока не перекрестились, да не помолись, лошади так и стояли».

Были люди не колдуны и не знахари, которые чем-то полюбились нечистой силе и были с ней в приятельских отношениях, получая необходимую помощь. Е.И. Старикова (1911) помнит о таком случае: «Верили в попа. Говорили про лешего. У Серьгиных был Филипка — знался с лешими. Позвал он одного товарища в лес, дернул за сук, и из дерева дом появился, где лешие живут. Стали лешие их самогонкой поить. Филипка пил, а товарищу говорит: не пей! Лешаки спрашивают: «Чего товарищ не пьет?» — «А он не хочет». Пошли домой, тот, который знается с лешаками, хлопнул дверью — и лесина стоит, а лешаков не видно».

И все-таки самыми распространенными явлениями нечистой силы, о которых говорит большинство опрошенных, были так называемые «огненные снопы». «Много говорили о снопах летающих, огненных. Если сноп такой в избу, в трубу влетит — покойника в доме не миновать. К нам один раз влетал, перед тем как тятеньке умереть. Влетел через печку и на полу искрами рассыпался. А один раз молодежь взяли и сноп подожгли и на длинную палку подцепили. Бабы как раз вечером шли, с гулянки, праздник был какой-то. Вот парни и давай размахивать снопом туда-сюда. А бабы испугались, завизжали и давай в разные стороны разбегаться, прятаться. Но потом парням сильно от мужиков попало, все в синяках ушли» (Е.И. Старикова, 1911).

В военные годы видения огненных снопов стали повсеместными. Они, как правило, являлись к вдовам, потерявшим своих мужей на фронте, и к женам, тоскующим по мужьям. «У женщины одной сын умер годовалый, а муж в это время в армии был. Вот она затосковала по сыну-то, и к ней стал огненный змей ле-

тать — бес. А ей-то казалось, что это Степан (муж). Он к ней приходил, она с ним разговаривала. Она свекору сказала, что к ней Степан придет. Ну вот, «пришел» он к ней. Она-то с ним разговаривает, а родные рядом стоят и никого не видят. Потом на окнах кресты осиновые сделали — перестал ходить. А потом этот «Степан» за ней на «Тройке» приехал. Она бросилась к нему во двор, ее свекор вовремя поймал — не пустил во двор-то. Псалтырь тогда прочитали, он и исчез, только по воротам что-то так стукнуло, так ворота и задрожали. Потом больше он не приходил. А скоро у нее муж вернулся из армии. Это все в самом деле было» (О.Е. Помелова, 1909).

И все же больше всего в деревне страшились и пугались колдовства. Это был ужас, смешанный с восхищением. Вот как безыскусно выразился об этом один старик: «В колдовство вроде бы и не верили. Просто доверяли чуду».

Правда, очень многие старожилы говорят о том, что в их деревнях колдунов вообще не было. Но страх перед мощью неведомых человеку сил был у всех. Поддерживали этот страх и различные необъяснимые происшествия, о которых долго толковали в округе. «Как отношусь к колдовству? Колдовство — не колдовство, а со мной случай был такой. Это было в 1929 году. Шли мы с вечерки и за деревней Малые Коряки, в Волчьем логу, метров за 150 до его конца, перед нами метров за 30 женщина выбежала нагая и через дорогу по воздуху перебежала. Красивая, волосы волной. Все видели» (А.Н. Мальшаков, 1914).

Немало слухов о тайной силе своих родных, знакомых распускали по деревне члены их семей, соседи. «У нас в деревне одна бабка жила, а рассказывал ее внук. Бывало скажет: “А у меня бабка умеет в свинью оборачиваться”, — и мы станем к нему приставать, как да

как. “А вот так, —говорит. — Пойдет она в баню в 12 часов ночи, перевернется через 12 ножей и вот станет свиньей”. И вот один раз вправду мы увидели своими глазами — бегает по деревне свинья. Мальчишки, которые постарше были, поймали эту свинью и обрезали уши. А потом сам Митька, внук этой бабки, говорил: “Ха-ха, бабка моя почему-то стала без ушей”. И с той поры больше никто в деревне свинью-оборотня не видел». (М.А. Ситников, 1906).

Колдунам была подвластна и природа. «Было колдовство. Был Антон — дак он ручьи останавливал. Придет, скажет: “Вода, не теки!” И не текет. Кому надо — ходили лечились к знахаркам, кому не надо — не ходили (А.Е. Рыкова, 1907).

Но чаще всего под колдовством люди понимали черное злое дело, вредное для окружающих. Поводы к нему находили в течение обычной жизни. «В нашей деревне был такой случай. Одна женщина из-за ревности «посадила» другой килу, от которой та и умерла. Но перед этим болела долго и мучительно. Виновница же смерти похвалялась и грозилась, что так поступит с каждым, кто станет у нее на дороге» (С.Н. Видякин, 1925).

Зависть, жадность, злоба, любовь, ревность — вот чувства, побуждавшие людей обращаться к колдунам. «У меня тетка была очень красивая. Так к ней соседка мужика приревновала — к колдунье пошла. А та тетушкин след заколдовала и верх-то с песку сняла. Так у тетушки ноги заболели. Знахари разные болезни лечили, а тетушке сразу сказали, что околдована и умрет. К знахарям хорошим со всех сторон приезжали. Жил у нас в деревне один, брал очень мало. Год или два всего назад умер. Лет ему 100 было. Лечил даже рак. Сначала его привлекали, а потом он начальника вылечил, и его больше не трогали. Он в бани водил» (Н.В. Метелева, 1927).

Всеобщий страх перед колдуном делал его авторитет в деревне непререкаемым, хотя и жил он, как правило, на отшибе и в дела деревни не вмешивался. «А колдуны разные были. Раньше по невесту ездили на лошадях, колокольца у каждой лошади вдевали, к дуге полотенца, скатерти вышитые с кружевом. А его, этого колдуна, на свадьбу не пригласили. Он вышел, обошел лошадей, они встали на задние ноги — передними машут в воздухе. А люди ползали по снегу на четвереньках, как волки, и выли. Он ушел домой, а они так и остались. Хозяин пошел к нему кланяться. Час, два. Кое-как укланял. Обошел, пошептал, похлопал — лошади встали, пошли. Взяли его с собой. Приехали к невесте. Хлопнул по плечу — невеста стала реветь, реветь, чуть не заревелась. Снова хлопнул по плечу, она перестала. У него толстая книга была, буквы черные. Он по книге все делал. Боялись его очень. Стол потрогает за уголки, так он плясал. Пил здорово! Умер, так язык был долгущий, высунулся, упихать некуда было — вот какой черти вытащили. У него дочь Наталья, она у него научилась. Прилечивала и отлечивала. С мужиком моим чего-то сделала, так он не на глаза меня и матерь. А раньше был не такой. Он уехал в Зуевку. Замуж не выходила, кого надо — того и прилечит к себе. Дом купила маленький, мужиков-то манила, вином поила. Бабы, видно, и убили ее» (М.Ф. Новоселова, 1911).

Отвести от человека злое колдовство, «уроченье», порчу мог другой, более сильный колдун или колдунья. О случае, происшедшем с ним, рассказывал Василий Константинович Шубин (1911): «Люди верили в колдовство. Думали, что один человек может приколдовать к другому. Знахарки лечили любую боль. Например, как лечили зубную боль: кору липы или соль лóжили на зуб. А детский испуг — мерили ниточками голову, завязывали узелки. Костоед лечили травами.

Но было такое: урочили людей. Зевнут на человека лихим глазом, и человек заболевает. Но другие снимали колдовство. В нашей деревне жили две колдуньи. Я про себя расскажу. Я был молодым, здоровым парнем, ничего у меня не болело. И вот однажды пришла ко мне одна эта колдунья и что-то сказала. Но я не понял ни одного ее слова. На следующий день мне стало нехорошо. Надо сказать, что в то время я шибко любил одну дивчину, и она меня любила. Видимо, кому-то было неугодно видеть нашу любовь. Ну так вот. Через несколько дней мне стало совсем плохо. Это было бы еще ничего, но было удивительно то, что девушка, которую я любил, вдруг перестала меня замечать, как будто мы никогда не знали друг друга. С каждым днем мне становилось все хуже и хуже, родные думали, что я помру. Тогда позвали вторую колдунью. Она пришла и что-то пошептала на до мной. Потом она сказала, что надо мной лежит заклятье, и что я через несколько дней умру. Спасти меня может только смерть той колдуньи. Я еле понимал смысл ее слов, но слово «смерть» я понял, испугался. Но колдунья улыбнулась и сказала, что все будет хорошо. На следующий день произошло нечто страшное и странное. Пастух загнал стадо в стойло. И вдруг бык, который до этого стоял смирно, стал злиться. Глаза его налились кровью, он рассвирепел вырвался из ограды и понесся по деревне. Он прибежал к дому первой колдуньи стал очень сильно реветь. А колдунья как раз была дома, она подошла к воротам. И тут бык рогами сорвал калитку с петель, ворвался в усадьбу и пригвоздил колдунью к стене избы. Потом постоял немного и пошел обратно. Пришел домой и тут же успокоился. Не знаю, чем это объяснить, но на следующий день я чувствовал себя лучше. А то ведь ходил, как слепой, света белого не видел, будто ночь. Потом пошел я на поправку. И девушка ко

мне пришла, говорила, как во сне все было. Потом жили мы хорошо. А почему колдунья была? А не знаю, почему. С ветром она зналась, с лесовым, разговаривала с ними. Вот потеряет человек что-нибудь, так она могла точно указать то место. Как-то на картах могла увидеть. Но люди верили и в колдовство и в приметы. Многие приметы веками сложены. Часто вспоминаю детство. Помню, в крестьянской избе спали на полатях. По вечерам на полатях рассказывали друг другу сказки. Очень много сказок рассказывали в сумерках, когда родители еще не пришли и не зажгли огня. Помню, топилась маленькая печка посреди избы, а от нее на стенах играли блики пламени. Жутко и страшно интересно. Рассказывали все больше страшные сказки».

Были сильные колдуны, слабые, были и колдуны поддельные, пользовавшиеся доверчивостью людей и умевшие делать некоторые трюки. А.А. Кожевников (1925) полагает: «Колдовства, конечно, боялись. Были люди хитрые, умели подстроить. Например, мою тетю сватали, намечалась уже и свадьба, всех пригласили, а была в деревне женщина, ее и забыли. Женщина эта считалась колдуньей. Ну она и думает: “Ладно, я вам устрою!” Пришла к дому, машет руками, бормочет, ходит по двору и бегает по сенкам. Сваты должны ехать домой, сели в сани, возница понукает лошадь, а она не идет, а Марья наплясывает. Ведь пока не поклонились в пояс, да не напоили и не извинились, она не “отпускала” лошадей. А потом пошла к воротам, взяла что-то из-за обшива, оказалось кусок медвежьего сала, а лошади чуют, боятся и не едут. Хитрые были люди!»

Ночной мир, мир нечистой силы оживал вечером в сказках, рассказах, разговорах. В распорядке дня крестьянской семьи час такого рода рассказов занимал особое место. «Как начнет темнаться, так все ложи-

лись на полати. Света не было. А керосина мало и дорог. Сказки все рассказывали часа 2-3, потом лучину зажигали, ужинали, потом в темноте день обсуждали. Сказок-то было много, да я уж не помню» (Н.В. Метелева, 1927).

В крестьянской усадьбе были места, излюбленные нечистой силой (баня, подполье), места, недоступные для нее (печь, полати). Сказочниками в деревнях были чаще всего одинокие, много чего повидавшие старики. Сказочники и сказочницы были во всех деревнях. К ним в дом собирались вечером взрослые с ребятами. Чего там только не рассказывалось. И дома мать прядет, так сидишь около нее вечерами и слушаешь сказки.

Без сказок скучна зима в деревне у теплой печки при завывании ветра в трубе. «Помню, зимой забирались на печь и рассказывали сказки. Обязательно про царя, царицу, царевну, царевича и Ивана-дурачка, чтоб он был умнее царевича, чтоб обязательно совершил подвиг и женился на царевне. Просмеивались богачи и восхвалялась беднота в этих сказках» (А.А. Кожевников, 1925).

Эмоционального голода у детей не было. Сопереживание рассказчику было полным и всеобщим. «Когда училась в Мулине, жила на квартире. Хозяин был пожилой человек, почти старик. Он такое рассказывал, что мы, сидя на скамейках, прижимались друг к другу. Черти, лешие, домовые. Рассказывал, что сам чуть ли не разговаривал с «лесным дядюшкой». Шел он как-то по лесу домой. Впереди его бежала собака, вдруг он слышит топот копыт. Показывается пара вороных, а в санях сидит такой великан, что наравне с деревом. Собака прижалась к нему. Очнулся — оказалось, что он сидит под елкой. Ведь немного и выпил-то, говорит, в селе, а поди же ты, не помню, когда и сел под елку. Вот

и верь ему, что видел. А мы с тех пор стали бояться. Особенно когда ходили рано утром в школу. Старались идти где-то в середине, а не последними (Н.А. Нохрина, 1929).

Сказки были тесно связаны со всем образом жизни в деревне, обычаями, традициями верованиями.

«Все говорили, что в 12 часов ночи нельзя в баню ходить, там черти сидят. А если один в избе — залезь на печь — ничего не будет. Конечно, может и сказки все, но очень любила я про это слушать про все. Вот свояченица все рассказывала про какого-то «вогленного». У нее мужа убило на войне. Она говорит, прихожу както поздно домой, гляжу, муж-то лежит. Вроде и не он. Я давай, говорит, молиться, креститься. Он как соскочил, побежит и дверь даже распахнет, как в сноп огненный какой превратился.

У нас вот в деревне был дедушка Миша, старенький такой, с бородой седой. К нему все собирались. Он столько сказок знал и каждый день все вроде про новое. Вот запомнилась какая-то сказка про сизое перышко. Как девушка друга милого ждала. Он в виде птицы должен прилететь. А мачеха узнала про это, в окне стеколья понатыкала. Он и порезался. Плакала девушка над птицей (своим милым), а как упала слеза ее горячая птице на сердце — переметнулась птица и в друга милого превратилась. Я очень любила эту сказку. Конечно, старые люди как-то что ни скажут — так какую-нибудь поговорочку и приставят для слова, для большего уважения. А частушек столько знали! Сразу на ходу сочиняли, ведь пляски в основном с частушками были, особенно переплясы всякие» (Н.Ф. Стремоусова, 1922).

Импровизация в речи (в труде, веселье), народное творчество в песнях, плясках, сказках — были непрерывны. Мощная языковая стихия народной речи —

живая, развивающаяся, буйно растущая — вот драгоценнейшая часть великой русской крестьянской культуры. Только на этой почве могла вырасти и великая русская литература XIX — начала XX веков. Увы, с распадом крестьянской цивилизации в России уничтожена и эта уникальная живая основа русского языка. Началось его омертвление. Впрочем, это отступление от темы главы. В сказках, легендах, бывальщинах незримый потусторонний мир становился зримым крестьянину. Полнота, насыщенность духовного мира человека были немыслимы без этого противостояния жизни и смерти. Полнокровным, живым и многоцветным был для крестьянина окружавший его мир — мир, в котором жили.

РАЗДЕЛ II

НАРОД И ВЛАСТЬ

В XX веке государство, власть проникли, просочились, вошли во все, даже самые малозаметные и интимные стороны жизни человека в России. Все менялось стремительно и жестко, жестоко и очень болезненно: отношение крестьянина к земле, труду, друг к другу, власти, семье. Революция, гражданская война, коллективизация стали рубежом, концом в многостолетней истории крестьянской цивилизации в России. Уходила в прошлое целая эпоха народном жизни, но тогда никто не предполагал, что крах ее растянется до нынешних дней. Вакуум духовной жизни в селе, распад крестьянской этики и нравственности свидетельствуют о том, что функционирующая система духовной жизни на селе — колоссальная материальная ценность, поскольку без нее невозможно никакое нормально работающее материальное производство.

Народ и власть. Важнейшая и сложнейшая проблема России в XX веке. Власть смогла дотянуться до каждого жителя огромной страны, держать его даже не под одной, а под несколькими и очень эффективными формами контроля.

Глава 1.
НОВАЯ ТЕОКРАТИЯ

Новая власть в 1917 году не возникла как Феникс из пепла, она умело использовала многие традиции, умонастроения, верования дореволюционной России.

С октября 1917 года в России создавалось теократическое государство, основанное на слепой вере, тотальном насилии и беспрекословном послушании миллионов своих подданных. Новой официальной религией, активно внедряемой сверхмощной советской пропагандистской машиной, стала вера в социализм.

Пропаганда пыталась (и довольно успешно) охватить всех граждан своей державы, начиная с детских яслей и кончая глубокими старухами, насильно загоняемыми в ликбезы. Сверхмощный репрессивный аппарат НКВД уничтожал не только соперников новой религии (русскую православную церковь, католические, лютеранские храмы, мусульманские мечети, иудейские синагоги), но и еретиков марксизма, отклоняющихся хотя бы на волос, хотя бы на одну букву от Учения, официальными пророками которого были признаны Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Процедура их канонизации в России представляет большой интерес. Еретики были, в определенном смысле слова, гораздо опаснее открытых конкурентов и преследовались зачастую более ожесточенно и свирепо. То, что Лев Троцкий с 1930-х годов считался здесь исчадием ада и представителем сил зла на Земле — очень показательно. Жесточайше преследовалось малейшее сомнение в истинности новых канонов и даже недостаточно активное их воспевание. Культ новой власти пестовался любовно, целенаправленно и длительный период. Священной стала сама система советской власти с очень детально и подробно регламентированной

иерархией чиновников. В зависимости от места на этой иерархической лестнице человек получал ту или иную долю святости и поклонения масс. Единственным живым пророком и помазанным от прежних пророков был Сталин, ореол святости которого был стопроцентным. Любое слово этого вождя было истиной в последней инстанции. Все остальные вожди — союзного, областного, районного или сельского масштаба были вождями лишь постольку и настолько, покуда этого желал верховный вождь, из рук которого они и получили власть, пусть порой опосредованную. Впрочем, об этом мы поговорим отдельно в главе о Сталине. А советской власти, чтобы утвердить в огромной державе новую веру, начиная с 1917 года, предстояло проделать огромную работу. Ведь русское крестьянство было не просто сословием религиозным, религия была неотъемлемой частью быта и повседневного обихода крестьянина, глубоко укоренилась в его сознании и была до того привычна в его жизни, что просто не осознавалась как нечто отдельное от нее.

Как вырвать этот кусок из жизни крестьянина? Над этим вопросом бились лучшие марксистские умы России, начиная с 1900-х годов. Программа религиозного социализма, богоискательства и богостроительства, разработанная русскими социал-демократами еще до революции и жестоко раскритикованная Лениным, в 1920-е годы начала активно претворяться в жизнь. Но, чтобы водрузить своего кумира, большевикам вначале потребовалось свергнуть своего соперника по влиянию на души людей и уничтожить его земные дома — церкви и храмы, а также духовных пастырей, религиозную литературу, полностью подчинить себе подрастающие поколения, изолировав их от влияния семьи и старых традиций. Рассказов об этом очень много. А.В. Власов (1927, Новгородская обл.) вспоминает:

«Религию тогда душили. Когда я ходил в третий класс, ломали, громили церкви по всей округе. Мы, ребята, смотрели на церкви, как на что-то ненужное, отжившее, мы многого еще не понимали. Взрослые помалкивали. Много было перегибов. Перед войной их (церквей) разрушили больше, чем фашисты во время войны. Духовенство было в изгнании, на них смотрели как на врагов народа».

Как всегда бывает в борьбе двух вероучений — то, которое обладало машиной государственной власти, жестоко и оскорбительно подавляло другое. Власти действовали через преданную и всецело зависимую молодежь, объединенную в кружки союза воинствующих безбожников. Обратите внимание на слово «воинствующих» в названии союза — в соответствии с таким пониманием методов работы они и действовали.

Чрезвычайная грубость, малограмотность, отсутствие каких-либо зачатков культуры, примитивность сознания этих людей и умело используемый властями стандартный коллективизм позволяли вести огромную антицерковную (а не антирелигиозную вообще) кампанию повсеместно — от Бреста до Камчатки.

Иван Андреевич Морозов (1922, село Верхошижемье), активист той поры, с чувством неловкости рассказывает: «С начавшейся дискриминацией церквей были организованы кружки безбожников. Деятельность этих кружков, руководимых старшими, была бездарна, оскорбительна для верующих и не встречала с их стороны понимания, сочувствия, снисходительности. Кружковцы читали антирелигиозные стихи, пели песни такого же содержания, разыгрывали сценки, выставляющие священников в оскорбительном виде. Старшие пытались увещевать воинствующих атеистов, в сердцах называли идолами, антихристами, грозили божьими карами. Бывали случаи, когда верую-

щие просто уходили от богохульников и таким образом мероприятие считалось провалившимся. Об участии в кружке дома говорить не следовало: это не могло вызвать радости, поощрения, но и отказаться от участия в антирелигиозной пропаганде тоже было нельзя: быть белой вороной всегда плохо».

Религиозные обряды пытались заменить новыми — советскими («красными») обрядами, перевернуть их в духе верности новой идеологии. Вместо прежней свадьбы — комсомольская свадьба, вместо похорон — красные похороны. Алексей Маркелович Червяков (1910, Шабалинский район) описывает одну такую попытку: «Да, члены союза безбожников в нашем селе были. Ну, они там говорили, что Бога нет, вступайте в комсомол. Мы-то что, молодежь, рады были пойти за всем новым. Отцы, правда, ругали нас за это, иногда даже ремнем «перепадало». Запомнился случай «красных похорон». Жил у нас мужик, был он верующий, ходил в церковь, молился Богу. Потом большевики-безбожники проводить стали свою пропаганду, и он перестал верить в Бога. Перед тем как умереть, он наказал сыновьям, чтобы его хоронили «по-новому», без попа. По такому случаю из района приехал оркестр. Когда покойного выносили из дому, заиграла музыка. Сестры-старухи просили не делать этого, а то душу его не пустят «до царства небесного», ведь мимо храма божьего понесут. С песнями и барабаном. Когда покойник был погребен, то все стали расходиться. Многие, особенно старики, были недовольны таким обрядом, говорили: “Нельзя так. Не по-божески это”. Потом еще говорили, что покойник после этого стал появляться в доме (“маниться”). Сказывали, что после этого покойника перекапывали и положили лицом вниз, и только после этого он перестал появляться».

Но все-таки главным объектом борьбы для мест-

ных властей и активистов в 1920–30-е годы оставалась местная церковь. Иконопочитатели превратились в яростных иконоборцев. Деятельность разрушительная удавалась «воинствующим безбожникам» гораздо лучше. Закрытие церквей, уничтожение церковной утвари, расхищение ценностей, низвержение колоколов стали в анналах истории каждого села впечатляющей и надолго запомнившейся страницей. Сопровождалось все это (как водится у нас на Руси) бездной ненужных и непонятных здравому смыслу разрушений, совершенно абсурдных действий. Во многих местах закрытие и разрушение местных церквей было связано с коллективизацией. Вот как описывает такого рода событие в родном селе учитель И.А. Морозов (1922): «Верхошижемская церковь прекратила свое существование в 1932 году. Еще до разрушения она подвергалась ограблению. Предвидя неизбежное изъятие церковных ценностей, мужчины-прихожане договорились прийти утром, унести наиболее ценные предметы богослужения, припрятать их, дожидаясь лучших дней. Но церковный староста Морозов Петр Семенович, зная об этой акции, ночью выкрал золотые подсвечники, дорогие иконы и другие ценные вещи и спрятал с корыстной целью.

Утром собравшиеся миряне предстали перед оскверненным алтарем. Впоследствии тайное стало явным, но по какой-то причине уголовного преследования не было, а мирской суд не всегда страшен для людей, освобожденных от совести.

Большой любовью прихожан пользовался отец Иван. Это был истово верующий человек высокой нравственности, сеющий только добро. Человек высокой культуры и грамотности, он на своих землях выращивал богатые урожаи, притом собирал их без найма: учил прихожан ухаживать за пчелами (у него была па-

сека около 40 семей), был исключительно отзывчив. Под стать ему была и матушка.

После того как ценности из церкви были похищены, отца Ивана арестовали, сведений о его дальнейшей судьбе у меня нет, а семью выслали неизвестно куда. После этого и началась позорная вакханалия разрушения церкви. Это печальная страница в жизни Верхошижемья, правда, оснащенная с нынешней точки зрения и элементами комизма. Первое, что решили местные атеисты, необходимо было сбросить колокола. С малым и маленькими управились быстро, дело стало за большим колоколом, обладавшим чудесным звоном, по которому его узнавали, определяли, какой церкви благовест. Наиболее активным в этом деле оказался житель Верхошижемья Илья Андреевич Охлопков, по уличной карточке Морковкин, или Илья Морковка. Он вызвался взорвать верх колокольни и войти таким образом в анналы местной истории. При первой попытке консервная банка, набитая черным охотничьим порохом, удачи не принесла. Но было очень много ожидания, дыма, огня, грома. На Илюху смотрели уважительно. Вторая атака выглядела более солидно: Илья принес обрезок трубы и заявил, что перед этим взрывным устройством кладка уж точно не устоит. Длинный фитиль, опущенный до пола, горел, казалось, очень долго. Взрыв был очень мощным, колокольня даже окуталась красной кирпичной пылью, но колокол висел нерушимо. Потом прибегли к примитивному устройству: подвесили к простенку двухпудовую гирю, к ней привязали толстую веревку и, дергая за нее, отбивали кусочки кладки. С двух сторон окна выбили ниши для юбки колокола, и наконец он был низвергнут. Расколотый на несколько крупных частей, сверкающий серебристыми изломами, он был раздроблен на мелкие части, и я не знаю, куда и кем они

были определены. Пиротехник же Илья, продолжая свою разрушительную деятельность, сорвался с 3-метровой высоты на каменные плиты пола церкви и то ли в результате падения, то ли по какой другой причине у него на теле появились три опухоли, которые верхошижемцы называют килами. Они были расположены с боков и сзади. Килы, по-видимому, не причиняли Илье боли или неудобства, прожил он с ними еще лет тридцать и, похоже, даже гордился тем, что нажил их при свершении столь нестандартного подвига. В общественной бане он, польщенный вниманием, охотно рассказывал об их происхождении и даже позволял желающим потрогать. Люди же, близкие к Богу, говорили, что килы — это божье наказание».

Не везде закрытия церквей проходили спокойно или с женским плачем. Во многих местах местные жители пытались оказать властям сопротивление. Такого рода попытки жестоко подавлялись. Александра Тимофеевна Симушина (1915, с. Зуевка) рассказывает: «В тридцатых годах повсеместно закрывали церкви. Не минуло это и церковь села Поджерково. Вместе с закрытием церкви изымалось все ценное, что там имелось. В Поджерково приехали милиционеры, чтобы забрать ценные иконы, позолоченные, а также церковную серебряную утварь. Узнав об этом, к церкви собралась большая толпа, которая пыталась помешать милиции увезти ценности. В суматохе, а попросту в жестокой драке, был убит милиционер. Начались повальные задержания местных крестьян».

Активное сопротивление было обречено на неудачу. Пассивное сопротивление — скорбь, оплакивание гибнущей веры, тайное хранение икон и тайные молитвы держались долго в крестьянской среде. Татьяна Романовна Селезнева (1925) хорошо помнит эту атмосферу: «Когда коммунисты начали громить церкви,

началась третья великая скорбь народа. В благочестивые семьи заходили монашки и вместе горько горевали на гонение священнослужителей и их, все это делалось втайне. Передохнув, покрестившись, они куда-то уходили, а мы, оставшись дома, горевали, переживали за них. Они нам пели и рассказывали чудные молитвы, которые запали в наши детские души, хотя потом, когда мы росли, не было действующих церквей, а в душе я всегда верила, что есть Бог! Хотя ни одной молитвы не знала. Как христиане крестьяне в ужасе и страхе тихонько рассказывали: "Посмотрите-ка, посмотрите-ка, что делают коммунисты. С той-то, той-то церкви сбросили колокола, все разграбили, священнослужителей разогнали по острогам. Антихристы, антихристы пришли — все рушат, хороших людей убивают, сажают в острог. Бога-то, видно, не боятся, но придет на них суд Божий!" Вот так было.

Мои родители были верующими. Они были простые крестьяне».

Нельзя преуменьшать, но и не следует преувеличивать религиозность русского крестьянства. Отчаявшаяся беднота, одержимая одной мыслью — досыта поесть, была часто совершенно равнодушна (а порой и враждебна) ко всем отвлеченным, абстрактным вопросам духовной жизни, завидовала более обеспеченным священнослужителям. Е.Г. Теренкова (1918) простосердечно признается: «А насчет церкви, так я в церковь не ходила. Не до нее было. Да я уже с детства в Бога не верила. С гражданской войны церковь у нас не работала частенько. Да и что мы от церкви хорошего видели. Я попов не люблю. Хотя маленькая была, а помню, попы в голодное время по деревням ездили, собирали у кого яйца, у кого молоко, у кого хлеб, у кого крупу. Пузо, как говорят, наедали, обжирались, а мы голодовали.

В 1938 г. я приехала в Киров. Молоденькой еще девчонкой была. Одета была — хуже некуда. Мечта была одна: досыта наесться и одеться как все».

Никита Семенович Путышев (1913) на примере родного села говорит о следующем раскладе сил при закрытии церкви: «Если говорить о сходках, то в 20-е годы их не было, они появились только в 30-е годы. Одна мне запомнилась на всю жизнь. Речь шла о закрытии церкви. Собрался народ, а народ был очень сильно верующий в те времена. Все стояли без головного убора и внимательно слушали выступающих. Они выступали против религии, о том, что Бога нет. Церкви стали разрушать, сбрасывали кресты, а колокола переплавляли на пушки. Старые люди все равно верили в Бога, 80% из них были против закрытия церкви, а 20% — шли против религии. Бедные люди были особенно против религии, так как что беднякам — есть Бог или нет, все равно он с неба не сойдет и досыта не накормит. Сильно верили в Бога богатые семьи. Раньше религия была «законом» для всех, грех считался основным законом. Он скреплял всю дисциплину, совесть. Если ты погрешил, значит, попадешь после смерти в ад, если нет — то в рай, поэтому раньше не было таких законов, как сейчас, и убийств и воровства было меньше, народ был темный и Бога, греха боялся».

Все 1930–1960-е годы шла активная борьба не столько с верой, сколько с верующими. Лишь в период Великой Отечественной войны власть сделала некоторое послабление народу — открылось небольшое количество закрытых церквей, не так рьяно преследовали верующих. «В годы войны все верующие в Бога втайне молились как могли за своих сыновей, мужей, за их скорое возвращение, победу! В годы войны уже никто не преследовал верующих. Иногда просачивались слухи, когда немец уже подошел к Москве, что

Сталин уже сам стал призывать к вере народ, будто открыл несколько церквей, и усиленно стали молить Бога о помощи, только тогда наши войска победили, благодаря Божьей помощи, ведь Бог воодушевил и благословил голодного солдата на победу» (Т.Р. Селезнева, 1925).

«Во время войны некоторые церкви были открыты, появились освобожденные из мест заключений священники. Верующие потянулись искать защиты от недоли: одни справляли молебен по убиенным на войне, другие молились о здравии живущих. Это был короткий период оживления церковной деятельности. По-прежнему запрещалось содержание икон в домах, членам партии и комсомольцам не разрешалось крестить детей, справлять венчание, отпевать усопших. В 1954 году мои бабушки окрестили внучек — моих детей, разумеется, без моего ведома и согласия. По предложению райкома партии за утрату бдительности и отправление религиозных обрядов на профсоюзном собрании мне был объявлен строгий выговор с предупреждением» (И.А. Морозов, 1922).

Есть, впрочем, и совершенно противоположные примеры, хотя их значительно меньше. «В годы войны верующих стали притеснять еще больше. Оставшиеся церкви и то прикрывали временно. Да и нам в войну было не до веры. Мы ждали домой мужей и Победу. Не до церкви было, лишь бы поесть да не свалиться» (К.М. Локтева, 1921).

Трагичной оказалась судьба целого сословия русского общества — российского духовенства. По существу, оно было уничтожено физически — истреблено и вычеркнуто из новой жизни. Тяжкой оставалась судьба детей репрессированных церковнослужителей. Черная отметка в графе «Происхождение» — «из семьи служителей культа» закрывала им дорогу к образованию, любой должности на государственной службе.

Миллионы людей внезапно оказались вне закона. Нина Всеволодовна Попова (1925) рассказывает: «В 1929 г. нас выгнали из собственного дома, в нашем доме поселились коммунары, так как в селе Круглыжи была организована коммуна. Люди из небольших деревень вступили в коммуну и переехали в село, где им дали квартиры в нашем доме и других домах, из которых выгнали людей. У меня отец был дьяконом, работал в Круглыжской церкви, поэтому его арестовали, а нас гнали, преследовали, унижали. Отец умер в психбольнице потом. На частные квартиры крестьяне нас пускать боялись, так как мы были преследуемы советским законом. Страшно без жилья семье с детьми».

Детям из этих семей пришлось, конечно, всех тяжелее. Они официально преследовались даже на уровне школы. К.В. Власова (1928) припоминает: «Дом, в котором мы жили, стоял напротив церкви. Церковь была большая, красивая, богатая. Все наши развлечения — церковные обряды: венчание, похороны — все были наши. Хорошо запомнила, как громили церковь в 1937 году. Сбрасывали колокола, дробили их, увозили по кусочкам. Народ ревел, женщины голосили. Сынишка у попа учился со мной в одном классе. Однажды всех учеников школы выстроили в круг и при всей школе публично с него содрали галстук пионерский, просто так, за то, что он был сыном попа. Мальчишка ревел, очень переживал. Остальные ребята тоже плакали, жалели его, но никто ничего не мог поделать, помочь мы ничем не могли».

Семья вообще оказалась под сильнейшим прессом новой власти. Верность советским идеям, преданность коммунистическому государству считались более важным делом, чем родственно-семейные связи. Характерен такой эпизод из рассказа Александры Степановны Макаровой (1910): «Когда начали закрытие церквей,

нас приневолили члены союза безбожников, чтобы мы расписались за закрытие церквей. Священников арестовали и увели. У нас было два священника, и обоих увели, неизвестно куда, не знаем, куда их дели, где они были. Члены союза безбожников вели агитацию против Бога, они говорили, что нет Бога, не верьте в Бога, что нет ничего небесного, нет загробной жизни. У нас в деревне была женщина Аполлинария Михайловна. Она пришла к нам, чтобы мы расписались за закрытие церкви. Я отказалась расписываться. Тогда она моему мужу сказала: "Приневоль ее, чтобы она расписалась". Он ей ответил, что не может заставить жену, как хотит. Сам не подписался и мне ничего не сказал. Она ему говорит: "Так разведись с ней. У нее большой грамоты нет. Брось ее!" А у меня уж тогда детей было трое. Вот как приневоливали!»

Вера в коммунистические идеи, в новых идолов и вождей, торжество мировой революции существенно отличалась от религии еще и тем, что не давала утешения, успокоения измученной человеческой душе. В годы войны это было еще заметней. «За время войны верующих стало меньше», — это правительственное сообщение. Я уверен, что это не так. Напротив, верующих стало больше, так как гибель отцов и сыновей, горе и отчаяние — все это вело людей в церковь, где они утешали свою боль по погибшим. Это было для них единственным святилищем, где они чувствовали себя в безопасности, все горести и обиды при входе в Храм оставались за порогом. Домой люди шли уже умиротворенные» (А.Я. Распопов, 1907).

Впрочем, в эпоху тотальной подозрительности, слежки за всеми и свирепого подавления инакомыслия люди (особенно служащие в городе) должны были контролировать каждое свое слово. Даже безобидные выражения с упоминанием Бога могли стать роковыми

для человека. «В годы войны в Бога не верили. Все были очень подозрительные. Даже поговорки редко встречались с упоминанием Бога. Такие, например: "Господь с тобой, Ради Христа". Если начальник бы услышал, сразу бы взял на заметку» (И.П. Улитин, 1919).

Судя по всему, определенная часть крестьянства слепо верила новой власти. «Какая власть, такая и масть», — говорится в народной поговорке. Привычка повиноваться не рассуждая, доверчивость, запуганность людей, апокалиптические настроения, обожествление любой высшей власти — об этом много говорится и в рассказах крестьян. Федор Трифонович Терюхов (1916): «Слухи бывали всякие, так в селе Сезенево была казенка, где продавали вино на разлив — кто сколько хочет. Там говорили: кто найдет на бумаге в пробке портрет Ленина, тот будет получать 2-3 литра водки бесплатно. Много толковали о том, что по тракту пойдут стальные машины, полетят стальные птицы, что наставят кругом столбы и обмотают все проволокой. А когда впервые над деревней пролетел самолет, то все поднимали головы и кричали: «Аэроплан, аэроплан». Людей постоянно преследовало чувство тревоги, беды, предчувствие худшего. Наши деды, бабушки и родители ходили в церковь, молодежь не заставляли. Родители крестились перед обедом, читали молитву вечером и перед началом какого-то дела, но детей не приучали, не принуждали. Когда церковь в Сезенево прикрыли, тогда особенно спал интерес к религии. Родители наши верили власти, не думали, что религия — народная ценность, народная культура, и не выступали против разрушения церкви. Церковь пытались разрушить, увозили иконы, утварь, но люди считали, что так и должно быть».

Целиком преданы идеям нового режима были дети.

Через них можно было узнать практически все, что делалось в семьях, соседних домах. Взрослые по старой привычке еще не всегда остерегались своих детей. А между тем эти добровольные чистосердечные «шпионы» знали все. Поэтому уход религиозных общин в подполье, в сферу нелегальной деятельности был практически невозможным. Количество верующих людей, исполнявших (хотя бы на дому) религиозные обряды, сильно сократилось в 1930-е годы. Валентина Николаевна Кислицына (1918) вспоминает: «В 1931 году начали ломать церкви. Поэтому в 1933–1934 годах церкви были разбиты, не работали. Но богомольные собирались в домах, хоть религия была запрещена. Крестить детей не разрешали. Если крестили, то родителей выгоняли с работы. Верующих было немного, ведь молиться было некуда ходить. Старушки собирались по вечерам и пряли, пели церковные песни. Помню, была одна монашка. Она читала молитвенники. К ней приходили верующие. Она им истории молитвы рассказывала, читала молитвенники. Они скрывались, а ребятишки бегали за ними и подглядывали, и подслушивали».

Перестроить мировоззрение людей в России, строй их мыслей путем механического уничтожения прежнего идейного комплекса религиозных, монархических верований — эта задача решалась советской властью очень грубыми, насильственными методами. Но любопытно то, что, во-первых, полностью решить ее так и не удалось (растоптанная и униженная церковь, совершенно лояльная режиму, продолжала свое существование), а во-вторых, формы прежних крестьянских воззрений: наивный монархизм и фатализм, слепая покорность судьбе, религиозная преданность властям — все это было всемерно использовано государством в своих целях. В преж-

ние формы влили новое содержание (новое вино в старые мехи). И все это отлично сработало. Ситуация для большевистского руководства была выигрышной вдвойне, когда началась эпоха великих экономических экспериментов над крестьянством. Запуганные, униженные и ограбленные в ходе коллективизации люди потеряли почву под ногами. В таких условиях навязать им новый комплекс верований было значительно легче. А сейчас речь пойдет как раз об этих экспериментах.

Глава 2.
СПЛОШНАЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ

Революция и гражданская война смели, перемешали в кучу многие социальные слои, группы населения. Отдельный человек, не понимая хода событий, ощущал часто просто смертельный страх и ужас перед лавиной изменений. Водоворот событий нес его, ничего непонимающего и беззащитного, новым страшным путем — путем революций и войн. Фаина Кузьминична Кошкина (1906) рассказывает: «Революцию помню. Шла война, а за что война — не знали. У нас была маленькая деревня, заброшенная. Мы ничего не знали. Плохое время было. Я жила без родителей. Нас было четверо детей. Я в школе не училась, с 3-х лет без родителей у чужих людей. У них было все свое. Этим людям не нужна была моя грамота. В общем, что в стране делается — мне недоступно было. В воскресенье никогда не гуляла, потому что скот нужно было пасти, заставляли работать. Я была как раб. В школу не ходила. Пошла в ликбез, когда уже вышла замуж».

Волна страха, хлынувшая на крестьян с войной и

революцией, осталась в их жизни навсегда. Наступило «плохое время», когда человек ежедневно стал ждать изменений к худшему. А.С. Быщигин (1912) помнит: «Ну если взять, как мы чувствовали себя до революции, в смысле спокойно или беззащитно, то я не помню. А уж после революции мы постоянно боялись: вот придут уполномоченные, дадут задание. Особенно часто они приходили, когда обрабатывали лен. Дадут такой налог, что приходилось аж с прялки лен снимать. На хлеб давали налоги большие».

Страх прочно укоренился в новом стиле жизни — все дореволюционные ценностные ориентиры крестьян внезапно оказались сломаны. Большая крестьянская семья рушилась в эти годы. Ломалось уважительное отношение к хорошему труду, честно заработанному достатку. Н.А. Зубкова (1910) горюет: «Родители всегда гордились своим происхождением, своим достатком. Бедных считали лодырями: пить надо было меньше, а работать больше. К богатым относились с почтением. Но не столь волновало богатство, сколь относились с уважением и к умению работать.

Семья наша была большая — четыре брата. Мать с отцом и я. Жили очень дружно. Но во время гражданской войны два брата воевали за белых, а два за красных. Двое из них пропали без вести. После раскулачивания я работала по найму, вязала шали, варежки, носки, а вскоре убежала в город».

Когда в начале 1920-х годов советская власть упрочилась, русский крестьянин, кряхтя, стал приспосабливаться к ней. Появилось уважение, смешанное со страхом. Антонина Алексеевна Феофилактова (1915) припоминает: «Еще раньше старики, когда начиналась советская власть, Ленина не уважали и песни все про него пели хулиганские. Сначала все советскую власть не любили:

При Миколке, при царе,
Ели булки в молоке.
А советская-то власть
До соломки добралась.

Эти песни пели тайком — кто выслушает, так живо два сцапают. Я была ребенком, так плохо помню, но рассказывали, что собирали в селе Верхосунье митинг. Коммунист вышел на трибуну, а старики набрали камней и стали бросать в него. Их сразу стали ловить. Одного поймали, его Миколой звали, яму вырыли и его тут же закопали. Повострей кто был — так убежали. Это вот в двадцатых годах было. Потом в деревнях, как колхозы стали, так взрослых в школах стали учить. Учитель там был Коля Илюнькин (Николай Ильич). Баб неграмотных вечером выгоняли учиться, а им прясть надо. Три дня не сходишь — давали принудиловку:

Принудиловку-то, девушки,
Нетрудно заслужить:
Не ходи три дня учиться —
И пойдешь дрова пилить.

Когда Ленин умер, в деревне никто не плакал. Про Сталина меньше говорили плохо — к советской власти попривыкли уже».

Недоедание на протяжении многих лет, страшный голод начала 1920-х годов, постоянное балансирование на грани жизни и смерти лишили возможности сопротивления миллионы крестьян. В городах кормили отобранным у крестьян хлебом только тех, кто служил новому государству. Чудовищной была в эти годы детская смертность. Кайсина Марфа Васильевна (1913) рассказывает: «Когда неурожаи были, тоже горе боль-

шое. Приходилось по деревням ходить собирать, жить-то как-то надо. Когда гражданская война шла, так по домам ходили хлеб забирали. Все-все забирали. Кто смог спрятать, так спрятал. У кого мешок, у кого полмешка осталось. Мама с бабушкой к речке мешок с зерном увезли, закопали. Кто-то видел и доказал, так и это зерно забрали. А бабушка у меня боевая была, никого не боялась. Ох, она и ругалась с теми, кто хлеб забирал. Когда у нас дома были и весь хлеб забрали, так военный на нее ружье выставил, а она идет на него и нас с Катей вперед толкает и кричит: «Забирайте все и их тоже забирайте. Чем я детей кормить буду? А мы ревем вовсю. Ох, голод был сильный!»

Во многих случаях от большой семьи оставалось два, три человека — да и эти выживали случайно, чудом. Клавдия Ильинична Енина (1906) из Самарской губернии помнит о страшном голоде в Поволжье: «В 1917 году началась революция, гражданская война. В 1918 году 2-го августа сожгли наше село, почти дотла. Наша улица была главной, ее всю сожгли, осталось на окраинах домов с полсотни уцелевших. Отец умер в 1919 году от тифа и одна сестра 20-ти лет, потом — неурожай. Страшный голод, люди умирали от голода, как мухи. Это уже в 1921 году. Даже некоторые ели мертвых. Хоронить людей было некому, люди были голодные, бессильные, тела ложили в казенные амбары (были 2 больших амбара на краю села, они были полны телами). Хоронили уже в начале апреля. Пригоняли солдат. Мы уцелели ради нашего брата — он служил сверхсрочно в городе Самаре (это от нашего села 150 км). Все старшие сестры были замужние, а брат с семьей жил в городе Самара. Он был хозяйственником, привез нам на санках мешок ржаной муки и несколько буханок солдатского хлеба. Нас, самых младших, жило с матерью четверо. Мне было полных

15 лет, а самой младшей — 7 лет. Брат двоих из нас увез к себе, скота уже никакого не было, осенью закололи последнюю корову и за зиму ее съели. Мать докормилась этой мукой с добавкой мякины и травы, а весной пошла свежая трава, и в саду появились яблоки. Мать и брат уже посеяли пшеницы и проса. Так и дожили до нового урожая все».

Голод и смерть потрясли души людей до основания — озлобили и сломали многих. Августа Николаевна Меледичева (1910), хлебнувшая досыта горькой сиротской доли, вспоминает ту пору: «А зима пришла лютая. Ходить не в чем, кушать тоже нечего. На всех одни валенки были. Один гуляет, остальные в окошко глядят на него, охота же. Но голодно было — ужас. Для нас еще терпимо, а деревенские-то: не очень они привыкли. А ведь у них еще излишки изымали. Какие уж тут излишки?

Старший, Михаил совсем похудел, ничего есть не мог. Я помню — лежит он под одеялом, одни глаза видать. Голубые-голубые. Да и волосом он в отца пошел. Любил его тот страшно. Целыми днями у постели просиживал. Через 3 недели Михаил умер, как свечка погас. На отце лица не было. Почернел весь. Тетя Настя тоже слез много пролила — первенец ведь. Ну вот, а через 2 недели Настенька трехлетняя слегла. Умерла она непонятно как-то, быстро. Шестеро нас осталось. Притихли все, не бегали. А по весне, ледоход на реке уже был, Митя Богу душу отдал. Господи, напасть словно какая! Трое своих, да двое чужих у тети Насти с мужем осталось. Дядя Степан неразговорчивый стал, запил. А тетя Настя не любить нас стала, видно, нас винила в смерти ее детей. То не так сядем, то не так ответим. Как мачеха злая. А ведь она добрая очень раньше была».

Все это привело к тому, что к концу 1920-х годов не-

много оправившееся крестьянство тем не менее морально еще не оправилось от колоссальных испытаний предыдущих лет и было не способно к массовому отпору режиму, решившему уничтожить основы крестьянской жизни. Сопротивление было невозможно и по другой причине. Колоссальная машина государственной власти обрушилась в период коллективизации на крестьянина. Такого в истории еще не было. Каждый крестьянин в одиночку встретил этот невиданный по мощи употребленных средств, комплексности и избирательности властей удар. Рассказы о коллективизации многолики — мы услышим здесь голоса и тех, кого раскулачивали, и тех, кто раскулачивал, агитаторов-активистов, ссыльных, тех, у кого описывали имущество, и тех, кто описывал. Мне кажется, что величайшая трагедия народной жизни той поры еще и в этом: все, что делалось против народа, делалось руками народа.

Между тем в брожении умов, глухих пророчествах 1910–20-х годов отчетливо ощущалось какое-то напряжение, ожидание перемен. Нередки рассказы, подобные этому: «Шел 1916-й год. Мне, значит, было двенадцать. Жить мне стало плохо, сноха смотрела на меня как на лишнего едока. Как-то пришли к нам в избу ночевать два мужика. Один из них, помню, был совсем седой. Собрались все соседи, и вот седой стал говорить, что скоро у мужиков не будет узеньких полосок, и вся земля будет общая и бесплатная. Что не будут венчать, детей крестить — и зарастут в церковь тропочки. На полях будут ходить кони стальные, а сохи забросят. Все слушали и удивлялись, я же вовсе ничего не понимал — мал был» (В.Ф. Загоскин, 1904).

Деревня, живущая слухами, волновалась. Коллективизация началась с очень жестоких мер, проводимых на местах по-разному, порой в абсурдной форме,

с массой извращений, очевидных нелепостей, причем очень многое зависело и от местных властей, которые все же были людьми подневольными.

«Да и на местах коммунисты-руководители — они же подчинены все. Им сверху спустили план в процентах по коллективизации, и надо им сделать. А не сделаешь, могут и расстрелять, хорошо, если только с должности снимут. И всех гнали в колхозы оптом. А в списках даже, бывало, грудных детей колхозниками считали. Или, например, стоит дом на границе двух колхозов — так хозяина и в тот, и в другой записывают, и землю тоже по разные стороны границы дают, чтобы задания обоих колхозов выполнял» (А.В. Семенов, 1910).

Из памяти многих людей не ушел тот факт, что первоначально на селе пытались насадить коммуны. И повсеместно! «Коллективизация началась с 1927 года. Сначала сгоняли всех в коммуны, которые потерпели крах; затем в колхозы силой. Хоть и не хочешь, а записывайся, не то считали — подкулачник. Агитация велась на собраниях всей деревни. Главы семей просиживали на них сутками, приходили домой только поесть. Я бывал на них. Мужики все время курили, так что дышать нечем, и в колхоз не шли — все боялись. А жены сидели дома и ревели. Ждали, что хозяин решит» (И.Г. Орлов, 1919).

Впрочем, беднота (пусть и не вся) с охотой записывалась в коммуны. Терять им было нечего, а тут на дармовщину можно было хоть как-то прокормиться. Носкова Мария Ивановна (1902) эту пору хорошо помнит: «Народ в коммуну записывался, так как обещали людям хорошую жизнь, еду на тарелочке в окошечко подавать будут, одежду будут давать. Оказались там жители из разных деревень, в основном из Солдатской волости, и кто в коммуну записался, иму-

щество свое в коммуну нес. Но много туда записывалось разных батраков, нищенок. Самый начальник там был Братчиков. А муж мой Никита один в коммуну записался: “Ты, Марийка, пока дома оставайся, а потом колхозы будут организовываться, мы в колхоз пойдем”. Вот я и жила дома, а как Братчиков придет и скажет: “Ты, Носкова, когда в коммуну придешь, почему с мужем врозь живете?” А я ему говорю, что тку, а как закончу, сразу приду. Коммуна эта недолго держалась. Батраки курили и сожгли коммуну. На пожар весь народ собрался, тушили. Андрей Негорский (он мясник был, торговал, дом у них не больно важный был), сказал: “Пусть горит эта коммуна”. Его за это арестовали, в тюрьму в Кирове посадили, изморили всего и расстреляли, а его жена потом в няньках у меня была. Когда коммуна сгорела, все разбежались, растащили все».

Коммуна осталась в памяти у многих кратким эпизодом и порой не очень бедственным. Е.С. Штина (1910): «Жили очень раньше плохо, сейчас лучше. Нонче жить можно. Раньше было работисто, чуть маленько ослабнешь — не выживешь. Ничего не было хорошего. Мне в коммуне жить нравилось. Там мы дружно жили. А потом в колхозе тоже никакого спокою не было».

Много крестьян после революции, войн, голода пытались в годы НЭПа наладить свою жизнь, встать на ноги, зажить крепким крестьянским хозяйством. Выбиться из нищеты удавалось многим, но крепко встать на ноги мало кому — слишком уж немного времени спокойного хозяйствования было им отпущено судьбой. Борис Иванович Фролов (1921) помнит историю своей семьи: «После гражданской войны родители у соседей взяли жеребенка, из него вырастили лошадь, приобрели сани, телегу (двухколеску) и начали строить

стаю для скота, заготовили лес, вывезли его и с помощью соседей стаю построили. Потом приобрели телку и впоследствии стали жить с коровой.

Перед коллективизацией около стаи стали строить дом, подняли до кровли сруб, средств не хватило, отец заболел, так дом и остался недостроенным, а после войны пустили его на дрова, так как отец умер рано, а мать прилежно работала в колхозе — ей было не до дома».

Сложны и многогранны были отношения внутри деревни между разными слоями крестьян. Иерархия и субординация были очень заметны. Вот два свидетельства из середняцкой и бедняцкой семей. Между ними есть существенная разница. Пелагея Сергеевна Медведева (1906): «К богатым не ходили. Мы жили небогато. Наша семья средняя была. Больно бедными не были, и богатыми тоже. Родители довольны были, как живут. С богатыми не водились, боялись к богатым-то ходить». Анна Ивановна Петрова (1916): «К богатым относились не очень хорошо. Не любили. Если пойдешь хлеба занимать, заставит наперед два дня отработать. Гордиться у нас было нечем. Но все равно жили. Если был небольшой запас, радовались, что есть чего поесть». Но если в первом случае люди просто говорят об отстранении от людей, стоящих выше их по общественному признанию в деревне, то во втором случае речь идет об открытой неприязни и зависти к богатым. Подтверждает это Путышев Никита Семенович (1913): «К богатым была обида, то, что они жили лучше нас — богатства было полно. Но к богатым плохо не относились — только в душе завидовали. Порой будешь к ним поласковее, хорошо поговоришь — дадут тебе кусок хлеба. Богатых и уважали за их труд. Хоть и жили они в достатке, но очень здорово работали. Каждый старался побольше заработать».

Надвинувшаяся коллективизация смешала все прежние ценности, перевернула существовавшие отношения. Престижно стало быть бедняком, а не крепким хозяином. В одночасье вершителями деревенских дел стали зачастую самые неуважаемые прежде люди — лодыри и пьяницы. Их не уважали, но боялись. Анастасия Яковлевна Двинских (1919) этот страх еще хранит в душе: «Бедных людей мы в то время боялись, чтобы они нас из колхоза-то не вычистили. Если скажешь чё, дак они ведь щас запулят, щас пойдут везде и наговорят правду и не правду. И песни пели-то такие: “Сторонитесь, богачи, теперя воля наша”. Выжили мы только за счет работы не покладая рук. И раньше были такие мерщики — землю размеряли. Перемер был через 3 года. Дак мы так удобряли полосу — напущали скота, в общем, землю прибирали очень хорошо. А через 3 года перемер и эта полоса переходит опять к беднякам, которые ничего не делали и плохо работали. И родители снова корчевали целину, пахали, удобряли. Вот мои родители какие были. Бедняками были те, кто не хотел работать, а богатые, которых все прижимали, это были самые настоящие труженики, которые трудились не покладая рук.

И было что еще. Эти бедняки всю зиму играли в карты, а мой отец всю зиму в лесу работал, потому что он кулак — он труженик. И потом эти бедняки придут, к моему отцу и говорят: «Купи у нас землю, у нас денег нету». Он купит эту землю, а весной берут лошадь и распахивают эту землю, и мы не смеем слово сказать. В деревне нас чтили. Гордиться достатком было нельзя, боялись мы».

В селах побогаче, где земля поплодороднее и народ был позажиточнее, противостояние бедных и богатых в начале коллективизации было нешуточное. Клавдия Ильинична Исупова (1931) из села Дубровка Нижего-

родской губернии вспоминает о странных обстоятельствах своего рождения: «В 1931 году в селе началась “мотыжная война”. Что это за война была? В селе, таком большом, конечно, были люди, которые жили и бедно, и богато. В период коллективизации — образование колхоза, весь бедный народ, мужики, первыми записались в колхоз. Мой отец вступил в колхоз одним из первых. Но недовольство кулаков коллективизацией проявлялось все сильнее и обостреннее. Начались стычки между кулаками и мужиками, шире-дале, пошли в ход кулаки и мотыги, а иначе — “мотыжная война”. Для того чтобы кулаки не трогали жен и детей колхозников, нас вместе с матерью и с другими женщинами вывезли на конопляное поле. А 6 сентября 1931 года отца и других мужиков, кто вступил в колхоз, заперли в церкви. Вот в эту ночь меня и родила мать прямо на конопляном поле. Раньше была такая примета, что если в час рождения ребенка у кормилицы семьи — коровы — появляется приплод, то этот ребенок счастливый. А в ночь моего рождения наша корова не растелилась и к утру умерла. Так мы лишились молока. Вскоре мы вернулись в свое село. Мужиков выпустили, утихомирились и стали жить все в колхозе».

Сельская молодежь, прежде всего комсомольцы, были ударным отрядом партии в проведении коллективизации. Многие из них искренне верили коммунистическим идеям, некоторые просто приспосабливались. Комсомольцы подражали во всем коммунистам, чувствовали себя военизированным отрядом партии, зачастую проповедовали аскетизм и фанатическую веру. В.С. Кондрашов (1910) вспоминает годы своей юности: «В 20-х годах комсомольцы носили простую форму — защитные гимнастерки с ремнями. Считалось тогда недопустимым для комсомольцев увеселения разные, танцы. Говорили, что это буржуазный

предрассудок. В те годы была большая вера в Ленина. Верили в советскую власть, в партию. Когда в 1924 году Ленин умер, то все очень сильно переживали, плакали, все были потрясены».

Ощущение, что сила и власть за ними, позволяло комсомольским ячейкам и колхозной молодежи верховодить во всех практических делах деревни периода коллективизации, вести себя нагло и вызывающе. А.К. Коромыслова (1914) рассказывает: «В селе все меньше и меньше оставалось единоличных дворов. Вечером, когда мы собирались на гуляньях-вечерках, молодежь разделилась на два лагеря — из коммуны и единоличные, они держались обособленно и как-то робко. Те, которые были в коммуне, потом — в колхозе, с первых дней держались нагловато, вызывающе, они верховодили на гуляньях. Помню, в то время пели мы частушки такие:

Эх, яблочко ананасное!
Не ходи за мной, буржуй,
Я вся красная!

И вот еще:

С неба звездочка скатилась
На советски ворота,
Обложили продналогом
По три пуда с едока.

А вот еще, когда были комсомольцы, коммунисты, то пели:

Мой миленок — коммунист,
А я — коммунарочка,
В Красну Армию пойдем
Отчаянная парочка.

Комсомол, комсомол,
Ты куда шагаешь?
На деревню за налогом,
Разве ты не знаешь?»

Право казнить и право миловать кружило головы молодым парням. Преданность власти стала важнее деревенских связей, подчинения родителям. Один из бывших комсомольских секретарей той поры вспоминает: «Я был секретарем ячейки комсомольской в селе. Лозунг был — добровольно, но обязательно всем вступить в колхоз. У нас уже ТОЗ был, я счетоводом там был, книжка такая была: приход-расход, на божницу ее клал. Собираем собрания в «потребиловке» — лавка кооперативная такая была, товару много. Вот говорят, сопротивления не было. Да как же? Борьба была не то, что сейчас, страшнее. Вот в 1928 году провожу я собрание, и у нас при лавке пристрой такой был — там собирали, в колхоз агитирую. Бабы в первых рядах, мужики на последних сидят, цигарки смолят. Я говорю: “Всем вам будет лучше жить, ведь машинами ваши узкие полоски не вспашешь”. Мужики молчат, а Анисим Иванович Барабанов, был такой крепкий хозяин, мне и выкрикнул с места: “Да откуда ты знаешь, что лучше-то будет?” Дескать, молокосос ты. А ему: мол, в центре-то не дураки сидят. Он в спор. У меня, говорит, боевых наград больше, чем тут на стене жестянок навешано. А он и впрямь был полный Георгиевский кавалер после мировой-то войны. Пол-Польши домой привез. Голова-то у него хорошо варила. Я на другой день записку в волость — в милицию. Забрали его, отправили на Беломорский канал. Так что ты думаешь? Он через несколько лет, когда канал-то построили, с орденом Ленина оттуда вернулся в деревню. А вот еще. Как-то вернулся я с собрания, далеко ходил, верст

за 7 в одну деревню. Сижу дома, пью квас, хлеб с солью ем. А поздно уже, темно. Окошки-то у нас больно низко были, чуть не в землю вросли. Вдруг с улицы большой булыжник бац в окно. Ладно, в переплет попал, отскочил, а то бы прямо мне в лоб. Убил бы ведь. Я на улицу выскочил — темень, а у меня фонарик был, маленький, а очень яркий, теперь таких нет. И наган был. Осветил, вижу — фигура у дома. Взглянул — это Ванюшка, мы с ним вместе всегда мальчиками играли. Ясно, подучили его, настроили. Подкулачник. Схватил я его, руки за спину, привел к себе в избу, посадил в подполье. Мне отец говорит: "Ты ведь все равно в деревне жить не останешься, в уезд уйдешь. Отпусти ты Ванюшку! Мне ведь с мужиками этими жить!" Я ни в какую. Утром увел его в милицию, составил протокол, дали ему сколько-то лет. Я точно не знаю, меня потом в уком перевели.

Или такой случай был. У нас мужики по зимам в Шую на заработки уходили, мастеровые были все кто покрепче. И вот собрались как-то они в отход и сход сделали в потребиловке. Дескать, мы уйдем, надо власть в деревне в хорошие руки, чтобы кто-то вел ее надежно. Пока нас нет. А председателя сельсовета незадолго до того выбрали — Ивана. Он бедняк был, и не больно-то его уважали в деревне. Но нам-то он подходил, мы его и выдвинули. А я у учителя сидел, у него был такой детекторный приемничек: пи-пи-пи. Речи Рыкова, Бухарина тогда слушали. Интересно, все комсомольцы вечером туда ходили. Вдруг Манька бежит, говорит, что вот мужики председателя сельсовета переизбирают. Я бегом в потребиловку. А они уже вроде все решили, проголосовали. Я говорю: "Кто вам разрешил выборы? Завтра же схожу в волисполком — ваше собрание недействительно". А там лампа пятилинейная — кто-то дунул на нее, темень, и меня кто-то за за-

гривок сгреб да носом в пол давай совать. И по бокам мужики давай меня метелить. Я "караул" давай кричать. Парни наши прибежали, лампу зажгли. Мужики отступились, видят, дело-то неладно. А я увидел того, кто меня за загривок держал. Это Семен был, лишенец, его всех политических прав лишили, он до революции полицейским был, таких лишали по конституции. Чего делать-то? Я ушел домой. А рано утром ко мне этот Семен идет, несет четверть самогона под мышкой: "Алексей Федорович, давай помиримся". Меня все Лешкой звали, а тут он так. Отец мой все на эту четверть смотрит, охота ему выпить, говорит: "Прости ты его Леша!" А я ни в какую, говорю: "Я советскую власть на самогон не меняю! Сегодня же пойду в волость". Ушел он. А я Миньку послал верхом в волость со своей запиской в милицию. Приехал начальник, он потом здесь зам. начальника УВД в Кирове работал, забрали Семена, тоже дали ему сколько-то лет. Я потом вскоре из деревни уехал, дак не знаю, вернулся он или нет в деревню. Тогда ведь коллективизацию сплошную гнали. Из укома посылали в село и говорили: "Пока 100% не дашь, не возвращайся в уком, нечего тебе тут делать!" А потом как Сталин-то ловко вывернулся, все преступления на нас свалил. "Головокружение, дескать, от успехов". У моих же друзей в укоме головы полетели — назвали их перегибщиками. А мы же сами ничего не придумывали, нам все с центра спускали» (А.Ф. Каманин, 1908).

И все-таки начало коллективизации — это широкая агитационная кампания по вступлению крестьян в колхоз. Проводилась она на местах, как выше было метко замечено, добровольно-принудительно. Вот что рассказал Иван Иванович Зорин (1918): «Для нас, малолетних, все происходящие события того времени были очень интересны, все мы ждали чего-то лучшего.

Особенно нас, подростков, радовала коллективизация. Мы-то радовались, а большинство населения было против. Лишь небольшая часть населения, которая жила очень бедно, не имела тяговой силы, только она и приветствовала коллективизацию. Почти каждый день проводили сходы (с год, наверное), а иногда в день по 2-3 схода. Первый раз собирают сельсоветы, второй — из района кто-нибудь, третий раз — с области. Были случаи, я хорошо помню, прежде чем достать бумаги из портфеля, на стол для устрашения выкладывали наган. Под сильным нажимом проведут голосование, составят протокол, что большинством голосов постановили организовать колхоз. А большинства-то и не было. Как дойдут до обобществления лошадей, коров, инвентаря — так и все. Сводить-то некуда: ни складов, ни помещений, ни конюшен. Колхоз у нас все же был организован. И все семьи, что вошли в него, вынуждены были держать скот на своих дворах и кормить своим кормом. При этом сдавали продразверстку государству и как за личное хозяйство, и как за колхоз. А самим хозяевам, которые кормили-поили этот общественный скот, не оставалось ничего».

Ломался стержень крестьянской жизни, личностный интерес, менялась судьба нескольких поколений крестьян. Перебороть себя внутренне многим было просто не под силу. Многие заболевали с огорчения, случалось, умирали с горя. Е.А. Соколова (1910): «В колхоз заставляли вступать, ходили уполномоченные. Отец был против, не сдавался, даже прятался, а мать отвечала, что без хозяина ничего решать не может. Но ничего не помогло. Отобрали корову, лошадь. Конечно, жалко — семья-то большая. Отец очень расстраивался, заболел и умер. Вообще, все были за индивидуальное хозяйство, спорили, но больно-то не поспоришь».

А.Я. Распопов (1907), активист-агитатор тех лет, рассказывает: «Как происходила организация колхозов? А было так. Хозяина каждого дома приглашали на сход. Собирали в большую комнату, ставили стол, покрытый красным материалом, за которым сидели уполномоченный и депутат сельсовета. Крестьяне же в большинстве располагались на полу, так как скамеек не хватало на всех. И почти все курили махорку, и, когда откроешь дверь, дым валил, как из трубы дома.

Вначале уполномоченный рассказывал о колхозе, задавалось ему много вопросов, а если все поняли, спрашивает он, то пусть желающие подойдут к столу и распишутся о согласии вступления в колхоз. Но часто в первый день целую ночь сидят, а ждут первого смельчака, кто распишется. Несколько дней уходило на агитацию, но колхоз создавался. Очень тошно было смотреть, когда собирали скот на общий двор. Было много слез, ругани, шума. В этот момент было много угроз в адрес уполномоченного, его грозились убить, искалечить, ругали матом».

Прощание с лошадью, с коровой было настоящей семейной драмой. «Особенно женщины не хотели в колхоз вступать. Наконец вступили. Лошадей обобществили, а все равно каждый хозяин свою лошадку кормил дома. Уводили коня и боялись, что там, на конном дворе, плохо за ним ухаживать будут. Ходили, навещали».

«Когда в колхоз записались, коней сводили всех. У нас крестная была старая, и, когда тятенька повел лошадь — Лаской звали — она ее похлопала по шее, всю обняла, всю обревела. И увел тятенька лошадь. Мне 13 лет тогда было. Вот, помню, мужик и женщина едут на телеге, и женщина воет, как по покойнику. Жалко ей лошади-то» (А.В. Сметанина, 1914).

«Особенно тяжело расставались с лошадьми, когда

в колхоз заходили. Если твою лошадь вели на работу, то хозяин старался как-то облегчить ей работу, очень расстраивался, если не мог этого сделать».

«Отец и мать вошли в колхоз. Воронка, лошадь нашу, увели в деревню Серебряковы на другую бригаду. Родителям стало жаль лошади, они вышли из колхоза. Как Воронка привели обратно в деревню, родители снова вошли в колхоз. Трудились от всей души» (М.К. Казакова, 1905).

Методы местных властей о том, как заставить крестьян вступить в колхоз, были совершенно разными. Павел Николаевич Русов (1897), председатель сельсовета той поры, перед смертью занес свои мысли о пережитом в тетрадочку: «Самообложение — этот налог выпущен в 1927 г. Сам крестьянин должен обложить себя налогом, который и пришлось мне проводить в моем сельсовете. Крестьянин платил сельхозналог — смотря сколько у него земли и хозяйства. Налог исчислялся 10-30%. Какое селение, сколько процентов проведет на собрании. В сельсовет пришла инструкция на 10 листах, и требовалось в ней в 3 дня обойти все 13 селений и представить в райисполком протоколы собрания. Я пошел по деревням и стал пояснять, что пришло распоряжение, и что мужик должен обложить сам себя налогом, который называется «самообложение». Мужики ничего не могли понять и говорили, что и так налогов много, и тех не можем выплатить, а им еще мало. Все селения отказались принимать этот налог, и я представил в исполком протоколы собраний. Меня в этом обвинили, хотя виновником всему был судья района, назначенный ко мне уполномоченным по проведению этого налога. Он не приехал, и мне пришлось проводить одному. Но я как человек свой считался, то мужики меня не боялись и говорили: «Ты скажи им, что мы сами себя обкладывать не станем». Отдали меня

под суд. На суд я вызвал двух наших мужиков, которые пояснили на суде, что налог не прошел совсем не по моей вине, что я всеми средствами старался провести налог. Но в инструкции не сказано, что в добровольном порядке: хочешь — принимай, хочешь — нет. Я и сказал на суде: «Что же меня судить за это? Надо судить судью Санторина, который не приехал проводить налог».

Заседателями в суде были два моих товарища: один по школе, где за одной партой сидели, другой был председателем Коневского сельсовета. Оба они меня прекрасно знали. Суд ушел на заседание, и меня приговаривают на 6 месяцев условно. Я на это не соглашаюсь и подаю на обжалование. На этом все замирает, а я в это время отказываюсь от службы и передаю сельсовет другому лицу. Вести дело стало трудно, нужно было выявлять кулаков, а у меня их не было. Мой Спиринский сельсовет считался самым бедным. Мы даже не могли представить, что такое кулак, если человек не имел никогда работника или работницы. И как ты его будешь обкладывать?

После меня попал тот человек, который нашел кулаков и стал выгонять из домов самых трудолюбивых мужиков. Он был сыном одной слепой женщины. Он когда-то водил ее собирать милостыню по тем же деревням, где ему пришлось править. А от него тогда и двери запирали, и говорили: «Веди ты ее в другую деревню, что ты все время сюда приводишь?» Мать его все это помнила и знала все дома на память. И где его не так встречали — он там и давай искать этих «кулаков». В своей деревне пустил по миру человек 8. Я знал всех этих мужиков, но сделать ничего было нельзя. Все шло к тому, чтобы деревня обеднела и шла в колхозы. Так никто не шел. А больше взять мужика нечем — только обложить его индивидуально и выгнать из до-

му, чтобы другому вбить это в голову. И тогда все пойдут в колхозы!

Хозяйства стали распадаться, и мужики пошли по городам и лесным разработкам. В деревне, где было 50-60 хозяйств, осталось 10-15. Земля, как говорили мужики, остыла, родить не стала». Вот результат коллективизации.

Торжество бедноты стало полным. Они могли не только унизить, разорить, выслать, посадить в тюрьму более состоятельных соседей, но и пользоваться их имуществом, домом.

А.С. Бусыгин (1912): «Были общие собрания, где агитировали за колхозы. Создавались советы. В них входила в большинстве беднота, у кого толку нет работать. Сход бедноты обкладывал налогом население. Сколько взбредет в голову, столько и скажут. За неуплату били розгами или садили в чижовку хозяина. Его надо было выкупить. Продавали последнее, что было, и выкупали. Были карательные отряды, которые отбирали хлеб. Крестьяне копали ямы, прятали хлеб. Вот и мы утром мешки с зерном прятали, увозили их в осинник, а вечером, если все спокойно, везли обратно. Муку тоже прятали в ямах, в малиннике. Вначале в колхоз вступило семнадцать дворов. А через год вступили все».

Чужое добро чаще всего было новым хозяевам не впрок. Вспоминает И.А. Морозов (1922): «А бедняки въезжали в дома кулаков, и за 3-4 года обретенный таким образом дом снова превращался в бедняцкий: ни амбара, ни хлева, ни отгороженного отхожего места. А ведь было все. Не было только одного — привычки к труду».

Чтобы заставить крестьян вступить в колхоз, нужно было разорить для примера несколько более состоятельных односельчан. По всей России широко исполь-

зовали наложение непосильного налога — «твердое задание». Иван Петрович Улитин (1919) из Рязанской губернии рассказывает историю разорения и гибели своей семьи: «Жили мы в селе Ключаново Рязанской области. Отец и мать крестьяне. Оба неграмотные. Было нас три сына и сестра. Дом у нас был каменный. Раскулачивание у нас началось в марте 30-го года. В деревне было 130 дворов. Около 30 семей раскулачили. Из волости наезжали люди с оружием. Проводили собрания. Просили вступать в колхоз. Тех, кто отказывался, иногда заставляли силой. Если не идешь в колхоз, давали задание сдать 50 пудов в течение недели. Столько — мало кто мог сдать. Приезжали и отбирали все, а хозяев ссылали. Отца после раскулачивания отправили в Москву, в село Шатура. Сначала он сидел в г. Ряжске, в тюрьме. В Шатуре была колония для раскулаченных. Семью и меня самого сослали на поселение в Казахстан. Когда везли в Казахстан, брат младший по дороге убежал. За это мать посадили в тюрьму, и там ее замучили киргизы, которые охраняли».

Страх раскулачивания менял атмосферу деревни, рушились нравственные устои, казавшиеся незыблемыми, процветало доносительство. Хлынул поток спасавшихся от раскулачивания людей в город, на стройки.

«Люди раньше были очень дружные. Но почему-то в коллективизацию все озверели. Мы сами раньше были образцом для всех, а в коллективизацию стали всем негодны. Все наше хозяйство разгромили. Семья сперва была большая, а потом вдруг измельчались как-то. Муж-то мой уехал на Урал, а я осталась одна с маленьким сыном да со свекром 80 лет и свекровью 60 лет. Я обложена была «твердым заданием». А выплачивать не могла, вот и забрали у нас все: и лошадь, и корову. Вот тогда мы и уехали из деревни в город» (А.Т. Сапожникова, 1910).

Главный вред коллективизации нынешние старики видят в том, что крестьянин был отлучен от земли, лишен радости свободного труда. «До 1930 года русский человек, пока колхозы не стали делать, да НЭП была, был предприимчивый. Люди умели работать, не хуже англичан бы жили, если бы вот так не дали по рукам и ногам. А тут отучили работать-то всех эти колхозы» (А.В. Клестов, 1918).

Судя по всему, открытые восстания крестьян против новой политики все же были. Учитель Василий Николаевич Савинский (1908, Вятка) хорошо помнит о них: «На кулачество тогда уже активно наступали. Открыто. В Курилово я работал 2 года. Там положение другое было — зажиточное население и кулаки богаче. Вот говорят, до нитки их обирали, дескать. Ничего подобного. С обыском приходили, так ведь он, кулак, зерно закопал под пол. Оно гниет там, крыс множество, крысы даже под ногами бегают. Мы тогда с уполномоченным ГПУ ходили по домам — излишки забирали. И к таким вот применяли твердые меры. Лишали их только экономически. Не помню, чтобы у нас кого-то расстреливали. А те, которые к нам высланы были, хотели работать — работали и получали такую же зарплату, как мы. Так они в 1931 г. подняли «сабантуй». В Лузе тогда ни войск, ничего не было, только отряд, охранявший железнодорожную станцию и мост. Они из единственного пулемета по крышам домиков дали очередь, ну тогда и прекратили.

Кто жил в 20–30-е годы, тот знает, что такое классовая борьба. Вот в 1928 году появился у нас архиерей Ерофей. Это уж потом известно стало, что никакой он не священник, а во время гражданской войны был офицером царским, в банде Махно воевал. К нам он был послан для организации контрреволюционного мятежа. В апреле 1928 г. им удалось поднять на восста-

ние три сельсовета. Тогда ведь населения в них порядочно проживало.

На усмирение их нашего брата да военный отряд послали. А у нас только учебные винтовки были. Привезли нас, выгрузили — и по нам из обрезов. Ну нас полегло же, вернулись. Из Устюга были посланы войска: артиллерия, пехота и милиция. Ну их-то уже не потребовалось — артиллерии хватило. Банду ликвидировали, более 300 человек арестовали. Ерофею кто-то попал в лоб, так он часа три после этого жил, помер. Както на собрании я упомянул имя Ерофея, так меня с трибуны стащили и избили. Это в Никольске дело-то было. Почему? Так ведь здесь-то его все еще святым считали. Ну я им всю подноготную-то и рассказал о нем. Так ведь что интересно: крестьяне-то зачем на восстание пошли, зачем лезли-то? Выяснилось тогда, оказывается, у Ерофея план был поднять 3 сельсовета, соседние районы и двинуть к Белому морю с тем, чтобы захватить на море пункт для высадки англичан. У нас ведь тогда очень неспокойно было».

Комментировать пристрастный рассказ Василия Николаевича не берусь, хотя идея «двинуть к Белому морю, чтобы захватить пункт высадки для англичан» вызывает у меня серьезные сомнения. Судя по всему, восстания были редкими, стихийными и неподготовленными.

Нередки были случаи заключения в тюрьму упорно отказывающихся вступить в колхоз крестьян. Многие в тюрьме и умирали. «Помню, нас, молодежь, призывали агитировать своих родителей за вступление в колхоз. Мои родители были против колхоза. Жаль было земли, скота. Уполномоченные дали указание раскулачивать, чтобы принудить крестьян вступить в колхоз. Раскулачивали за то, что дом неплохой, что есть мельница, кузница — хоть на них и никогда не

было наемного труда Нас раскулачили: отобрали мельницу, масляный завод, даже самовар увезли. Отца объявили врагом советской власти, посадили в острог. Там он и умер через год. Раскулачили соседа Ивана Захаровича, он имел маленькую кузницу и работал в ней в обед. Чтобы купить лошадь, он продал хлеба, часть скота. За что его раскулачивали, не пойму. И дом у него был старый. Вот Андреевич тогда жил в старом доме, имел ветряную мельницу, которая почти всегда стояла. Семья была 12 человек. Он даже хлеба занимал у соседей, чтобы дожить до нового урожая. Помню, еще Илью Петровича раскулачили, он в каменном доме жил. У Филиппа Михайловича было 15 членов семьи! И только перед образованием колхозов два его сына отделились. Им надо было по дому строить. Он имел кузницу. В ней работал сын, но доход от кузницы был маленький. Но это не учитывали при раскулачивании. Кулаков у нас в Лаптенках не было, а людей все-таки привлекали за что-то» (Ф.П. Втюрин, 1904).

Для острастки важно было порой наказать одного, чтобы остальные замолчали и подчинились. «Как образовался колхоз? Сделали сход деревни и объявили, что будет колхоз, все будет общее. Кому охота, кому неохота — все должны идти. А если не вступишь, то все отберут. На одной вечеринке один парень спел частушку (он был не колхозник):

Все окошечки закрыты,
Здесь колхозники живут,
Из поганого корыта
Кобылятину жуют.

На него кто-то донес, его забрали и увезли. Больше его никто не видел. Были и единоличники, которые не

вступали в колхоз. Им дали немного земли. А потом они все равно вошли в колхоз. На них накладывали большие налоги, им было не под силу их выплачивать, и они вступили» (Т.Ф. Бахтина, 1919).

Очень часто доводилось слышать мнения, подобные этому: «Имели мы мельницу, кузницу, молотилку — работали хорошо. Нас всех раскулачили. Людей ссылали за труд». «Соседа нашего, деда Флора, ни за что раскулачили. Так он из дома вышел и молился на коленях. Никто ничего понять не мог. У всех на виду Флор был, и работа его честная. Как весна — он с утра раннего в поле. Вспашет и посеет раньше всех. Знали мы, чего это ему стоило. Придет с заходом солнца, накормит лошадь — на возу в лаптях и спит, а с утра снова в поле. Никто угнаться за ним не мог. Умел работать и землю любил».

Зависть, недоброжелательство соседей были мощным стимулом к раскулачиванию. Достаточно было чуть-чуть чем-то выделиться из общего ряда — и могли раскулачить. Рассказ Ивана Алексеевича Бажина (1918) вовсе не анекдотичен, в основном такие эпизоды кончались драматично: «Жили мы средне: имели лошадь, двух коров, кур и другую живность. Когда у нас началось раскулачивание, люди все говорили, что нас надо раскулачивать. Это потому, что дом у нас очень красивый был, с верандой. Ну отец мой сломал веранду, так и все кончилось. Мне в то время было лет 13-14, очень жаль было веранду — плакал».

Зачастую для выполнения спущенного сверху плана по раскулачиванию разоряли людей, уже вступивших в колхоз. Многое делалось вопреки здравому смыслу. Сотни тысяч семей были разобщены, судьбы людей сломаны и покалечены.

«В 4-м классе принимали в пионеры. Всех выстроили в шеренгу, встала и я. Учитель и говорит: “Козлова,

выйди из строя. Ты — дочь лишенца, тебя не принимаем". Мне было так обидно, но пришлось выйти.

В 1930-м началась коллективизация. Согнали весь скот во дворы, у кого большие. У кого что было — все отобрали. Год в колхозе пробыли. Потом план сверху спустили — раскулачивать. На нашего отца и нагрянули. Кулачили тех, кто пуще работал. Безроботь вся в колхозе осталась.

В 1932 году отца выбросили из колхоза. Увели корову, был дом-пятистенок, увезли. У меня была сестра с 1928 г. и тетка. Матери не было, умерла от воспаления легких. Выгнали нас на улицу. Куда хочешь, туда и иди. Вот нас подобрал дядя. Мы у него и жили до 1938 года.

Отца тогда обложили твердым заданием. Заставили сеять на плохой земле. Дали задание единоличное. Нанимал лошадь в другой деревне. Посеял овес — вырос, выжали, обмолотили руками. Привезли домой, свалили в избу. Один нашелся комсомолец (одно название), привел двух баб, залезли в окошко. Весь овес выгребли и увезли. И не знаем, куда. Первое задание отец выполнил. Его второй раз обложили, льноволокном. Он уже не мог выполнить. А уж больше нечего было. Все тряпки променяли. Тогда его лишили права голоса. Сначала не лишали, потому что он никак не подлежал. И ему подставили, что имел двухстаночную мельницу и сдавал землю в аренду. Не было ни того, ни другого. Он собирал подписи с населения, что ничего не было у нас. Он ездил в Нижний Новгород с этими подписями. Но там и говорить с ним не стали. Кто будет внимание на него обращать, простого крестьянина. Он два раза ездил, вернулся домой и стал ждать.

Но тут нашелся умный человек и посоветовал ему скрыться, не дожидаясь ареста. У отца отобрали паспорт и военный билет, чтоб не смог уехать. Несколько

дней он прятался в дровах. Потом достали ему документ, и он уехал на Урал. Полтора года ничего мы про него не знали. После он послал соседям письмо. Написал, что живет нормально, устроился плотником, строил дома от шахты. Потом отец рассказывал, что в общежитии, где он жил, каждую ночь приходили, уводили — и ни пены, ни пузырей. Он ложился спать и все боялся, что и за ним придут. Написал, что если дадут паспорт на 3 года, то нарисует 3 крестика, если на 5 лет-то пять крестиков. В 1938 году ему восстановили право голоса, и он вернулся домой, в свою деревню. Как ни зорили, а душа все болела о своей земле» (Т.А. Кокоулина, 1922).

Местные власти знали, что наказать их могут только за недостаточную решительность, низкий процент раскулаченных, малое число колхозов. Чтобы объявить кого-то кулаком, нужны были хоть какие-то, пусть фиктивные, поводы (сельхозмашина, большой дом, кузница), но чтобы объявить любого крестьянина подкулачником, не требовалось и этого. Можно было сослать кого угодно, хоть бедняка, хоть середняка за агитацию против колхоза.

Страх и после коллективизации надолго сковал уста крестьян, ведь аресты по любым поводам продолжались. «Коллективизация такая была: уполномоченные сганивали, уговаривали всех. Если не шли в колхоз, дак им давали самую плохую землю на отшибе. Куда деваться-то, вступали в колхоз, выхода больше не было. Тогда было так — все боялись слова сказать! За слово садили. Отца посадили. Было так: на кого зол — на того напиши «враг народа», его и заберут. Отец был сторожем в колхозе, старовером. Написали, что он народ агитирует. Посадили его в 1937 году по 58-й статье. И напарника его, 22-летнего парня, тоже увели. А тот-то какой «враг народа»? И не старовер, и ниче-

го! Жена с ребятенком у него осталась. Никто не знал, что и где тятя сидел. Мать раз ходила в НКВД, дак ей сказали, что доходишь — сама попадешь. И брат Николай ходил — тоже ничего. Тысячи погибли народу. Так и не знаем, где отец погиб. Как жалко было. Из ближних деревень многих садили» (А.Н. Евдокимова, 1913).

Пусть редко, но встречались и благополучные колхозы. Как правило, они существовали в 30-е годы в дальних маленьких деревнях, где все были родственниками. Колхоз там был чем-то вроде патриархальной большой семьи. «Коллективизацию в нашей деревне встретили хорошо. В колхоз свели все по лошади, собрали весь сельхозинвентарь: телеги, сани, кошевки, тарантасы, плуги, бороны. Стали пахать коллективно, все весенние работы проводили колхозом. Все делали без разногласий. Пожилые с лукошками сеяли, молодежь заборанивала. Может, где плохо было, но нам коллективизация понравилась. В первый год коллективизации поехали на покос. У кого-то красный кушак был. Его прицепили на шест как флаг. Установили его на первую лошадь. Андреевна Егориха взяла подсвечники и била по ним всю дорогу как в бубен, аж все руки до крови избила. Ехали на работу с гармошкой, песнями. И работа у нас спорилась. Пахали землю так, что она, как пух, была мягкая. На трудодень давали в хороший год 3 кг хлеба и 2-2,5 рубля. Колхоз наш делал кирпич и вырученные деньги давал на трудодни. В конце года от деревни по 1 или 2 человека посылали в Москву, за одеждой. Хорошо жили вплоть до войны. Никто у нас не преследовался. Беднота была, да что с нее взять, кроме лаптей (А.В. Вершинина, 1921).

Повсеместным было раскулачивание крестьян-середняков, имевших по одной лошади и корове и не использовавших никогда наемного труда. Феофилактова

Антонина Алексеевна (1916) хлебнула много лиха, хотя была из середняцкой семьи: «Родители середняками были. Жили единолично. Стали у нас организовывать колхозы. Сначала нас взяли в колхоз, потом посчитали зажиточными — выбросили из колхоза. Обложили твердым заданием. Земли-то было, может, 5 гектаров всего. Намолотишь — не хватает. За это отца судили, посадили в тюрьму. Потом его выпустили, купил он лошадь, его снова обложили заданьем.

Один раз они с мамой уехали в Суну хлопотать насчет заданья, там и ночевали. Мы дома с сестрой Тасей. Приехали к нам председатель колхоза и член сельсовета, ну и вытащили у нас все окна, чтоб нас из дому выселить. А мы не ушли, заткнули окна тряпками, одеялами, матрацами, залезли на печь и просидели всю ночь. Это нам родители так велели. Когда приехали родители, эти окна заложили — тюлек напилили, оставили одно окно в сенцах, так и жили. Еще это у нас 8 домов раскулачили, и всех ни за что. Отец мой работал, не держал никаких работников. Были в деревне бедняки. Они собирали бедняцкие собрания, они все решали с этими раскулаченными людьми. Обыски устраивали, не появится ли чего ценного, чтоб забрать. Вот дед добрый один, бедный, дед Вася, ходил все на собрания, придет с собрания, его жена идет к нам и говорит, что убирайте все, чего есть хорошее, а то обыск придет. Мама узел здоровый навяжет, я перепугаюсь, метну на плечо и бегом его в вересье. Вересье-то было за усадьбой. А обратно эти узлы уже не можем нести и делим узел пополам. Все забирали, что попало. Я вот все думаю: кабы я нашла дорогу, поехала бы в Москву жаловаться к Сталину, что нас раскулачивают неправильно.

Пришли к нам из сельсовета просить деньги за квартиру, а дом-то наш был, чего мы будем платить за

него. Было сколько-то денег, мать их взяла и спустила за лавку. А Тася, сестра, схватила их и убежала на улицу — ходи ее ищи. Эти из сельсовета ходили, как хорошие жулики, отбирали и набить даже могли. А заступиться за нас некому, они же — советская власть. У нас была корова, лошадь и овечек, не помню сколько. Корову у нас в район увели, а мы с мамой ходили туда. Мы идем, и стадо уходит, узнали свою корову и закричали: «Малуха, Малуха!» Она к нам бегом прибежала, и мы ей хлеба кусочек дали. Пошли — она за нами идет, а мы ревем».

Раскулачивание было реальной угрозой, заставлявшей крестьян вступать в колхозы. Правда, и здесь вариантов было очень много: от сел, где большинство хозяйств раскулачивали, до сел, где вовсе не было раскулачивания. «У нас в деревне Чухватки из 12 дворов 10 раскулачили. Эти так называемые «кулаки» имели лошадь, корову или две, да и зимой ходили на приработки. Они и жили в достатке. А в двух хозяйствах не держали никого, и всю зиму печь давили, но имели по тальянке. Мужики-то сеют-пашут, а Саня с Петей у себя на огородах на тальянках играют. Так соседи им потом и вспашут, да из своих семян посеют. Выслали эти 10 семей, а те две семьи сами убежали» (И.Г. Юрьев, 1919).

Любопытно, что во многих рассказах упоминается некий временной промежуток прежней единоличной жизни, когда коммуны уже распались, а колхозы еще не были созданы. Г.Ф. Мусихин (1921): «Сначала была коммуна, но она мало просуществовала. Свезли все вместе, даже сделали общую столовую, но все почему-то ели дома. Когда вышла статья Сталина «Головокружение от успехов», мужики тогда уехали за семенами, и женщины посчитали, что все это хозяйство надо разобрать. Приехало начальство из района и стали

всех снова загонять, но у них ничего не вышло, и год прожили без коллективизации. Через год собрали собрание. Половина деревни, в том числе и мой отец, записались в колхоз, а половина — нет. Колхозу дали ближние земли. Его назвали имени Яковлева, тогдашний нарком земледелия. Только тогда свели всех лошадей и собрали орудия труда. А кто не вступил в колхоз, называли подкулачниками. Много выселили из нашей деревни и куда-то всех увезли, мы так о них ничего и не узнали».

Характерно, что женщины-крестьянки более резко были настроены против колхозов.

Отлив из колхозов в 30-м году вызвал на короткое время изменение в действиях уполномоченных и агитаторов. «Когда училась в институте, началась сплошная коллективизация. Все были мобилизованы. Я была в бригаде заводов. Три месяца ходили из деревни в деревню, проводили собрания, брали измором. Мы были вооружены, так как в лесах кулаки стреляли. У нас был лозунг: 100% коллективизация! За выполнение лозунга премировали. По одному не ходили, кулаки могли напасть. Спали вповалку — один дежурит. Записывали насильно, не записался — значит кулак. Раскулачить! Вдруг всех отзывают, говорят, что это перегиб, не надо насильно загонять, торопить» (А.А. Жуйкова, 1904).

Негативное отношение основной массы крестьянства вызывало то, что бедняки встали во главе вновь созданных колхозов. Коллективизацию крестьяне воспринимали как возвращение продразверстки. Но вспоминаешь те годы, и не хочется этого делать. Люди сдали все в колхоз. Часть бросила дома и уехала в город. Во главе колхоза ставили тех лентяев и выпивох, которые плохо работали на своем подворье. Люди это очень переживали. Хозяина во главе колхоза они не

видели, а русский человек всегда уважал только работящего мужика. Восстаний, поджогов, убийств, как показывают сейчас в кино, в округе не было. Кто же будет уничтожать свое добро, нажитое годами труда и отданное на хранение в колхоз. Ведь мужик серьезно не верил в колхоз, он думал, что, мол, поиграют большевики и успокоятся. Но большевики не успокоились, началось раскулачивание. Настоящих кулаков в округе не было, было много хороших, работящих, настоящих мужиков. И вот новая власть в деревне в лице бывших лодырей стала грозить всем средним хозяйствам раскулачиванием. Особенно тем, кто не поил их самогоном или водкой. Начали заниматься вымогательством. Немало хороших хозяйств было ликвидировано: отбирали дома, мужиков с женами ссылали, стариков с детьми пускали по миру. Оставшихся детей и стариков обычно соседи брали по своим домам, кормили, поили, одевали. Один из домов, конфискованный государством, соседи собрали деньги и выкупили обратно, передав семье, в которой было 10 детей» (И.Ф. Русов, 1904).

Коллективизацию этот рассказчик считает первоисточником всех следующих бед русской деревни.

Коллективизация шла не одновременно и не равномерно на всей территории страны. Там, куда хлынули потоки сосланных и арестованных крестьян, народ был уже запуган. Вообще тактика запугивания, раскола крестьянства сработала в коллективизацию очень сильно. В ходе коллективизации происходило изменение норм общения в деревне, взаимоотношений. Вот что говорит об атмосфере в родной деревне Скрябине в период коллективизации Михаил Васильевич Котельников (1921). Его рассказ — это не только история одной деревни периода коллективизации, но история всей русской деревни того времени, расска-

занная им ярко, образно, с сохранением колорита эпохи.

«Люди в одной деревне жили неодинаково по разным причинам. В некоторых семьях было много едоков, а мало работников. В других работали с прохладцей и вели хозяйство спустя рукава. Всегда они оставались в долгах, особенно в хлебе. Были и такие из всех деревенских, что жили совсем бедно. Их избушки крыты соломой, скот не держали и в основном сбирали по другим деревням. Им не укажешь, коль так задумали жить.

В 1928–1929 годах появилось много прохожих людей, собиравших по деревням милостыню на пропитание. Они рассказывали, что там далеко, на Волге, была засуха, хлеб не уродился, люди мрут от голода, да и есть указ советской власти в деревнях всех крестьян объединять в коммуны и колхозы, принимать в них будут только бедняков, а кто живет хорошо — у тех будут отбирать землю и хлеб, и скот. Деревенские мужики и взрослые парни почувствовали большие перемены в жизни деревни. По железной дороге на Котлас почти ежедневно шли составы товарных вагонов, в которых везли людей целыми семьями. Эти вагоны-теплушки охранялись конвоирами с собаками. Люди говорили, что везут на север, на Печору «контру» и кулаков, которые идут против советской власти. Мальчишки моего возраста босиком бегали на разъезд посмотреть на эти охраняемые поезда с людьми.

Мужики и бабы стали сдержаннее друг с другом, даже сосед с соседом. Из деревни ночью выехали два брата: Степан и Иван с женами, а куда уехали, никто не знал. Уполномоченный из сельсовета приехал в деревню, передал скот беднякам и два дома посреди деревни заколотили досками. Стали убывать из деревни молодые парни, которые не успели пожениться и обзавес-

тись семьей. Шли слухи, что уезжали в Архангельск и Мурманск — там берут без паспортов и метриков на пароходы. Осень 1929 года принесла в жизнь деревни большие перемены. В деревню приехали уполномоченные с района и председатель сельсовета Кочкин. Собрали всех людей деревни «под липу», здесь обычно собирали деревенский сход еще в незапамятные времена, стали объяснять, что, мол, для лучшей жизни в деревне советская власть предлагает всем жителям деревни объединиться в коммуну. В коммуне все будут равными, не будет ни бедняков, ни батраков, земля и скот будут общими. Все будут питаться из одного котла, будет организована общая деревенская кухня и столовая. Несколько дней длилась канитель организации коммуны. Большинство деревенских семей подписались за организацию коммуны, однако ночами стали уничтожать, пускать под нож свою скотину, особенно овец, чтобы не сдавать в общее стадо. Пустующие два дома и все дворовые постройки к ним использовались для столовой и красного уголка. Загнали скот, амбары использовали под хлеб. Вся эта затея с коммуной шла подчас трагически. Несколько крестьянских семей отказались войти в коммуну, а престарелые, особенно старушки, сидели дома — никуда, ни в столовую, ни на улицу не выходили из домов, и, молясь Богу, причитали: что же это? Не преставление ли света? Появлялись деревенские ссоры, доходившие до драк. Иногда безлошадный мужик запрягал в сани чужого коня, или один меньше другого подвозил зерна к общему амбару. Куда-то исчезла прежняя крестьянская дружба и радость труда. Дети и подростки часто ругались и дрались между собой, меньше пели девчонки, и стал замолкать голос гармошки, хотя гармонистов в деревне было немало. Зима и начало 1930 года в деревне прошли спокойно. Я уже ходил в школу за

полторы версты в деревню Тчаниково. Школа была в пятистенном доме зажиточного мужика Фильки Пугаря, который тоже, как и многие другие, перед организацией коммуны уехал Бог знает куда. Ребятишки и девчонки ходили в школу из 6-ти деревень. Верхняя одежда: шапка, зипун — сшиты из овечьих овчин, рубашка, штаны — из сурового домотканого холста и покрашены черной и синей краской. Валеночки имели не все дети, остальные носили лапти и портяночки, обмотанные веревочками из липовой коры. Да и взрослые деревенские одевались небогато, для праздников хранилась одна рубаха и штаны, а в обыденную рабочую пору носили всякую одежду, даже сплошь штопанную заплатками. У каждого школьника была сшита сумка из холста на лямочке через плечо. Туда укладывали тетрадки, кусок хлеба и две-три картофины и четушку молока — это провизия на обед. В деревне нам в столовой приходилось поесть только вечером, да и то после того, как поужинают взрослые. Мы называли этот ужин захлебетник.

Весна 1930 года была ранней, во второй половине марта снег убывал с невероятной быстротой, днями солнце так пригревало, что пришлось убирать остатки снега с крыш домов и других построек деревянными лопатами. В начале апреля, кажется, 11 или 13 числа, ожидали праздник — Пасху. В праздничные дни готовили что-нибудь вкусное из еды и обязательно варили яички куриные в луковых перьях в чугунке, тогда они получались светло- и темно-коричневые, а иногда с крапинками — это большая радость ребятишкам.

Однажды утром я проснулся, а на улице шум, крики, мычание коров, блеяние овец и еще что-то непонятное. Мы, дети, выбежали на улицу из дома и сначала не поняли, что случилось. Люди: мужчины, женщины, подростки разгоняли коров, телок, овец по своим

дворам. «Коммуна распалась!» — кричали все и тащили к своему дому, кто сани, кто хомут, кто вел своего коня, приговаривая: «Будем жить по-старому! Зачем нам коммуна?» Больше двух недель мужики уточняли и распределяли сначала скот и зерно по дворам — в зависимости, кем и сколько было сдано в коммуну; потом делили сено, солому, фураж и всякую утварь — вплоть до ложки, ножа, топора и ведра. Несколько семей в деревне от коммуны не получили ничего — ведь они ничего туда и не сдавали, а прокормились всю зиму справно.

Уполномоченные из района и сельсовета снова определяли на каждое хозяйство налоги сдачи государству хлеба, молока, мяса. Шли разговоры, мол, коммуна распалась из-за кулаков. Кулаки идут против советской власти, их надо ликвидировать как класс. Бедняки стали объединяться в группы — Советы вместе с молодыми активистами. В газетах сообщалось, что крестьяне объединяются в ТОЗы, а где-то организуют колхозы — и это главная линия коллективизации сельского хозяйства. После встряски, которую дала коммуна, мужики снова по единоличному способу с ранней весны готовились к севу хлебов. В полях все полоски были прохожены каждым хозяином, поставлены в борозды тычки с «пятном» (знаком), присвоенным семье жителя деревни по родству из старины. В душе радовались развалу коммуны, которая не обещала хорошей жизни крестьянину. По талому снегу на лошадках, запряженных в сани, мужики старались как можно больше вывезти навоза, каждый на свои полоски земли. Деревенские люди снова вставали с восходом солнца и любую работу выполняли с необыкновенным прилежанием. Дети бросали школу и помогали в работах семьям. Стали забываться обиды, но жизнь каждой семьи проходила по-разному. У некоторых мужиков не

было ни зернышка, чтобы обсеять землю, и они пошли в «заем» к тем, кто не вступал в коммуну. В каждом доме с любовью ухаживали и за скотиной, ведь она стала своя, а не общая. За лошадкой уход был особый, на хорошем коне держалось все хозяйство в исправности. Сев хлебов, посадку картофеля и все полевые работы закончили рано — до Троицы. Однако в полях после сева можно было встретить и незасеянную, пустовавшую полоску земли, о чем раньше грешно было и подумать. «Земля пустует у Ваньки Николькина», — говорили люди в кулак шепотом, зная, что Ванька — бедняк и состоит в Совете.

Престольный праздник, Троицын день, встречали по-праздничному, ждали гостей, больших разговоров, готовили вкусную еду. В шести верстах от деревни, на разъезде Новый, на железной дороге строили лесопункт. В длинных деревянных бараках, обнесенных забором, жили и работали «высланцы», как их называли в деревне. Эти люди заготовляли лес, тесали шпалы и грузили их в вагоны. На подвозку шпал стали назначать мужиков с лошадками из ближних деревень по разнарядке из сельсовета. За зиму надо было выработать 40 трудонорм каждому мужику, направляемому туда. А направляли в основном тех, у кого лошадка упитана, да и сам мужик справный. В народе пошел разговор, да и газеты писали, что в стране идет сплошная коллективизация, деревня объединяется в колхозы. Привезут, мол, трактора, косилки, молотилки и другие машины. Осень 1932 года памятна всем, кто жил в это время в деревне. Приехали уполномоченные из района и сельсовета, собрания жителей деревни собирали с раннего вечера и при керосиновой лампе просиживали до утра. Предлагали организовать колхоз, в который входили бы три деревни: Скрябино, Грибачево, Тчаниково. Согласие записаться в колхоз дали

5-6 людей, которые и так жили, как говорят, из кулька в рогожку. Более толковые и трезвые мужики убеждали, что коммуна доказала, что это путь неправильный, а колхоз почти то же самое. Время шло, наши деревенские не записывались в колхоз. Они говорили, что будем платить налоги, сдавать государству хлеб, мясо, молоко: не нужно отбирать у мужика землю, скотину, инвентарь. Но в районе к концу 1932 года уже организовали несколько колхозов с названием «Свобода», «Восход», «Имени Молотова», «Красная Звезда» и другие. Это все описывалось в листовках и в районной газете «Знамя Севера», которая стала выходить с 1 января 1932 года. Стали искать виновников, кто саботирует организацию колхоза. В одну из зимних ночей из деревни вывезли две семьи на станцию Пинюг и отправили в вагонах на север. После таких мер собрания пошли сдержаннее, в большинстве случаев молчком. Люди говорили: «Язык иногда враг. Зачем Мише Митькину и Ване Петину понадобилось кричать на собраниях? Нашли себе дорогу на север». На одно из собраний уполномоченные привезли мужиков из деревень Грибачево и Тчаниково, которые сказали, что жители их деревень записались в колхоз. Один за другим под выкрики и плач баб мужики, подписывая согласие войти в колхоз, подходили к столу, где сидели уполномоченные власти. Общее собрание жителей трех деревень происходило в Тчаниково в доме школы. Организованный колхоз назвали «Комбайн». Председателя привезли из прихода Михаила Архангела Савина Михаила Офремовича, мужика лет 45. Контору определили в этой же деревне. Наметили строительство скотного двора для коров, телятника, склада под зерно и других нужных хозяйству построек. В каждой из деревень остались хозяйства, которые категорически отказались от вступления в колхоз. В нашей деревне таких

было 4 хозяйства. Через года два их «затвердили» — определили каждому налог сдачи хлеба, мяса, молока, который они выполнить не могли, и все их пожитки сдали на торги с молотка (как кулаков), а самих вывезли на другие поселения.

Людей в колхозе было достаточно. Все намеченные постройки были сделаны. В каждой деревне в опустевших дворах организовали конюшни, овчарни и свинарники. Бригадир был теперь хозяином в деревне. Он планировал завтрашний день, давая ежедневные наряды на работу, учитывал труд каждого работающего от мала до велика. Терпеливый и трудолюбивый деревенский люд стал привыкать к новой жизни, где все не свое, а колхозное. Но в эти первые годы колхозной жизни люди к труду относились добросовестно, стремились больше заработать трудодней в семье, хотя на каждый трудодень в конце года получали несколько сот грамм зерна».

Коллективизация привела к разгрому устоев русской деревни. Вспоминает студентка пединститута того времени: «Летом была 2 месяца на практике в селе Старая Тушка. В 1930 г. не стало там загонов для коров за рекой, коровы были обобществлены, народ стал другой. На полях, на жатве можно было слышать похабщину даже от женщин. Был разгромлен старинный кирпичный завод, закрыты частная типография, печатавшая старорусские и старообрядческие книги, иконописная мастерская. Раньше семьи были патриархальные. Старший всегда почитался главой до конца жизни. С уважением относились друг к другу. Пойдешь в лес по ягоды, грибы, орехи — устанешь, присядешь у деревни. Из чужого дома позовут, угощать станут, хотя не знают. Постороннего человека нужно встретить, обогреть, накормить — и это норма жизни. Гадали часто на праздники. В Крещение в любой мо-

роз девушка в кокошнике, в сарафане, девки шли к реке, к проруби с песнями, брали «святую воду» и заготовляли на целый год. Ничего этого не стало» (А.А. Жуйкова, 1904). Многие верующие считали колхоз делом дьявольским, нечистым. «В 1935 году у нас коллективизация проходила. Отец в колхоз записался, меня записал. А мама нет. Все мне говорила: “Ой, ведь ты в аду будешь”. Тогда ведь считалось, что колхоз — это грешно» (Н.И. Трушкова, 1920).

Распад многих сот тысяч семей в годы коллективизации — это трагедия миллионов разом осиротевших детей.

Вот рассказ одного из них (Даниленко Лидия Ульяновна, 1924): «Да, о коллективизации я могу многое рассказать. Этого просто никогда не забыть мне, если даже хотелось бы. Неизвестно, как бы я жила сейчас, если бы не это. Мне было 4 года, когда нас раскулачили. Это был 28-й год. Семья была большая у нас: мать, отец, бабка, дед и пятеро детей. Самому старшему 12 лет было. Дом имели большой, две коровы, лошадь. Не было у нас никакого наемного труда, работать просто хорошо умели. А мать еще болела сильно очень. А тут только ночь начинается, все дрожат, зубами стучат. Я не знаю, но к нам несколько ночей подряд приходили какие-то, что-то искали. Громко разговаривали. Отец пропал куда-то, как в воду канул. Ну потом-то я уж поняла — скрывался он. Мать в тот же день, как выгнали нас из дома своего, умерла. Бабка умерла через два года. Дед-то мой еще до революции приказчиком был у лесопромышленника. Так его, конечно, за кулака и посчитали, сослали в Лесное, нас, пятерых детей, разобрали всех добрые люди. Пришлось столько ухищрений всяких проделывать, чтобы на всю жизнь клейма не осталось, что кулацкий ребенок. Но жили все мы хорошо, все получили высшее образование, хотя в ре-

зультате у всех разные отчества. А отец мой объявился потом, через несколько лет уже он повесился».

В раскулачивании своих односельчан для местных властей, бедноты был существенный резон. Имущество раскулаченных описывалось и продавалось на сельских торгах за бесценок. Соблазн поживиться за счет своих однодеревенцев отвергали не все. «Когда в Банниках Пойлова раскулачивали, то мы на семи подводах везли. У меня на санях было 7 бочонков. Тарас Ильич, мы заехали в лес, и говорит: «Давай скинем». Я мал был еще, заплакал, говорю, что меня отец испорет. И все же они выкинули. Привезли в склад и на питание беднякам. Тряпки хорошо распродали на аукционе, а остальное — в коммуну. Попадье говорили — одевай хоть 10 платьев, а с собой ничего не брать. В 30-31 годах высылали. И больше ни слуху, ни духу».

Даже в тех тяжких условиях крестьяне порой иронизировали над своей жизнью, сохраняли своеобразный «юмор висельника». Вот такой случай: «Мужики из деревни Пелевки никак не идут в колхоз. Их всячески уговаривали, пугали, но все-таки в колхоз затащили. Стали думать, как назвать колхоз. Один в шутку говорит: «Назовем колхоз “Некуды деваться!”»

До 1937 года многие тысячи крестьян, оказавшиеся между молотом и наковальней, не посаженные, но лишенные всех человеческих прав (в том числе и права на труд), были постоянно на мушке. «Хорошо помню коллективизацию. Проходила она невольно. Завели нас в колхоз, потом выгнали, как негодных элементов. В 1929 г. было 3 колхоза: «Хлебороб», «Искра» и «Партизан». Самый бедный был «Искра», посильнее «Партизан», самый сильный «Хлебороб». Беднякам землю дали близко, «Партизану» похуже, а нашему «Хлеборобу» землю дали дальнюю залежь. Поехала комиссия по полям, признала у нашего «Хлебороба»

лучше всех хлеб. Приехали оттуда и порешили нас всех выдворить из колхоза за то, что хорошо отработали в поле. Пошла буза по деревне.

Было две коровы в хозяйстве. Одну отдали бедняку, другую оставили. В августе приехал вербовщик из г. Первоуральска и завербовал на завод Первоуральский. Я работала там зольщицей, трубы прокатывала. Отец работал на Трубстрое плотником. Потом отец вызвал и мать на Трубстрой. Потом пришла справка, что его берут в колхоз. Он уехал в деревню и вступил в колхоз. Потом снова выгнали как кулака, не давали документы и никуда не принимали. Они уходили с матерью в поисках куска хлеба, а дети дома были одни. Так было до принятия Конституции СССР 1936 года. После этого их приняли в колхоз и дали в 1937 г. на трудодень по 32 кг зерна, за 1938 г. — по 16 кг на трудодень, а потом все хуже и хуже» (А.Ф. Шмелева, 1915).

Видимо, какие-то формы неорганизованного сопротивления были. Все зло мужики видели в конкретных лицах, организовавших колхоз у них. Студенты, сельские учителя, медработники волей-неволей стали агитаторами. Грамотных в деревнях было немного, поэтому все мало-мальски грамотные люди обязаны были участвовать в организации колхоза. «Я в то время уже работала, считалась грамотной на селе, поэтому ходила агитировать на собраниях. Уговаривала, а то, мол, твердое задание дадут, с которым не справиться. Ходила по домам, когда описывали имущество. Я писала. Помню один случай. Пришли как-то описывать, а описывать-то нечего. Старик взял с заборки весы, да об пол. Я тихонько ушла. Неловко было перед человеком. В деревне Исакове было много кулаков. Эта деревня долго была против колхозов. Приехали в Исаково. Я, еще одна учительница и партиец-уполно-

моченный сидели всю ночь на собрании, все агитировали. После собрания пошли домой. А тут река и огороды рядом. У уполномоченного был фонарь электрический. Он как осветит туда, видны стали согнутые две или три фигуры, по огороду бежали вперед. Нам нужно было пройти через перелесочек. Уполномоченный держал их на фонарике, пока мы бежали до перелеска. Так он их задержал. А мы прибежали ко мне домой. Зажгли лампу. Если бы не уполномоченный, они бы с нами разделались. Богатая эта деревня была, уж очень много в ней кулаков было» (В.А. Ведерникова, 1911, учитель).

«У нас в доме жил уполномоченный по колхозам. Однажды он пришел весь замерзший. Бабушка напоила его чаем с малиной, положила ему на кровать еще один самодельный матрас, набитый сеном. А кровать стояла у окна. Ночью стреляли. Настолько все точно вымеряли, что если бы не матрас, то наш жилец погиб бы. А так — пуля застряла в матрасе. Помню, кулаков выселяли — и тут же продавали их имущество за бесценок. Помнится, отец купил мне тогда шелковый шарф за 15 копеек, а брату бостоновый костюм за рубль. Сколько было слез, крику! Среди них были люди и хорошие. Они своим честным трудом все нажили. К кулакам пристегнули и середняков — и всех выселили» (В.Ф. Губанова, 1919).

Патриархальность привычного уютного крестьянского мира взрывалась достижениями науки и техники XX века. Власти использовали их в своих целях. Умело разобщались слои крестьянства. На смену прежней иерархии внутри деревенских отношений пришла новая. Вот любопытный эпизод. «Когда я киномехаником был, помню приеду в с. Караул фильм крутить, так они больше на меня смотрят, чем на кино. Говорят: "Как человек живые картинки делает?" Но мы себя вы-

ше не считали. Помню, билеты продавали на показ в кино (1930 г.): беднякам по 5 копеек, середнякам — по 10 копеек, подкулачникам — по 15, а кулакам — по 20 копеек. А на входе стоял член сельсовета и говорил, кому за сколько билет продавать. В каждой деревне был выборной член сельсовета. У них даже был опознавательный знак».

А вот так в общем-то уже достаточно взрослые дети описывают раскулачивание: «К нам приходили описывать имущество 3 человека. Отец взял фонарь и повел их по хозяйству показывать. В доме были две коровы, лошадь. Дети испугались, забрались на печку. Обошли весь дом. Один говорит: "Ничего у него нет, одни огарки на печке сидят" и показал на детей. Отца, брата и дядю забрали, посадили в тюрьму на 3 месяца, называли "врагами народа", но потом выпустили» (Н.В. Шуплецова, 1919).

«Я замуж пошла во всем портяном. У нас раскулачивали всех. У кого были корова и лошадь. Обкладывали твердым заданием. У меня отца тоже посчитали за богача и отправили с матерью по разным местам на лесозаготовки, а нас, шестерых детей маленьких, оставили дома со стариком. Сталина раньше здорово одобряли. Портреты в комнатах висели. Я и сейчас к нему хорошо отношусь» (А.Н. Видякина, 1913).

Зрелища жестоких репрессий не могли не повлиять на детей даже в том случае, если они оставались просто зрителями. «Когда мне было 7 лет, а брату 10, мать умерла. Потом я жила у дяди. Они нас усыновили и воспитывали, а мы должны были их содержать до старости.

Колхозы у нас образовались, когда мне было 12 лет. Нас первыми записали в колхоз. Сказали: "Сирот записываем первых". Дядя сказал тетке: "Как теперь быть? Они колхозники, а мы нет". А тетка твердила:

"Что ты, Егор, и мы запишемся". Дядя был недоволен, но после раздумий через неделю и они вступили в колхоз.

Помню еще, как раскулачивали кулаков. Их отправляли в Сибирь целыми семьями. Забирали и трудовой народ, большой перегиб был. Когда я училась в 3-ем классе, пришли мы как-то в школу, а нас туда не пускают. Раскулаченные стояли битком в школе, в наших классах, голодные и холодные, кричали: "Принесите хлеба!" Пока их отправляли, нас 3 дня не учили. А потом их увозили в Сибирь, в лес, где они строились и жили. Когда их дети выросли, то приезжали и рассказывали, что тяжело пришлось, люди от раскулачивания убегали. Вот какая раньше жизнь была, нечем и хорошим вспомнить» (Т.И. Перминова, 1916).

Встречаются рассказы о том, как вся деревня выступала против раскулачивания. «Везем мы полную телегу раскулаченных, уж поздно вечером, а мужики из отряда самообороны того села нам дорогу загородили. "Оставляйте их дома", — говорят. Да все с ружьями. Думали уж — все, да как-то уломали их» (А.Ф. Каманин, 1908).

По отношению к упорствующим в нежелании вступать в колхоз местным властям можно было все. М.Р. Новиков (1911): «Раскулачивали всех подряд: нищих, которые изо дня в день работали. Был в деревне Степан, у него даже лошади не было, он на жене пахал — тоже раскулачили. Все труженики, но все врагами оказались. Еще в деревне семья была: бабка с внуками, не шли в колхоз, так у них окна выбили, дверь с петель сняли, все, что можно, отобрали. Бабка лежит на печи под тулупом и плачет от бессилия, а внуки — от страха».

И несмотря на все эти зверства, чудовищную жестокость, свирепые гонения властей — многие сумели остаться людьми, не озлобились, тянулись душой к род-

ной земле, в которой у них были такие прочные корни. Татьяна Алексеевна Буторина (1907) как раз из таких людей: «В 30-е годы нас лишили голосу ни за что. Сочли нас за кулаков. Стали накладывать большие платежи, не под силу нам это было, сделали опись, дом у нас продали, имущество все увезли. Когда выгоняли из дома, люльку с ребенком выбросили на улицу и соседям показали, чтоб нас никто не пускал, а если кто пустит, то и с ними так же поступят. Кто выгонял — не знаю, коммунисты или кто другие, до сих пор не знаю. Нам было некуда деваться. В это самое время приехал вербовщик. Мы завербовались в город Уфу на строительство железной дороги. Жили на квартире, работали примерно около года, я очень стала тосковать о сыне, которого оставила у мамы. Мы снова приехали в свое родное место, увидели, что наш дом еще стоит, и мы с мужем ходили в сельсовет, стали упрашивать, чтоб нам его отдали обратно. Пришлось нам свой дом за большие деньги брать. Так и жили, звали нас лишенцами, но мы не обращали внимания, жили, работали, старались, опять помаленьку обживались и налоги платили непосильные, а куда деваться было — всю жизнь не будешь скрываться».

Не все, конечно, смогли пережить этот полный крах всего лада и строя своей жизни. Многим казалось, что из их жизней вынули смысл и жить больше не для чего. Частыми стали самоубийства. Она же продолжает: «А соседа одного также раскулачили, ему некуда было деваться, так он повесился на березке. Золовка у меня жила в селе Крымыже, двор у них продали, лошадь взяли, послали на лесозаготовку, лошадь там у них пропала. А было у них четверо детей, все забрали. Детей кормить было нечем. Муж от такого переживания задавился. Церкви были закрыты, священника расстреляли на кладбище у толстой елки».

Многие раскулаченные перед арестом, ссылкой передавали часть чудом сохраненного имущества родне, соседям, прятали — зарывали в землю имевшиеся в очень редких семьях ценности. Земля, как в годы великих смут и войн, принимала на хранение все. Правда, востребовать назад удалось немногим. К.И. Тарбеева (1909) помнит: «А вот насчет кладов, так мы сами его зарыли. Когда проходила коллективизация, мы все собрали в чугунок, а золота у нас было очень много, так как отец воевал на гражданской войне в белой армии, они ведь тогда грабили, у него были золотые кресты — награды, и вот все кольца, золотые брошки. Эти кресты мы и закопали в чугунке под корнями большого дуба. Но сейчас этот клад искали и мы, и наши дети, внуки, но найти его не могут, а то, что его никто не взял, то это точно. Я думаю, что его сильно обвили корни, и сейчас он где-нибудь в дубе. Тогда многие закапывали свое золото. Года два назад у нас умер старик, он жил один, и вот когда стали осматривать его дом, то на крыше, под шифером, нашли у него золото».

Трудна и смертельно опасна была дорога на Север, в Сибирь, Казахстан. Наиболее трудолюбивую и работящую часть русского крестьянства уничтожали сознательно, целенаправленно и с бессмысленной жестокостью.

Спецпереселенцы — на эту тему еще будут многотомные исследования, но вот одно свидетельство. Александра Андреевна Феофанова (1918): «К нам на Кулай потом таких мужиков пригоняли — иной раз даже в лаптях и холщовых штанах. Голытьба сущая. И рядом с ними отец, конечно, получался кулак. Как ни крути, нам в ссылку была дорога. И Ефиму, и Федору. Тех из банка, кто дал кредит отцу, тоже забрали в НКВД. Говорят, там враги работали: мол, беднякам не давали кредиты, а только кулакам. Выходит, вреди-

ли советской власти. Может, кто и вредил, не знаю. Но мое такое понимание: разве я, к примеру, в долг дам тому, кто не вернет? А тут государственные деньги. Вот и давали их хорошему хозяину. А после хороший хозяин оказался плох.

Повыгоняли мужиков. Они в свои края уже не возвращались. Отец мой на чужой земле захоронен, там и мать.

В тех местах, куда отправляли кулаков, до двадцать девятого не было никакой жизни: ни поселений, ни дорог. Для ссыльных прорубили просеку. Было: старики слабели, оставались среди леса помирать. Бабы рожали, оставались. На семью одна лошадь полагалась. На санях — пожитки. А сами шли пешком за санями. Вот и слабели. Переселялись зимой (летом здесь была хлябь и трясина — не пройти). Было и так, по весне или летом кто-то из ссыльных бежал с болот, но не зная дороги, будешь по тайге шарашиться, пока не сгинешь. Нанимали проводников. Из местных, из охотников. Отдавали все, только выведи. А те обдирали да и бросали в болотах. И кто им был за это судья? Ведь не просто человека погубил, а кулака.

Вот так это все и было. А кто и прибыл на место, то выжить было очень трудно. Много, очень много погибало. Это было очень жуткое зрелище. Я до сих пор не могу вспоминать о нашем тогдашнем существовании без слез на глазах».

Величайшей трагедией коллективизации был голод начала 30-х годов, от которого обезлюдели целые регионы Поволжья, юга России, Украины. Тяжело перенесла его вся страна. Конечно же, голод был вызван коллективизацией. Вот лишь одно свидетельство (А.И. Никонова, 1908, Ростовская область): «Мы середняками считались, корова, лошадь, куры были. В колхоз не хотели. А пришли из правления, сказали:

«Не вступите, по миру пойдете, вышлем как кулаков!» Дед покойный злиться стал, но мы его всей семьей успокоили. Всю ночь не спали, а утром голытьба пришла, все переписали, чтоб, значит, ничего не утаили. А через неделю мы и вступили в колхоз. Много таких семей, как мы, были. В колхозе вся голытьба была, ничего они не делали: не пахали, не косили — пьяные ходили. А когда мы надел свой вскопали да и другие тоже, тогда и загнали в колхоз. Но потом прислали из района к нам председателя, умный мужик был — Тимофей Тимофеевич. Тогда он колхоз из пьянки стал вытягивать. Всех пьянчуг из правления и бригадиров выгнал, хозяев назначил настоящих. И хлеб у нас появился настоящий, и люди стали работать больше, разрешили домашнюю скотину держать. Теперь все с охотой работали, но недолго он пробыл у нас. Говорили, убился, когда с кручи упал. Да мы так покумекали и решили, что Даниловы его убили, сильно прижал он их. Тогда мы и написали письмо в район, чтобы выселили их от нас. Дед повез его в район, через пяток вернулся и говорит: «Сказали в районе, чтоб хлеб готовили, весь забирать будут. Бабы, готовьте грибы, травы, все, что можно. Трудодни тоже берут».

Он тогда за председателя остался. А вскоре и подводы пришли хлеб увозить. Весь забрали, подчистую. Бабы голосили, мужики сидят, кто стоит — цигарки крутят. Дети притихли, поняли, что смерть идет. Осенью поздней картошку тоже забрали. Зиму мы еще пережили, а весной пухнуть стали. Малые кричат, хлеба просят. А я сама еле на ногах стою, шатает, и их уговариваю. Тогда весной 33-го года умерли Галя, Митя, Степка. Жальче всех было Степку, безобидный малый был, ласковый, тихий и умер тихо. Живот вздулся, посинел весь, голова как шар на ниточке, все жилки видны, и умер.

Дед в город снова ходил, ехать уже не на чем было, всю животину съели. Собак, кошек — и тех поели. С месяц его не было. Вернулся, сказал, что в городе хлеб по карточкам дают. 700 грамм на рабочего, а в колхоз скоро пришлют зерно. А люди умирали, дети и старики сперва, потом мужики. Бабы выносливее оказались. Из 500 человек, которые жили, осталось 15 дворов. Семьи были до этого большие — от 7 до 15 детей. Хлеб привезли, а вокруг мертвые. Нас забрали оставшихся и отвезли в город. Там накормили, хотели везти в другое село, да мы не поехали.

Приехали поздно ночью в Горький, вокруг огни. Трудно было, поселили нас в бараке. Там и жили на 10 метрах 8 человек, а за занавеской такие же, как мы, тоже семья большая. Тогда такие семьи — обычно было.

В бараке холодно, во все щели дует. Спасибо людям, помогли нам и одеждой, и посудой. Мы пока приехали, все продали. Питаться надо было чем-то. Утром проснулись — грязно, сыро, серо. Город нам не понравился, а деваться было некуда. Ехать помирать не хотели. Обосновались. Решили сами строиться, не все же время в бараке жить. Отстроились быстро, за лето и осень, и к зиме заехали. А в город приехали, в городе тоже очереди за хлебом были. Занимали ночью, сутки стояли. Чуть отойдешь, уже не пустят. По буханке давали в руки. А выходить еще тяжелее было. Думаешь, как бы хлеб не потерять».

Голод этот коснулся всей России. Страшные очереди за хлебом в городах, с нетерпением ожидавшие весной травы люди в деревнях. Умирали и выживали случайно. И смерть пришла чужая, не своя — одна на всех, и жизнь дарована была случайная, но очень тяжкая. О таких случайностях во время голода 1933 года в центральной России и рассказ Е.Т. Дороховой (1912): «В один раз, наверное, в 33-м году, ой голодовка была.

Весна пришла, на посевную еще не ездили. А у нас ни одной картошечки. Ни хлеба, ни кусочка. Лежим вот. Ну, чё же, говорю, умирать, говорю, с голоду, чё делать. А свекр, покойный, рыбу ловил. Наплел морды такие из прутьев рыбу ловить, да кожу он делал. Шили раньше сами сапоги. Дак дедушка к сапогам подошвы да переда там нарезал. Деревня там была у нас семь километров. Так картошек было у людей много, да хлебушка чуть можно было выменять. Ну вот пошли мы с мужем туда, а ребятишек своих с родителями оставили. Ребятишки совсем оголодали. По дороге занесли мы дедушке на речку морды, и он стал там рыбачить. А мы пошли с мужем моим, со Степаном, в этот Карболык. Он взял трое переда да подошвы. И вот пошли мы менять. Хоть булку хлеба бы дали. Ну, пришли. Я зашла, там одна знакомая деревенская наша в Карболыке жила. Я поздоровалась. Она говорит: «Ты чё?» Я говорю: «Нужда заставила. Не надо тебе, говорю, переда да подошвы?» — «Ой, надо мне сапоги шить». И вот мне за эти переда да подошвы 1,5 буханки хлеба, такие большие круглые караваи. А Степан за 2 черные ковриги отдал все. Как увидел хлебушек, все отдал. Я ботинки там, из одежды что разное там, все на картошку променяла, да за деньги купила картошки. Да! Ну вот приехали мы, а у нас там колхоз. Масло маковое били. Пришли мы на бойню, наелися там хлеба с маслом. Ну и намакалися! Меня муж оставил. Говорит: «Картошку собирай, да привезешь потом». Я пошла, думаю, ну зайду к деду, принесу поесть хлеба. Пришла я, а он рыбы наловил, ой ведра три! Бог дал. Ну вот, я ему дала хлеба, он и наелся. Ну, а я домой пошла, приносила рыбки малость. Вечером наварили ухи, да наелися. И потом картошечку-то эту стали верхушки обрезать на семена. Больше-то семян не было. Тут началась посевная. Поехали мы на посевную. Там

стали паек давать. Ну не умерли с голоду, выкарабкались. А то ведь ничё не надо, лишь бы только кусочек хлеба какой проглотить. Ничё на свете не надо, только бы поисть. Ой голод этот! Люди умирали. И братишка-то у меня умер и три сестренки в этот голод».

В народном сознании сегодня так или иначе оценивается весь путь русской деревни, начиная с НЭПа. Есть защитники колхозов и коллективизации (их меньшинство), есть противники. Вот очень характерный рассказ: «У русского человека веру отняли, все церкви разрушили. Теперь уж никто и не верит, все смеются. Веру отняли, мне было 7 лет. Только у русского народа отняли, а у других народов церкви сейчас есть. Не играли, какие игры. С 8 лет по 15 коров пасли. Детство не видали, все работали. У матери 7 детей от кори умерло. Народ был крепкий, работали хорошо. Пока земля не вытощала в колхозе, хлеб рос хороший года три. В конце года давали по 200-300 г. зерна на трудодень.

Сталин весь народ разорил. Если бы крестьянство не разорили, то Россия была бы сейчас самая богатая. Ведь народ был работящий. Всю деревню разорили, дворы пообломали. Самых тружеников сослали в Сибирь. Те, кто похуже работал, остались. Земля была пустая целыми пашнями, а сеять запрещалось. Когда землю после революции отдали, народ начал хорошо жить. А потом все раскулачили. Всю Россию разорили этими колхозами» (Н.С. Куршакова, 1919).

И все-таки к середине 30-х годов колхозы были созданы по всей России. Они стали своеобразной формой тотального контроля над всеми сферами жизни мужика, полновластного распоряжения мерой труда и мерой потребления крестьянства.

Глава 3.
КОЛХОЗНАЯ ДЕРЖАВА

Оглядываясь назад, старики понимают, что вся политика советской власти, начиная с 1917 года, неизбежно вела к колхозам. Мимо них ей дороги не было. Елизавета Семеновна Окулова (1904, Костромская губерния) вспоминает: «Мне было 13 годов от роду, как приехали в нашу деревню человек десять на конях. Собрали нас всей деревней и объявили власть советскую, царя, говорят, у вас не будет больше, а будет народ всем править. В селе нашем соседнем церковь закрыли. Поставили в сельсовете над нами главного. Собрал он сходку и объявил, что мы должны сдать весь свой хлеб, себе оставить только, чтоб с голоду не помереть, в городе, мол, голодно. Что же нам было делать? И жалко, ведь хлебушок-то своим трудом заработали. И не отдать нельзя, коль люди голодом маются там. Вот и повезли все мешками в общий амбар. Себе почти ничего не осталось. Потом председатель сельсовета, да еще помощник у него был, ходили по всем дворам смотрели, нет ли еще у кого лишнего. Нашли у Пантелея двадцать с лишним пудов, чуть всю душу из него не вытряхнули. На другой сходке на всю деревню объявили его врагом революции. И так каждый год было. Мы урожай растили, собирали, а потом у нас почти все увозили, под весну иной год и голодом маялись.

Потом наступила для нас отдушинка. Норму установили — налогом называлась. Забирали от нас эту норму, а остальное при нас оставляли. Ну и стали мы снова жить в некотором достатке. Смолоду была я здоровая, сильная была, могла зараз два мешка с зерном под пазухи ухватить. Вот и присмотрел меня молодец на мельнице из соседней деревни. Свадьбу сыграли. Было мне тогда 22 года. Вот и зажили мы своим

хозяйством. Да тут коллективизацию объявили. Поотбирали у нас коровушек, да лошадушек, да другую скотинушку, и нас вместе с ними в колхоз согнали. А для себя оставили нам по 40 соток на семью и разрешили иметь по одной коровушке. Ох и досталось же нам. Колхоз у нас был маленький. Две деревни в него входило. Трудились мы с утра до ночи, болели за колхозное добро больше, чем за свое».

Почти все накопленное поколениями добро (живность, сельхозинвентарь) крестьянин обязан был сдать в колхоз, а также всю землю, кроме маленького приусадебного участка в 40-50 соток (полгектара). Мало этого, в конце концов оказалось, что крестьянин в колхозе трудится почти бесплатно на государство, а кормиться должен со своего маленького участка. Иван Андреевич Морозов (1922) рассуждает: «При создании сельхозартелей обобществлялись лошади со сбруей и инвентарем, необходимым для обработки почвы и посева: плуги , бороны, сеялки, молотилки, приводы, веялки, телеги, кошевки, сани, дроги. Конные дворы рубились быстро, ибо были еще умельцы. Ставились общие колхозные гумна. Работников было много. Казалось бы, жизнь должна пойти на лад. Но этого не вышло. Во-первых, отношение к обобществленной собственности оказалось неважным: не мое, колхозное, беречь нечего; во-вторых, организация труда не поощряла усердия: господствовало уравнительное распределение дохода, независимо от количества и качества труда; в-третьих, после перехода на трудодни обнаружилось, что государство обирает тружеников земли. В иные годы на трудодень попадало 200-500 г зерна, коскогда доставалась картошка, репа, горох, но всего понемногу. Выручало лишь приусадебное хозяйство, да какое-нибудь ремесло».

Колхозы были своеобразной реставрацией крепо-

стного права в России, причем в форме наихудшей, близкой к аракчеевским военным поселениям. Изнурительная бесплатная работа на государство. Освободиться от нее в 1930-е годы (отойти в сторону) было почти невозможно. Е.Т. Дорохова (1912) рассказывает: «Сперва-то насильно в колхоз никто не хотел идти. Где лучше жилось? Да кто знает. Постановили, что в колхозе лучше. А кто постановил, черт его знает. В колхозе-то нас сперва с гармошкой возили, а потом зажали в бараний рог. На трудодни-то ничего не давали. Хлеб и семена выгребали все подчистую. Работой нас надсадили. День и ночь были на полях. То снопы вязали. Утром рано, чуть свет, идешь на поле. А вечером придешь — темно, ничего не видать, ходишь, шаришься по ночи. Потом молотьба пойдет. День и ночь молотишь. На неделю увезут в поля, там и спишь. В баню только отпускают вымыться. Да и опять на поле».

Между тем энтузиазм первых лет колхозов, задор совместного труда — это не выдумки, а реальность. Коллективный труд однодеревенцев и впрямь был весел и радостен. Умело поощрялось соревнование. Валентина Семеновна Созинова (1919) хорошо помнит: «В деревне у нас решили: колхоз так колхоз, что же делать. Надо работать и работали. В деревне было 16 домов, один председатель, один бригадир и все. Все жители разделились на 2 бригады: «челюскинцы» и «буденовцы». Между ними было как бы соревнование. На бумаге они никаких договоров не писали, а работу сравнивали, какая же бригада лучше работает. Работали от зари до зари, в летний период — весь световой день. Вот взять, к примеру, сенокос, заготовку кормов. Утром, как только рассветет, идут косить. Хозяйки оставались дома готовить завтрак и выгонять скот в поле. После косьбы семья возвращалась на завтрак. Если погода стояла хорошая, солнечная, то после завтрака

гребли сено и метали стога. Обедали в поле, стогометание продолжалось до самого вечера. Хозяйки немного пораньше уходили домой, чтобы приготовить еду и пустить скот. Когда возвращались с поля домой, «буденновцы» и «челюскинцы» сравнивали свою работу: кто сколько сделал, качество работы, количество.

Косили так чисто, как брили. Наряду с деловыми разговорами были шутки-прибаутки, которые поднимали настроение.

Утром каждая бригада старалась первой уйти на работу. У «буденовцев» был вожаком Иван Петрович. Он ставил скамейку к окну и спал на ней, для того чтобы, как только займется заря, выйти на работу со своей бригадой. Другой бригадир тоже не дремал, старался еще раньше выйти. По этому поводу шуток было очень много».

Это доброе, радостное и уважительное отношение к труду, радостная атмосфера работы, увы, сохранилась, в лучшем случае, до войны. Разрушить ее оказалось несложно, восстановить — практически невозможно. Между тем наивных чистосердечных крестьян радовали малейшие знаки внимания и отличия, поощряли копеечные подарки. А они в первые годы колхозов еще были. «По первости-то кое-какие привилегии были там. В уборочную, помню, снопы вязали. Норма-то была 400 снопов. Но с каждым годом разные были, то 600, то 700 снопов. А я-то самое большее за день 1200 снопов навязывала. Жатки косили, а мы снопы вязали. Работали-то тогда много, рук своих не жалели. Вот мы там с одной вязали. До обеда норму навяжем, и нас везут на жеребце с гармошкой, с весельем. Почетом считалось. Премии тогда за работу давали. Материал там, галоши, из тряпок такое. Мне платок дали. Вот так и работали, не жалели себя» (Е.Т. Дорохова, 1912).

Колхозы, по сути своей, стали государственными органами использования бесплатного крестьянского труда, органами принуждения и перекачки всей продукции села государству. Сколько и по какой цене забрать хлеба, мяса, молока и прочего — решало государство, то есть покупатель. Продавец был не просто бесправен, он еще и обязан был подчиняться малейшему жесту и указанию грозного покупателя, приказывавшего что, когда, где и сколько выращивать и сдавать. Названия большинства колхозов были идеологически выдержанными, советскими. Как правило, это имена больших и малых вождей той эпохи (не только руководителей партии, наркомов, канонизированных большевиков и красных героев революции и гражданской войны), но также названия съездов. Особенно популярны съезды, начиная с шестнадцатого, а чаще всего встречается семнадцатый партсъезд (1934 год), пятилеток, слово «социализм» в различных вариациях («Ключ к социализму», «Путь к социализму» и т.д.), всевозможные пути и маяки, «Новый быт», «Новая жизнь» и многое другое. Упрощенные названия, образованные от наименования села, встречаются гораздо реже.

Практически весь труд крестьян и в 1930-е годы оставался ручным. Трактора играли тогда скорее агитационно-пропагандистскую роль. «Пахали на лошадях, а потом тракторов нам дали целых три “фордзона”. Маленькие такие были тракторочки. Всей деревней вышли их встречать. Радовались все, ой! Говорили: “Ласточки да касаточки прилетели к нам”. Легче стало с ними. Да они проработали год всего, все поломались».

И тем не менее трактористы стали почетными и уважаемыми людьми на селе. Мальчишки и молодые парни хотели быть только трактористами. И все-таки в

подавляющем большинстве колхозов России тракторов и в глаза не видели. Традиции доколхозной крестьянской демократии в 1930-е годы еще ощущались на селе. Вместо сходов проводили собрания, вместо старосты руководил всеми деревенскими делами председатель. Такого рода собрания были важной частью огромной пропагандистской машины советского государства. Они давали четкие, ясные установки поведению, мировоззрению людей. Екатерина Павловна Попова (1907, Архангельская губерния) помнит: «Тогда около церкви построили деревянный дом из бруска. Там и проводились собрания. Позже там даже и фильмы немые показывали. Конечно, на собрании главным был председатель колхоза. Иногда приезжали из района. Председатель рассказывал, как идет жизнь в стране, что нового сделали, что построили. Все с изумлением слушали. Тогда все это было интересно. Сельчане высказывали свои мнения, свои предпочтения. Потом все расходились по домам». Впрочем, преувеличивать роль таких собраний не стоит. Она же продолжает: «Сведения о происходящем в мире больше всего получали через слухи. А кому же еще было верить, кого слухать? Выдумок, как ты говоришь, было очснь много. До войны больше всего боялись слухов о войне».

В разговорах между собой люди все-таки изливали душу, негодовали на свою каторжную жизнь. «А работа в колхозе была разная. Что заставят, то и делай. Работали за пустые трудодни. На что жить? Что делать-то? Ревели да работали. Ой как ругали советскую власть! Кроме слезушек, мы от нее ничего не приняли. Я ведь неграмотная. Прислушивалися мы, старушки, к “сарафанному радио”, кто что скажет — тому и верили» (1912).

По этому отрывку отчетливо видно, что информационно деревня была изолирована от города. Офици-

альные каналы — газеты, радио — были не во всех деревнях. Огромную роль, как и до революции, играли слухи, молва, редкие до войны письма (читавшиеся и перечитывавшиеся всей деревней).

В некоторых местах на общих собраниях традиции прежнего схода были более ощутимы. А.Я. Двинских (1919) рассказывает: «Конечно, были у нас в колхозе сходы, собрания. И назначались десятники, которые говорили всем и кричали: “Все на собрание!” И десятники назначались на каждую неделю. Вот сегодня этот дом, потом второй, третий и т.д.

Собранья собирали тоже на площади. Вот как соберутся и начинают обсуждать. Член сельсовета у нас был Иван Григорьевич, он все и поясняет. Газету возьмут, обсуждают ету или другую статейку, решения правительства обсуждают, высказывают свои мнения: это правильно, это неправильно».

Итак, Россия из страны крестьянской стала страной колхозной. Рассмотрим же внутриколхозную структуру повнимательнее. Председатель, бригадир — стали важными фигурами во внутридеревенской иерархии. От них зависело очень многое в жизни крестьянина (где, сколько работать, что получать в конце года) и подчинение, повиновение им было, чаще всего, беспрекословным. Традиции мирского схода ушли в прошлое, насаждалась военно-командная структура управления деревней. Очень много зависело от характера такого рода начальника: были люди совестливые, честные, доброжелательные (вспоминается рассказ, как один председатель колхоза пахал в войну, впрягшись в плуг вместе с бабами), были и злые, жестокие, бессовестные. Последним, как вы понимаете, удержаться на должности было легче.

Сельсоветы были оттеснены в сторону колхозной властью и более выполняли функции фискально-по-

датные (сбор средств, налогов, недоимок, подписка на займы, распределение различного рода трудповинностей, например, гужевая, лесозаготовки в войну, призыв в армию, выкачивание молодежи в систему ФЗО и так далее). Патриархальные отношения большой семьи наложились на внутриколхозную структуру. Вспоминает Таисья Кононовна Напольских (1916): «Я человек такой, ничего не знаю, начальников никогда не ругала, бригадир был свой деревенский и председатель деревенский. Мы ведь, как ножа, их боялись. Слово поперек бригадиру не могли сказать. Сейчас никого не боятся, народ злей стал. Про коллективизацию говорить не буду, а то увезут еще куда-нибудь».

У такой патриархальности были и свои плюсы: жестокость и произвол были конкретно очеловечены, над ними и своими несчастьями можно было еще посмеяться. Н.Д. Кочурова (1916) помнит: «Когда в колхоз загоняли, маленькая была, плохо помню. А потом песни петь про колхоз-то стали:

Из колхоза купим козу,
Бригадир будет доить.
Председатель захворает,
Молоком будем поить.
Хорошо живется тому,
Бригадир кому родня.
Хоть работай, не работай,
Все четыре трудодня.

Чего ты меня о Сталине спрашиваешь? Человек я неграмотный, бестолшный, ползимы училася, не знаю о Сталине ничего. Слыхать — слышала. Говорили о нем».

Во второй частушке речь идет о том, что учет количества трудодней был всецело во власти бригадира.

В некоторых колхозах труд дифференцировался. Подросток мог получить на сенокосе, например, полтрудодня, а механизатор во время уборки хлебов 3-5 трудодней. На первых порах после организации колхоза такой дифференциации труда не было.

Очень часто долго находившийся на председательской должности человек формировался в своеобразного вождя местного масштаба, подчинение которому было беспрекословным, — ведь в его власти были жизнь и смерть, работа и хлеб простого крестьянина. Е.П. Гребенкина (1911) рассказывает: «До 50-го года чистого хлеба не едали. А председатель колхоза тогда у нас был Сторков. Хуже диктатора. Издевался над людьми. Грабил ведь. Участок 5 соток (меньше половины), а платить по-полному. А не станешь, то трудодни не пойдут. Старушку, уж едва жива, а работать заставляет. Вообще, местные власти, что хотели, то и делали. Зато теперь Сторков — персональный пенсионер».

Рот колхозники быстро научились при новых начальниках держать на замке, ведь любое слово могло привести к большой беде. Клавдия Петровна Городилова (1920): «Вот местную власть все боялись. Не скажи им ничего поперек слова — сразу посадят и все. Разные там уполномоченные не давали жить. Боялись при них лишнее слово сказать».

Великий страх держал за горло и самих председателей. Они постоянно ходили по лезвию ножа. Их жизнь тоже была в опасности. Н.Н. Коснырева (1920) помнит о несчастной судьбе своего отца: «Тятя в 1939 году повесился. Уборка хлеба была в самом разгаре. Мама пошла подавать колоски, что выпали с телеги. Телега уехала, а мама идет по полю вслед за ней и в фартук собирает колосья. Встретила избача (библиотекарь по-нашему) из сельсовета, тот с Лидой, сестрой моей,дру-

жил. Он спрашивает «Куда колосья несешь?». Мама отвечала: «Есть буду». В шутку сказала — колосьев-то на 800 г было. Но не смогла доказать она своей правоты в сельсовете. Всю ночь дома ругались родители — не нужно было так шутить: теперь могли выслать, или еще хуже, ведь тятя был председателем колхоза. На утро он перешел через реку и на сосне повесился. Его брат шел из Юрьи лесом, вышел на тятю, хотел снять его с дерева, да тот уже окостенел».

И в этой трудной, злой жизни многим удавалось остаться людьми —добрыми и трудолюбивыми. «Трудной была работа в колхозе. День жнешь, ночь молотишь, утром в заготовку едем зерно сдавать. Утром рано да вечером поздно работали на своих усадьбах. В колхозе-то работали за трудодни. Платили мало, а на трудодни ничего не доставалось. Давали совсем немного картошки да зерна. Трудодни были пустые, считали их только на бумаге. Я трудодни-то людям отмечала. Когда соломы на них дадут — и то хорошо. А война началась, совсем ничего давать не стали. Наш колхоз был бедным и заготовку не выполнял. Совсем ничего колхозникам не доставалось.

Землю все любили. Как же землю не любить? Земля — кормилица. Люди трудолюбивые, честные, справедливые и добрые были образцом для соседей. Помню, рядом с нами жила семья Чайкиных. Хозяин был посажен в тюрьму за то, что был председателем колхоза, выдавал колхозникам весной из колхозного склада понемногу муки. Своего-то зерна у нас до Рождества не хватало. Все его жалели, но он так и умер в тюрьме. Дома осталась жена с пятью детьми» (Ефросинья Константиновна Просвирякова, 1908).

Но случалось и иначе. «В колхозе работали, начальник Вася был, до того работали — с голоду умирали. Хлеба не давал. Настя, сестренница моя, ездила на

мельницу на санях. Смолола муку и умерла на мешках от голода, когда ехала обратно.

Потом председателем был Зорин Серега. Жил он хорошо. У него сестра Дуня жила эдак же хорошо. Она не едала травы. Все хлебушко ели. Она командовала нами, на работу назначала. В войну продавала мед, легко ей жилось. Анюта Мишиха тоже хорошо жила, травы тоже не едала. Остальные жили неважно, больно бедно: хлеба не хватало, траву ели» (М.Ф. Новоселова, 1911).

Давление на колхозное начальство из района было очень жестким, угрозы пустыми не были — они легко претворялись в жизнь. «В 1944 году меня в военкомат вызвали, заставили меня управляющим скотобазой работать. А я не соглашалась. Села я к окну и давай реветь. А мне говорят: "Если не примешь базу, отправим на фронт". А мне ребят своих жалко было, вот и пришлось принимать контору. В мясотресте у нас было сколь совхозов, дак все мужики были посажены — это "ежовщиной" тогда называлось» (К.А. Рогалева, 1915).

«Работал я секретарем райкома партии в одном сельском районе. В войну, уходя на работу, не знал — вернусь или нет домой. Чемоданчик дома в углу стоял со сменой белья: если арестуют, чтобы не мешкать» (К.А. Каманин, 1908).

Недоброе, подозрительное отношение людей друг к другу культивировалось. Появилось множество «бескорыстных» доносчиков, из злобы, зависти, вражды. «Мой отец был председателем колхоза. Вот в конце августа сожнут хлеб. Отец часть отдаст государству, часть колхозникам. А некоторые возьмут да и нажалуются в райсовет на него за то, что весь хлеб не сдал государству. Ведь тогда весь хлеб забирали, а он старался, чтобы колхозники тоже были сыты. Ведь люди го-

лодные не могут работать, вот поэтому он и давал. Вот были такие люди, доносили друг на дружку — просто злоба была такая» (Н.Ф. Шалаева, 1922).

Местные власти напрямую были обязаны выколачивать из крестьян налоги, загонять в колхоз, заставлять бесплатно трудиться. И каким бы золотым ни был человек на этом посту, отношение к нему было как к гнету, что постоянно давит на людей. Вот характерное высказывание: «К местной власти относились негативно, потому что всегда гнули налоги и как всегда платить было нечем. Была вечная тяжба и во всем недостаток» (В.И. Федоров, 1915).

Все приводимые рассказы крестьян записаны во второй половине 80-х годов. Между тем имеющиеся у меня записи конца 60-х годов любопытны тем, что рисуют доколхозную жизнь только черными красками, а колхозную — только в розовых тонах. Очевидно, это следствие идеологических установок того времени, цензуры. Нельзя все же отрицать влияние массовой пропаганды и на современные рассказы о прошлом. Давайте внимательно вглядимся в одну запись рассказа 1968 года, сделанную для музея образцового колхоза-миллионера «Красный Октябрь» (Кировская область). Эмоционально-романтизированный стиль рассказа очень характерен. Вспоминает Авдотья Феофановна Попова (1895), крестьянка: «А жили мы так бедно, что и описать-то эту бедность слов теперь не сыщешь, запамятовал их наш народ. Всяко мне приходилось: и милостыней питались, и за кусок хлеба в няньках служила, и у кулаков на чужой стороне батрачила. Отец, покойник Феофан Родионович, человек был строгих правил, редкого трудолюбия. Да, видно, уж такая ему выпала доля — никак не мог выбиться хотя бы к мало-мальской жизни. Бывало, осерчает старик, скажет: “И силушку-то не жалею, с утра до ночи изво-

жу себя работой, а как подходит Рождество — так и пусто в доме, хоть шаром покати!

На девятнадцатом году выдали меня замуж по соседству в деревню Паутиха, и попала я в семью среднего достатка, ни бедные, ни богатые. Только горюшка я натерпелась тут еще больше, чем в Бельнике. Замуж выходила, думала: “Уж очень из бедной я семьи, может, лучше будет”. Куда там! Работы у свекра — деньденьской, крутись-вертись, всего никак не переделаешь, а вдогонку тебе попреки и укоры сыплются. Года два так-то прожила — совсем плохо стало. Война началась, забрали моего мужа в солдаты и на германский фронт отправили. Осталась я с малыми ребятами, а свекор-батюшка мне и говорит: “Теперь, Авдотья, придется и за себя, и за мужа работать”. Света белого не взвидела от этих слов, да что поделаешь, кому пожалуешься. Впряглась.

Пара годов еще пролетела, муж воротился. Вот, думаю, опора моя вернулась, а он израненный, больной. Стала его лечить, питание кое-как поддерживать — глянь опять ему повестка и снова на фронт. “Недолго лютовать войне, — успокаивает меня муж. — Приеду, отделимся от старика и заживем своим домом”. Ладно, если так, но вышло-то по-иному. Полгода жду, год и получаю письмо. В том письме разводная бумага. “Устраивайся, пишет, как знаешь: у меня своя цель в жизни”. В те поры мне двадцать четвертый годок пошел, молодая была, цветущая. Оставил меня с тремя детьми на произвол судьбы.

Выделил нас старик-свекор, поставила я избушку на курьих ножках и стала хозяйствовать. Крестьянская работа мне не в новинку, с детства всему научена, да вот беда — нет у Авдотьи ни сохи, ни бороны. Что будешь делать, как засеешь свою полоску. И стала я ходить по богатым дворам — в ноги кланяюсь, слезами

обливаюсь. Кулаки, что звери лютые, милосердия на полушку нет. Посмеиваются, бывало, над бедностью твоей, ехидствуют. “Что, солдатка, пригорюнилась? Или в разводе не больно сладко живется-то?” Всю-то душеньку тебе выломают, слезами твоими досыта упьются, пока лошадь дадут. И условия — сущая кабала: день поработаешь у себя, две недели — спину не разгибая, на чужой пашне. Помню, как сейчас, заберу ребятишек — и в поле. Зной ли палит беспощадный, дождь ли хлещет, что есть силы, — деваться некуда. Взглянешь на детей — как они там, живы ли — и опять за работу принимаешься. Краюху разломишь, кваску испить дашь — вот тебе и завтрак, и обед, и ужин.

Так и маялись. За день-то, может, сотни раз обольется кровью материнское сердце, да кому что скажешь, у кого найдешь бескорыстную помощь? Созовут богатеи сход деревенский, а ты норовишь упрятаться куда-нибудь в самый дальний угол, слово боишься вымолвить — баба, кто с тобой разговаривать будет? Решат кулаки по-своему, для своей пользы — твое дело молчок. Попробуй противиться — со света сживут. Вот ведь какие невзгоды приходилось переносить бедному люду тогда! Да, видно, есть на земле правда! Блеснуло народу солнышко, на всей России советская власть установилась, и пошла наша жизнь другим ходом. Стали заботиться, чтобы облегчить бедноте работу. Нам, женщинам, помощь наладили. В Паутихе, помню, «Сеятель» образовался. Я, никак, третьей в него записывалась. А спустя немного времени «Красный Октябрь» с предложениями пришел: давайте, говорит, сливаться. Большому кораблю — большое плаванье! И такое мы сообща пламя раздули — душа не нарадуется. Урожаи год от году все больше и больше снимали, фермы заводили, машины покупали — богатеет колхоз! Много ран было в моем сердце от прежней жизни:

несправедливости и обиды до срока состарили меня. И тут ровно помолодела я — никак не могу досыта наработаться. Вот, думаю, счастье где».

Думается, что в угоду времени рассказ сильно идеализирует колхозную жизнь и чересчур чернит доколхозную. Вместе с тем искренность автора в момент рассказа сомнений не вызывает. Хотя вполне возможно, что через какое-то время она могла вспомнить эти же события и под другим углом зрения (впрочем, также искренне).

Нам сегодня трудно представить себе и тот низкий уровень грамотности (грамотности, а не культуры) на селе, характерный для России 20–30-х годов. «В сельсоветах грамотных в 20-е годы были единицы. Самым высшим образованием считалось четыре класса. Я кончил семь классов — работал учителем. Председатель колхоза приходил к нам, ученикам третьего класса, в 30-м году и спрашивал, как вычислить площадь в гектарах. Россия в 20-е годы была лапотной страной».

«Грамотеи» были наперечет в деревнях, нередкими были случаи, когда крестьяне написать письмо приходили в соседнюю деревню, где был грамотный человек. Человек, окончивший 4 класса, уже назначался правлением колхоза, сельсоветом повсюду на различные низшие выборные должности. Легче жить ему от этого не становилось. Тяжка была участь и сельских учителей — агитаторов и проводников всевозможных выборных кампаний, проработок, инициатив.

«Была простой колхозницей. В деревне грамотных никого не было. Кто-то учился одну зиму, кто-то вообще не учился. Я три класса окончила, была самая грамотная. Была школьным работником, учила взрослых, заставляли из сельсовета силой, так бы я не стала. Учила почти два года. Занимались после работы, вечером, человек по 5-7. Сначала буквы учили, потом —

цифры. Задачи решали. Например, 10+5=15. Взрослые ходили 3 месяца, не больше. Была грамотная, поэтому выбирали везде. Кладовщиком была, на молоконке работала. На каждую корову давали план. Жили плохо, потому сколько надаивали — сдавали все. Ребенки привезут — еле выкатят с телеги фляги. 12 годов была народным заседателем в суде. До войны разбирались гражданские дела, писали приговор осужденному. Например, бригадир или председатель воровски дали колхознику хлеба или муки. Стало известно — их судил народный суд. Если пропадет лошадь или корова — кто тут работал, того судили».

Мария Федоровна Бабкина (1921) вспоминает о легендарном учреждении 20–30-х годов — избе-читальне. Это, конечно, было средство идеологического контроля за населением. «В деревне сплошь были неграмотные. Комсомольцы и коммунисты организовывали ликбезы, учили неграмотных взрослых. Днем все работали, а вечером учились в каком-нибудь доме. Люди старались учиться. У меня были неприятности со свекровью. Надо было прясть и ходить за скотом, а заставляли учиться. Это было по зимам. В деревне была изба-читальня. Заведовали ей избачи. Там была художественная литература, а книги религиозные были все уничтожены. Привозили из города патефон и говорили, что в доме поселилась сатана. Позднее появилось радио.

Религиозную литературу люди не читали. Читать было некогда: пряли, ткали, лен мяли, трепали, чесали — времени не было свободного».

А.М. Шабалин (1910) из северного района Вятского края помнит сельскую избу-читальню: «Что было из книг в избе-читальне? Да сейчас всего-то и не упомнишь. Изба у нас была большая, а книг мало. Они прямо в стопках на столах стояли. Полок почему-то никто

не делал. В основном книги были старые. Но иногда привозили из района и новые книги. Но люди больше любили и читали журналы, особенно яркие, с картинками. Очень все любили, когда привозили свежие газеты. Читали, а потом всем рассказывали, что в мире делается. Толстых книг читать было некогда, а вот маленькие брошюрки зачастую и вслух читали. На самом видном месте стояли две книги Ленина. Забыл, как называются».

Управлять малограмотным населением для властей было делом несложным. Еще проще было создать видимость народовластия после сталинской Конституции 1936 года. Антонина Тимофеевна Дудоладова (1915) рассказывает: «Однажды в 1937 году, еще до войны, в поселке прошли выборы в депутаты. От нашего поселка было выбрано 3 человека, среди них была я. Выбирали то ли в городской совет, то ли в какой, уж не знаю. Водили нас на заседания в г. Киров на улицу Энгельса, причем от поселка и обратно приходилось ходить пешком. Заседания обычно были после работы и на них мы сидели и слушали с интересом выступления. Так мы проходили год, а потом почему-то перестали».

Деревенские праздники (правда не все) стали называться колхозными, но дух и задор прежнего искреннего веселья они порой сохраняли. «В праздники было очень весело. Особенно были веселые колхозные праздники. Теперь этого веселья нет. Было много гармоней, все плясали, пели. Праздники были в Октябрьскую. Накрывали столы. Бабы стряпали, варили всякую всячину. Делали колхозную брагу на меду. Пили мало. Мужики-то иногда и падали, а бабы любили плясать, они и пили мало» (Т.И. Корякина, 1913).

Дух надежды, веры в светлое будущее, питал в 1930-е годы многих и не только в городе, но и в деревне. Вот эту атмосферу радостного ожидания, несмотря на все

лишения, запомнили многие. «Тот мир был богат во всех отношениях. Тогда все было новое, все открывалось, все надеялись, ждали хорошей жизни. Все представляли, что когда-нибудь будет свободно лежать белый хлеб и все будет. А самое главное, чтобы войны не было» (Е.П. Попова, 1907).

Если 1920-е годы людям помнятся изобилием всевозможных кустарных мастерских, лавочек, где можно было одеться, если есть деньги, то 1930-е годы — это совершенная пустыня в этом отношении, почти полное отсутствие каких-либо промышленных товаров для населения. Миллионам людей буквально нечего было одеть и обуть. Рассказов об этом множество. Вот два из них. Павла Ивановна Редникова (1925): «Я вот у мамы пальто попросила. Она мне сказала: сними с меня кожу и сшей пальто, где я тебе возьму-то? У всех одинаковая одежда была: ситец в колхозах давали. Все одинаковые, как гуси, нарядятся. А у мужа-то тоже ничего не было: рубаху-то мама ему из юбки своей сшила. Одни сапоги резиновые на двоих были. Не искались, никто и не судил, потому что все одинаково».

А.С. Гонцова (1912) помнит, как крестьяне скупали одежду у заключенных. Кто был беднее? «Раньше часов не было: по петухам вставали. Из одежды все было свое, тканое. Пальто раньше ни у кого не было, если телогреечки купишь, — и то ладно. Потом, лагеря когда были, так телогрейки заключенные отдавали. В Гидаево иногда ситец или сатин продавали по 3 метра или же платки. А так товару не было. Приедет если татарин только, привезет шалюшки, платочки, булавки, брошечки».

Внешний вид деревенских домов, начиная с конца 1920-х годов, все более ухудшался. Людям было не до нового строительства. Доживали свой век в старых домах, которые все более ветшали. Деревни превраща-

лись в руины. Почему ж запустела русская деревня? Татьяна Романовна Селезнева (1925) рассуждает: «В общем, деревню разорили, хороших людей угнали, в их дома заселилась голытьба, которые на себя не работали и в колхозе работали из-под палки. Деревня уже не выглядела деревней целой, а как щербатая старуха — на стороне в ряд домов уже не было. Вновь дома не строились, а постепенно и остальные дома рушились. К 1941 г. в деревне осталось 4 дома. К 1957 г. остался наш один дом, в котором мы жили в одиночестве еще 10 лет. В 1967 году после смерти моей мамы деревня Архипенки тоже умерла, как и ближайшие деревни».

А Наталья Кузьмовна Вычугжанина (1913) считает: «Все это оттого, что выжили настоящих крестьян из деревни. Особенно в 50–60-е годы много домов опустело в нашей деревне. А все потому, что людям за их труд не платили ничего. Оплата велась по системе трудодней, за которые колхозники практически ничего не получали. А как люди ушли, так опустели деревни — так все и пошло кувырком».

Город в нашей колхозной державе был на привилегированном положении. Его не морили зря голодом, считали горожан (при наличии паспортов) полноправными гражданами страны, а не второсортными, как колхозников. Но и в городе жилось тяжко в 30-е годы. Трудности были те же: как прокормиться и во что одеться. Вера Яковлевна Суслова (1924) отлично помнит: «В 1933–1934 гг. хлеб был по карточкам. Ассортимент был скудный: черный и поклеванный (ржаная сеянка), в последующие 2-3 года появился пшеничный хлеб, который стоил 1 рубль 70 копеек за 1 кг. Возможность покупать пшеничный хлеб семья имела только в выходной день — к чаю. Молоко и яички люди покупали только на рынке, молоко полчетверти (1,5 литра) стоило 1 рубль 50 копеек, его покупали не каждый

день. В предвоенные годы (1938–1939 гг.) в магазинах было изобилие продуктов: колбас, сосисок и даже икры. Но покупательная способность была низкой, поэтому чаще всего покупали сельдь-иваси по 70 копеек за 1 килограмм. Промтоваров не было совсем: тканей и обуви не было, их можно было купить в Москве и в Ленинграде. А белые тапки считались роскошными туфлями. В 30-е годы мы семьей из четырех человек жили на 17,5 руб. в месяц. На неделю покупалось 1 кг мяса и 10 яиц на всю семью. Но в доме была коза. В праздники и в выходные дни собирались родственники. Застолье было всегда без вина, но обязательно с песнями, а дядя играл на балалайке».

Унизительные, недостойные человека условия существования и в городе вспоминают многие: «Случился, помню, со мной такой случай. В 1939 г. (как раз Финская война началась) с хлебом плохо было. Очереди огромные за ним стояли. Буханку покупали на два дня. Простояла я как-то за хлебом всю ночь. Только утром домой пришла. Спать хочется — глаза слипаются. Легла я спать и проспала. На работу опоздала на 24 минуты. Меня уволили за прогул».

Все чувствовали себя на крючке, с любым человеком можно было сделать все, что угодно: лишить работы, дома, жилья, сослать, арестовать, посадить. Это можно было сделать во время массовой кампании, а можно было и в частном порядке. А.Д. Пьянкова (1902), активист тех лет, рассказывает о своей работе в начале 1930-х годов в Перми: «В те годы проходила паспортизация. Паспорта выдавала комиссия, она решала, кому выдать паспорт, кому отказать. Отказывали в первую очередь тем, кто был лишен права голоса по имущественному положению. Людей, не имеющих паспорта, выселяли из города. Таких лишенцев, как их называли, целый эшелон был отправлен в Вятку, которая тогда

входила в Горьковский край. Освободилось порядочно квартир, особняков, которые при содействии комиссии горсовета были переданы работникам просвещения».

Тем не менее даже вот эту жизнь в 1930-е годы многие вспоминают как островок благополучия, покоя, мира и счастливой жизни. Война разрушила судьбы не только отдельных людей, большинства крестьянских семей, добила традиционный быт деревень — она уничтожила целые поколения людей, которые не смогли передать дальше своего миропонимания, традиционной культуры. В цепи поколений появился черный провал.

Глава 4.
О НАЛОГАХ

Неотъемлемая часть крестьянской жизни тех лет — тяжкий налоговый гнет. О нем с содроганием вспоминают все. Как и в дореволюционной России, колхозное крестьянство оставалось главным (и единственным) податным сословием страны. Крепостным крестьянам в дореволюционной России жилось, безусловно, лучше — они платили или оброк, или трудились на барщине. Колхозники же с самого начала были обречены и на то, и на другое: и трудиться бесплатно днем на колхозном поле и платить налоги со своего личного хозяйства, без которого им просто было не выжить.

Александр Сергеевич Бусыгин (1912) из села Кичма анализирует (как и многие старики) историю налогового гнета в советские годы: «Прошло лето, и к зиме народ опять начал объединяться в колхоз. Но теперь вошли уже не семнадцать, а все сорок дворов. Давали общий план на все сорок дворов, то есть на колхоз.

А налоги нисколько не понижались. Всего заставляли сдавать тринадцать видов налогов. Если есть корова — должен сдать 9 килограммов масла, с овечек брали 400 граммов шерсти и одну овчину, также брали брынзу, был налог на яйца. А где всего этого набраться. Вот и приходилось покупать. Даже дети не только масла, но и сметаны не видели. Ну а если нечем уплатить налог, то все имущество описывали. Если хозяйство бедное, например, имеют только одну козу, так и ту заберут. К нам пришли как-то уполномоченные, и у нас не было масла, так они описали все имущество. Зашли в клеть, увидали большой сундук, говорят: «Открывай!», а там лежала военная форма, так они ее описали. Я им говорю: «Завтра поеду в Тарьял и куплю масла», — а они и слушать не хотят. Ну я съездил, купил масла и сразу, не заезжая домой, сдал. А эти уполномоченные были просто бессовестные, хоть бы кто чужой, а то из этой же деревни. Нормальный простой крестьянин никогда и не пойдет. Жили очень бедно: мне пришлось в шестнадцать лет ехать на заработки в Свердловск. Отец работал на лесозаготовках от колхоза. Но уже после смерти Сталина, когда на его место встал Маленков, налоги сразу отменили. Но он недолго побыл».

Исключений при уплате налогов часто не делали ни для кого. Между тем неполных семей, сиротских домов было немало. С них требовали то же самое, что и со всех остальных. А выжить им было трудно, хотя мир не без добрых людей. Александра Петровна Бобкина (1923) вспоминает; «Ой, худо мы жили. Огород ведь у нас еще был, картошку мы там садили. Да малы были, ничего не понимали — чего уж, шесть круглых сирот. Садить-то садили, а на следующий день копали — исть-то надо, хочется ведь.

Налоги с нас, как и со всех других брали. А чем мы заплатим? За налог нам крышу сняли, тес забрали, ма-

мину машинку унесли. Ваня потом соломы из колхоза привез, ею крышу и закрыли. Так вот мы и жили.

А деревня у нас крепкая, хорошая была, в 36 дворов. Никаких запретов и запоров у нас не было — палку поставишь и ладно. Чего брать-то было?

Бывало, что жалели нас. Сосед у нас Яша богатый был. В чашки капусты наложит, да еще огурцов наверх — наедимся как! У Яши тетка в доме жила. Так она нам все через забор картошку, помидоры кидала, чтобы Яша не видел и не ругался».

Цифры разных налогов намертво врезались в память крестьянок. Они и сегодня называют их без запинки. Сдавая все мало-мальски съедобное, сами они вынуждены были питаться суррогатами хлеба. Анна Ивановна Карачева (1906): «Урожай-то плохой был, и колхозникам на трудодни только по 50 грамм муки давали. Это лето мы все на себе отработали. Налоги большие стали на нас накладывать. На усадьбу картошек по 3 центнера, мяса 44 килограмма накладывали, яиц по 7 десятков с дому, с овечки 400 граммов шерсти. Все это сдать к осени надо было. И еще 320 литров молока. А я маслом платила по 8 кг. Мы хоть сыворотку сами ели. Хлеб-то мы такой пекли: два ведра картошек натрем, крахмала-то на кисель убавишь, лебедой замесишь (еще и опилом замешивали). Глотать-то такой хлеб не можешь, но с обратом ели. Картошку-то весной насадили и ести-то больше нечего. Так мы кисленку ели. Ее мы подсушивали, собирали и сочни пекли. А кто — липовый лист собирал и такие сочни пекли. А кто из клевера».

Характерно, что на протяжении всех 1930–1940-х годов происходило постоянное увеличение налогового бремени, рост количества налогов на каждое крестьянское хозяйство. Тяжесть их к началу 1950-х годов была совершенно неподъемной. Интересно, что обязатель-

ные поставки продукции колхозов государству крестьяне по старинке называли разверсткой. По сути, так оно и было. Только в гражданскую войну продразверстку брали с каждого крестьянского хозяйства (и хозяин мог сопротивляться, что-то прятать), а здесь все начисто выгребали с коллективного — и никто пикнуть не смел. А.Е. Боброва (1923): «Народ в колхозах в 30-е годы трудился от зари до зари, трудодней было неимоверно, а в амбарах ничего. Хлеба не доставалось, только картошка по трудодням. Жители деревни жили за счет своего осырка (участка). Молоко, масло, яйца, шерсть сдавали государству, себе ничего не оставалось почти».

Налоги не просто разорили деревню, они заставили покинуть родные места основную массу сельского населения. Жизнь в колхозной деревне зашла в тупик. Это отчетливо видели все. «В колхоз вошли в 1932 году. Председателем стал Коля Ванюлихин. Лошадей, взяли, по корове оставили. Некоторые свой скот продавать стали, так с них штраф брали по 100 рублей. Землю в колхозе напоперешку стали пахать (поперек полос), чтобы всем одинаково было. Около каждого дома двадцать пять соток земли одворицы оставили. Такие усадьбы у нас были. У Зайчиков, у Мосиных — по 40 соток, а так везде было по 25. До колхозу за землю подати платили деньгами. До колхозу хлеб не продавали, все на свою семью. Деньги брались только, если вот скотину продавали или от промысла. Лапти, холст, ягоды, еще чего на базар возили. А в колхозе стали все брать: картошку, яйца брали. Есть ли, нет ли зерно — маленько ведь посеешь, а все равно брали, мясо, шерсть, молоко. Сначала работали за хлеб, а в войну да после войны — все даром! Траву ели, да работали все. Дошло до того, что платить за работу в колхозе совсем не стали. Записывали только трудодни, а на

них выдавать было нечего — все уходило на разверстку. Кормились кой-как со своего огорода да хозяйства. Коровы почти у всех были поначалу. Потом налоги установили на все. Сено косить не давали. Распоряжались во всем уполномоченные из городу. Косили сено для коровы тайком, по болотам. Выносили с ребятишками на руках ночью. И все время боялись, что вот придут, опишут все сено на сарае и отберут. И было такое не раз! Да еще суда все время боялись. Судили за каждый пустяк, даже за то, что колоски и гнилую картошку на поле собирали. И некому было пожаловаться. Двадцать два мужика и одна девушка не вернулись с фронта, остались подростки да женщины. И нельзя никого обвинять, можно было только плакать. И горько плакали люди, уезжая из родных мест. Оставляли свои дома, опустели целые деревни. Кто хоть как-то мог устроиться на работу — все уезжали. Многие девушки уходили в няньки, потому что без справки от колхоза на работу тоже не брали. Многие деревни теперь уже перепаханы и следов от них нет».

Ощущение постоянной вины, вечного долга перед государством, стремление выполнить невыполнимые налоговые задания изнуряли, изматывали людей. Не было покоя измученной душе человека ни днем, ни ночью. «Жилось не просто. Больно уж налоги-то были велики. Подоходный налог — 600 рублей. Молоко — 200 литров, заем — 300 рублей, яйца — 75 штук, страховка — 700 рублей. Был сельхозналог — продукты за все, что выращивали в огороде: и зерном, и картошкой, и овощами. Да еще и трудповинность отрабатывали, обычно чистили тракт от снега. На уме днем и ночью было одно: как рассчитаться с государством. В долгу не оставались. Уполномоченные говорили нам, что трудности временные, что дальше будет лучше. Мы верили, надеялись. Работали с четырех часов утра до одинна-

дцати часов вечера, особенно летом» (М.С. Семенихина, 1909).

Многие горожане помнят изобилие городских рынков 30–40-х годов. Всего было много и все было очень дешево. Налоговое давление заставляло крестьян продавать все продукты, чтобы рассчитаться с государством. Пропасть в уровне жизни городского и сельского населения значительно расширилась тогда. Вот как одна старая крестьянка вспоминает те годы: «При хорошем урожае давали зерна побольше, а если нет — на трудодень 200-300 граммов. Вот и считайте: заработал 320 трудодней — полудил 96 кг зерна. Да ведь надо заплатить еще налог и страховку. А в войну и после нее от каждого хозяйства денежный налог — рублей 200-300, подписывайся на заем — рублей 50, сдать 250 литров молока, 75 штук яиц, зерна с усадьбы 30-50 кг, мяса, полшкуры с овцы, шерсти, муки, картошки. Если перевести на деньги, выходило рублей 700-800. А мы ведь ни копейки не получали. Вот и продавали все».

Ужасающая бедность, полуголодное рабское существование основной массы крестьянства — главного податного сословия в России — в послевоенные годы просто поражают сегодня наше воображение. «Матери из поля приходили по потемочкам. С ребенками водились летом, а зимой ходили на разные работы. Возили с девками и парнями навоз на лошадях. У меня была лошадь Ялта. Она была за мной закреплена. На 15-м году я уже боронила на Ялте. Норму выполняла до трех гектар в день. Работали за кусок хлеба. Начислят трудодни, а трудодни были, можно сказать, пустые. Поработаем 5 дней и выдадут за пятидневку 2 кг муки. Боронили с парнями и девками с трех часов утра и до 10 вечера. Хлеб тетерьками не пекли, потому что трудно было склеить. Пекли лепешки с куколем, клевером, пестовником. Соли не было. До войны мама соль дер-

жала в кадке, она вся просолела. В первый год войны соль издержали, а потом разламывали кадушку и клали деревяшку в похлебку. Меньше меня брат и сестренка сбирали и нас с мамой кормили. Молоко носили в заготовку, сами ели только обрат, разведенный водой. Да и его не досыта, потому что его давали половину того молока, сколько сдашь.

В заготовку сдавали шерсть, яйца, масло, мясо. Если нет ни кур, ни овец, ни коровы в хозяйстве, то покупали у других. Из постели было одно одеяло на семь человек, да две подушки. Постельник набивали соломой один раз в год, к Пасхе. Спали на печи, на полатях на соломе. На ногах вся семья круглый год носила лапти. Всю одежду готовили сами изо льна. Все было портяное. Мылись в печи. Мыла не было. Делали щелок. Это нагребали из печи в тряпку золы и замачивали, им мылись и стирали одежду. Керосину было мало, сидели с лучиной на посиделках (по очереди их делали), один кто-нибудь весь вечер дежурил у корыта, жег лучину, были приделаны для лучины такие маленькие железные рожки, а в корыте под ними была вода» (И.П. Черепанова, 1928).

Особенно трудно пришлось вдовам. За недоплату налогов описывали и увозили имущество, скот.

Многие связывали увеличение налогов с именем Сталина. «Сталин был руководителем страны. Считали, что он накладывал на деревню большие налоги (особенно в войну). Из деревни стали уезжать в город, платить-то налоги нечем было. Налоги брали деньгами, мясом, молоком, яйцами и другими продуктами. Например, с коровы налог считался 200 литров молока, с овечек — шерсть, мяса — 42 кг, яйца — 100 штук, деньгами брали за огород. Независимо от того, держишь ли ты свиней, кур — налог за них надо было платить. Заем — 300 рублей. Военный налог. Когда кончи-

лась война, продолжали налог еще 5 лет. Бездетный налог. Девушка или парень с 18 лет, с вдов — если нет детей. Денег не было, на трудодни получали зерном. Но его продавать было нельзя — на это нужно жить. Если налог не платишь, то приходили агенты и проводили опись чего угодно: корова, хлев, даже вещи. Забирали насильно. Сама я платила налоги в срок. Была корова. Жила одна с дочерью (мужа убило на фронте). Молоко продавали на рынке и деньги копили на уплату налога. Сами питались плохо. Когда умер Сталин, думали, что налоги останутся. Рассуждали — кого поставят во главе правительства» (Т.Ф. Бахтина, 1919).

Повсеместный голод в войну особенно сильно ударил по детям. Нередкими были случаи смерти стариков и детей. Не нужно думать, что сборщики налогов (заготовители) были какими-то извергами. Вовсе нет, чаще всего это были обыкновенные люди, добрые и человечные, но считавшие по своей должности, что закон надо исполнять. «Перед концом войны ездила по деревням — работала заготовителем, так приходилось собирать налоги. А налоги были очень большие на каждое хозяйство наложены: если есть корова — сдай масло, есть курица — сдай яйца, овцы есть — сдай шерсть. А где люди должны взять? Ведь война уже идет четвертый год. Правда, хозяйства, которые справлялись, были, а были такие, что взять у них нечего. Были такие семьи, что от хозяина остались одни дети, их по три человека, а мать одна — и та выбилась из сил. Вот однажды я захожу в одну избу (изба была открыта), спрашиваю: «Кто есть?». Молчок, никто голоса не подает, перешагнула порог: справа стоит кровать деревянная, совсем голая, в переднем углу стоит стол, на столе чугунок, но пустой — в нем ничего не было. Я прошла в кухню — никого, ни звука. Когда вернулась обратно, взглянула на потолок и увидела полати, а на

них пять детских головок, так на меня уставились, как будто я их возьму и съем. Спрашиваю их, чего они там делают. «А мы здесь лежим». Оказывается, у них буквально нечего одеть, все они голые, даже рубашонок нет, и в избе шаром покати — ничего нет. Мать на работе в колхозе, корову зимой съели, и каждый день чугунок варят ведерный картошки — этим и живут. А еще налог какой-то с них просить.

Вышла я из этой избы и давай заявление в район составлять. Сняли с них налог, а райсобес выделил им материалу — одели детей. Вот как приходилось жить. Жили, работали, никто никого не осуждал, друг другу помогали, переживали всю войну и пережили. Но силы слабели у людей. Дети были больные, на улице не бегали. Ну есть лапотки — надевали, катались на санках, веселились по-своему. Дождались! Война кончилась. Стали возвращаться домой солдатики по одному, по два человека, — а уходили десятками» (А П. Кайгородова, 1915).

Конечно, были семьи, живущие лучше, жившие совсем плохо, но в памяти всех без исключения стариков осталось: «с едой было плохо, почти все отбирали в заготовку».

Лишенные сенокосов, крестьяне должны были держать скот и сдавать мясо и молоко государству в виде налога. Косили «воровски» по лесным полянам, болотам, неудобям. Да и день-то принадлежал колхозу — на себя они могли работать только поздним вечером, ночью, рано утром.

«Войну народ вынес на себе, все отдавали. Все для фронта, все для победы! Отец почти от голода умер. Кто для себя прятал — тот выжил, кто по-честному жил — тот до Победы не дожил. Займы, налоги на колхозника были очень большие. Требовали 44 кг мяса сдать в год. А где возьмешь? Кормить скот нечем. Са-

мим есть тоже нечего, все увезут» (Д.Ф. Устюгов, 1918).

Старики, чтобы выжить, вынуждены были отделяться от детей. Нетрудоспособные налоги не платили. Рушились вековые устои крестьянской семьи. «Главой хозяйства писали отца. И хотя и отец, и мать были уже нетрудоспособными, в семье числился трудоспособный (сын учитель), значит требовали платить все налоги. Хотя с учителей налоги не брались. Пришлось уходить на школьную квартиру. Так рушилась семья. Молодые уходили из деревни, старики доживали свой век и умирали. И остались вместо домов и даже многих деревень, которые подальше от райцентра, рябины, тополя, да заросли бурьяна и крапивы. Все, кто «более или менее», разбежались. А вернее сказать — разогнали» (А.В. Грязин, 1926).

Но страшнее многих налогов были государственные займы. Подписка на них была обязательной и принудительной. Но откуда должны были брать деньги крестьяне, не получавшие их за работу в колхозе («пустые трудодни»), а продукты личного хозяйства отдававшие на уплату налогов?

«А питались как? Картошка да хлеб, хлеб да картошка. Года бывали, что одним куколем да травой питались. В войну ведь мусор ели. Как, не знаю, люди и выжили. И в огородах ничего не росло. Видно, уж правду говорят, что беда поодиночке не ходит. А летом ребенки за пестом ходили, за ягодами, конечно, за кисленкой. А сейчас и пестов-то не стало.

А я про себя скажу, а ничего не было, ни единой лопотинки. Лапти носили. Валенки были, так они только на праздники, на вылюдье. Главное — налоги душили. Вот смотри, налоги какие платили: страховка — эту деньгами платили, налог военный, за бездетность налог опять же, налог на молоко, мясо, шерсть, яйца, по-

том заем еще, если заем маленький бывал. Бывало все ночи сидели: подписывайся и все! Да как я подпишусь, если у меня платить нечем? Ведь ни рублика не платили. Весной, помнится, раз не подписалась, так в сельсовет вызвали. «Надумала?» — спрашивают. «Да где, — говорю, — вот столько давала и больше мне взять?» Ну, уперлись: давай да давай. Я уж утопиться пригрозила, так тогда струхнули. Ладно, мол, пиши, что вчера говорила, на четыре сотни. Военный-то налог после войны порядком еще платили, точно не скажу, но долгонько» (Д.Ф. Зубарева, 1913).

Вот еще два свидетельства о том, как происходила подписка на займы: «Собирали по деревням государственные займы. Придет из района человек с бумагой, сколько нужно собрать денег. Соберут всех в одну избу и не выпустят, пока человек не подпишется на уплату назначенной ему суммы. Это тоже зависело от достатка семей. Кому побольше давали выплачивать, кому поменьше. Трудно было до того, что и теперь подумать страшно» (А.Д. Уракова, 1924).

«В 40-х годах были займы. Даже коллективизация проходила лучше. Работали на трудодни. Только на мясо, проданное свое, в городе мыла и сахару много не купишь. А тут заем. Собирали собрание. Не выпускали до тех пор, пока не сдашь деньги, пока не подпишешься. Это было настоящее зверство! В семьях жили бедно. У Анны Михайловны было 9 ребятишек, муж погиб на фронте, а требовали дать займ. Она выла и рвала волосы» (А.Л. Муратовских, 1926).

Под натиском налогов дрогнула основная опора крестьянского хозяйства 30–40-х годов, кормилица семьи — корова. Крестьянин сумел сохранить ее в годы коллективизации, но сороковые годы были к ней беспощадны. Во многих деревнях крестьянки вынуждены были держать «деревянных коров», как они с горьким

юмором называли коз. «После введения продналога держать корову стало невыгодно. А ведь она была главной кормилицей для семьи. Платили за корову в год 800 рублей наличными, 200 литров молока надо было сдать государству. Сдавали ведь яйца, масло, зерно. У кого не хватало продуктов для сдачи, покупали на рынке специально, чтобы сдать».

Кроме прямых налогов, широко использовался временный бесплатный принудительный труд крестьян на лесозаготовках (причем зимой), на благоустройстве дорог, перевозке грузов (гужповинность), рытье окопов (трудовая армия) и во многих других случаях. Область давала распоряжение району, в районе раскладывали общее количество по сельсоветам, и председатель сельсовета назначал работников. Злобина Прасковья Васильевна (1909) вспоминает: «На лесозаготовку гнали. Не пойдешь — под суд! Вот мало платили за лесозаготовку. На десять ден — буханку хлеба. Пойдешь туда, накладешь сухарей. Песню складываешь:

Надоело нам сухарики
В сырой воде мочить.
Надоело нам котомочки
По нарам волочить.

Или:

Товарка, нынешнюю зиму
Не придется дома жить!
В сельсовет пришла записочка.
Приехал вербовщик».

Зимой в глубоком снегу женщины, дети, старики вручную валили огромные деревья, заготовляли дрова,

вывозили их к станциям. Жили там же, в лесу, в бараках, на нарах, не раздеваясь, все вместе — парни и девушки. Местное начальство старалось назначать туда прежде всего молодежь, одиноких, несемейных женщин. Тяжелейшие условия работы в лесу вызвали массовые побеги, отказы. С ними боролись привычными тогда методами — суд, тюрьма. «В лесу были два года. В зиму два раза домой ходила. Как сменили Антона Ивановича (председателя сельсовета), так и нас сменили. На суд в тюрьму меня гоняли — в лес не поехала. Идем хохочем, думали, в милицию идем, дак ничего. А нас до ночи держали. Мишка наш говорит: “У них дети плачут, а они тут сидят”. Вызвали к прокурору, тот спросил, сколько детей, и тут же отпустил. И сняли Антона Ивановича, а он “ел” людей. Работали в лаптях. Веревка оборвется, ты идешь в портянках да чулках по снегу. Усадьбу-то на себе обрабатывали. Павел Яковлевич (председатель колхоза) стал ребятам пайки давать, мне дал. Все на себе пахали, и он с нами пахал. Антон Иванович, помню, говорил: “Выезжайте за деревню, пропадете, дак и не больно надо”.

С 1928 года Ленька-то (сын) у нас был. Его взяли на море рыбу ловить, а оттуда еле привезли, и он умер. Месяцев шесть, очень мало проработал» (А.Т. Лукьянова, 1905).

Тяжелейший физический труд, который и мужикам бывал не под силу, пришелся на долю девушек и женщин-крестьянок 40-х годов на лесозаготовках. «Сначала ели то, что было из дома: хлеб, сухари. Потом стали выдавать по 300 г. печеного хлеба, а к весне эти же 300 г. неразмолотого пшеничного зерна. Жили в большом бараке. Большая русская печь посредине. Возле стен двухъярусные нары для спанья. Вечером, когда с работы вертались, печь вкруговую увешивали лаптями и онучами для просушки. В апреле было раз-

решено вернуться по домам. Около двух недель добирались домой на товарных поездах. Копейки в кармане не было. При себе немного муки, и когда удавалось раздобыть немного кипяточку, заваривали болтушку. Этим и питались. Добрались домой — и снова работа. Страшно болели руки, а ноги все чириями покрылись, да так дружно, что нельзя было обуться в лапти, не было места для лапотных веревок. Летом мобилизовали меня в лес. Призвали двоих нас тогда из деревни. Доехали до Зуевки, да и решили вернуться домой. Сбежали с лесозаготовок. А потом вскорости суд и приговор — 7 лет тюрьмы. Правда, просидели всего 2 месяца, был пересуд по кассационной просьбе брата, и меня освободили. Только домой вернулась, снова повестка на лесозаготовки. Больше не бегала. Всю зиму работала в омутнинских лесах. Снегу было до пояса, сосны в обхват. А на ногах лапти, бывало, и примерзали к ногам. Правда, что хорошим вспоминается, — была горячая пища. Весной вернулась домой. В 1948 году родился сын и из дома уже никуда не отправляли. В колхозе продолжала работать» (А.В. Ходырева, 1912).

Кроме лесозаготовок, было еще и восстановление угольных шахт, торфоразработки и многое другое. Людские ресурсы к концу войны уже истощились. Чтобы выполнить спускаемый сверху план, посылали подростков. «На шестнадцатом году меня взяли на торфоразработки в Оричи, где я работала три с половиной лета. Жили в бараках, хлеб давали по карточкам 400 г. в сутки. Пока иду с девками до барака, весь паек съем, а все голодная. Работа была тяжелая, земляная, пыль в глаза, рот и нос летит. Трудно дышать, глаза болели. На ногах носили шахтерские калоши. За хорошую работу меня премировали двумя шерстяными жилетками и юбкой» (И.П. Черепанова, 1928).

Вот эта тяжелая обида на непосильный труд, нище-

ту и одиночество, душевную муку прошлых лет осталась в памяти нескольких поколений крестьян. «На мельницу ячмень возить жалели — много в пыль уйдет. Мололи на ручных жерновах. В войну люди ходили друг к другу, делились, у кого что есть. Брали взаймы друг у друга даже одежду на посиделки. Вспоминаю эти годы с обидой до слез. Вся жизнь прошла в работе и заботе» (она же).

Огромное количество молодежи выкачивалось из деревни в город (на заводы, стройки) в 40-е годы через систему ФЗО. Судьба многих подростков, вырванных из привычного течения жизни, не сумевших перестроиться, приспособиться в новых условиях, сложилась трагично. Вот рассказ одной из тех, кому еще повезло: «В 14 лет из колхоза нас забрали учиться в ФЗО. Мы не хотели учиться на слесарей, токарей. Делали все это насильно. Увезли нас в Тагил, поставили к станку, не кормили. Показали, как работает станок, и заставили работать. Я очень скучала, ведь оторвали насильно от земли, от родни. Не выдержали мы, сговорились и решили сбежать из ФЗО. А было это в декабре месяце. Мороз — 40°. Садились в товарные поезда с углем и ехали. Три раза меня милиция с поезда снимала. Подержат немного, смотрят — девчонка худущая (при росте 170 см весила 35 кг), одни глазенки остались. Так и отпускали. А я снова на поезд и ехала. Добиралась 8 суток. До Котельнича добралась — пробиралась так в деревню, чтобы никто не видел. Скрывалась всю зиму на полатях да в подполье, хорошо нашлись добрые люди в МТС, дали направление учиться на комбайнера. Я очень обрадовалась и тут же в Яранск пошла пешком. Шла 3 дня. Там меня сначала не приняли — опоздала на месяц. Я плакала, говорила, что буду стараться. Ладно, оставили. Потом работали с утра до ночи совсем, как мужчины» (А.П. Муратовских, 1926).

Многообразные налоги, всевозможные трудовые повинности были резко сокращены лишь в 1954 году. Со смертью Сталина реформировалась и сталинская система налогообложения. Сегодня многие крестьяне, осмысливая путь русской деревни, причины ее разрушения, думают так же, как Леонид Григорьевич Стремоусов (1919): «А после войны по приказу Сталина набавили налог на колхозников, когда всю войну ели траву. Хлеб увозили под метелку, даже семян не оставляли. Но после войны можно было дать отдых колхознику, а сделали еще хуже. Надо было платить налог примерно 1200 рублей. Где взять было такие деньги? Тогда мясо ведь дешево стоило на рынке — 11-15 руб. Чтобы заплатить налог, надо продать 100 и более килограммов мяса. А на остальные расходы где было взять деньги? Городу хорошо — все было на рынке и в магазинах. А колхознику надоело жить в дерьме и в голоде. Из колхоза ни денег, ни хлеба. Жили своей усадьбой. И пошел народ из деревни в город. Можно сказать спасибо Хрущеву, он отменил сельхозналог и применил денежную оплату: но плохо сделал — отнял весь скот у колхозника, одворицы обрезали. Посчитали — извлекают нетрудовые доходы. А тут еще Брежнев добавил свою лепту в сельское хозяйство — объявили неперспективные деревни. А деревни были 35-40-50 хозяйств. Раньше деревня от деревни 2-3-5 км. А сейчас? Не стало. Ведь излишки на рынок бы везли. Остатки доконали деревню».

Доконали...

Глава 5.
СТАЛИН ГЛАЗАМИ РУССКИХ КРЕСТЬЯН

Отношение русских крестьян к Сталину — интереснейший вопрос не только истории, но и исторической психологии. Массовое народное сознание мифологи-

зировало это имя, превратило его в одну из святынь! Почему и как это произошло?

Тема эта воистину необъятна. Настолько сильно здесь переплелись политические, личные, социальные мотивы и отношения, что, глядя не этот клубок противоречивых суждений, где преобладают эмоции, не веришь, что сможешь в нем разобраться или даже нащупать какую-то логическую нить, найти связи, понять нечто, скрытое от взоров современников вождя. Наше время внесло много ожесточения в этот вопрос (отношение к Сталину). Сталин, как символ определенной эпохи, стал знаменем, которое для одних надо непременно отстоять, для других — обязательно низвергнуть. Эпоха политического размежевания и фигуру Сталина использует в своих интересах. Научный анализ подменяется политической публицистикой — время для настоящего осмысления, видимо, еще не пришло.

Но именно наше время открыло рты миллионам наших сограждан, в чьей крови еще живет Великий Страх 30-х годов. Они могут сейчас (пусть не все) говорить то, что думают, хотя их речи во многом зависят от сегодняшней пропаганды — тем не менее это искренние речи. Люди сами мучительно хотят разобраться в прошлом, понять свою судьбу и свое время. Многие понимают сегодняшний день как период блужданий, разноголосицы, исканий единственно правильного пути. Но в суждениях стариков очень много спокойного здравого смысла. Вот такая, например, мысль: «Сейчас ведь весь народ заблудился. Вот и мы раньше не знали, кто есть кто. А вообще, кто бы ни был правителем, главное, чтоб народу жилось хорошо. По народу надо судить: какая власть — плохая или хорошая. Вон раньше царя ругали, потом Сталина стали ругать, а дальше кого будут?»

Мы часто забываем, что после Октябрьской революции в сознании миллионов крестьян сразу же началось обожествление нового правителя России — Ленина. После смерти Ленина обожествление автоматически было перенесено на личность Сталина. Дарья Ивановна Селезнева (1912) из деревни Усады Московской губернии вспоминает: «В 17-м году свершилась революция. Мы на революцию никак особенно-то внимания не обратили. Как жили раньше, так и потом — нисколько не полегчало: работы-то было столько же. Ленина крестьяне уважали, любили его. За Ленина молились. С детства мать приучала нас молиться за Ленина перед едой».

Феномен обожествления Сталина, мифологизация его личности в народном сознании 30-х годов нельзя понять вне связи его с прочными монархическими настроениями в крестьянской среде, особенностями религиозных воззрений русского народа. В условиях того времени фигура харизматического лидера впитала в себя не только царистские, религиозные, патриархальные воззрения крестьянских масс. Власть переплавила все это в горниле революции, войн, террора в совершенно иное качество — в личность национального вождя, вождя единственно возможного и абсолютно бесспорного. Вот подборка из нескольких рассуждений о вожде.

«Раньше Сталин для всего народа был просто Богом. Помню, пришли мы как-то с матерью в сельсовет. В красном углу висел портрет Сталина, мать перекрестилась и меня заставила поклониться. Все жили в страхе, все боялись, но и уважали Сталина. Мы не могли себе представить, как жить без Сталина» (А.И. Гребенева, 1917).

«Сталин — герой. Войну выиграл, страну на ноги поставил. Когда его на XX съезде очернили, все его ре-

чи и доклады, книги там сжигались. А у меня патефонные пластинки были, дак я их не дал жене разбить. Тася потом стащила несколько и разбила. А остальные храню. А сейчас хотят его во всех смертных грехах обвинить. А он тогда страну на ноги поставил. Если б не он, не знаю, чтоб сейчас было» (Я.Н. Рычков, 1910).

Вера в вождя, безусловно, включала какие-то религиозные элементы: некритичное восприятие всего, связанного с именем вождя (особенно для молодежи), мистическая убежденность в его абсолютной правоте, полное отсутствие информации о Сталине как человеке.

«Сталин был для нас Бог и царь. Когда он умер, мы всей деревней ревели по нему. Мы даже думали благодаря Сталину. А и сейчас у меня нет на него зла. Нас он не обидел» (В.В. Рогожникова, 1920).

«Сталин для нас был вождь и учитель, всезнающий человек, в общем, был Богом. Так нас учили в школе, так писала пресса, так учила партия до самой его смерти, так думал народ. Считалось, что благодаря мудрости Сталина наш народ выиграл и такую войну. Как плакали люди, когда умер Сталин! Ну, думали, конец света. Прекратится советская власть, загубят нас другие! Разве кто знал все его творения? Что внушали народу, то он и думал, куда поворачивали, туда и шел» (Л.Г. Стремоусова, 1919).

«Относились к Сталину прекрасно: как в кино, где покажут — так весь зал вставал и аплодировал. Верили ему очень и любили. Знали, что Сталин все правильно делает, и верили, что “враги народа” есть и их ненавидели» (В.В. Ерок, 1922).

Судя по всему, на личность Сталина переносились черты личности Ленина. Осознание зависимости всей своей жизни от личности руководителя страны, воспринимаемого как отца огромной семьи, жило в кре-

стьянстве. Такой руководитель никому ни в чем и не может быть подотчетен, поскольку прав всегда. Действия его могут (и должны) быть неожиданными, иррациональными, жестокими. В его отеческой власти наказать и простить без всяких на то оснований и объяснений. Это только укрепляет его авторитет.

«В нашем хуторе была начальная школа. И вот 1 мая всегда была наша демонстрация по хутору. Мы ходили с флагами и пели песни. А это часто бывало перед религиозным праздником, Пасхой, так нас, школьников, и моего отца-учителя обзывали безбожниками. И вообще нам, детям, учителя говорили, что у нас Бог — Ленин, а мы этим гордились. Я чуть-чуть помню день, когда умер Ленин. Мужики собирались кучками, о чем-то разговаривали и некоторые плакали» (З.Н. Куло, 1918).

«Отец мой работал председателем сельсовета, организовывать колхозы помогал. Я помню, хоть и невелика была. В него кулаки два раза стреляли — когда коммуну организовывали и когда колхоз. Это только сейчас говорят, что они бедные, высланные. Это все меня бесит. Сталина я и не считаю врагом народа. Он, конечно, не царь, не Бог, смертный человек. Но его ругают за то, что он вернул исконные русские земли — Украину, Прибалтику. Зачеркнуть Сталина — все наше поколение зачеркнуть! А это время как будет называться? Период болтовни? Отец мой с 17-го года коммунист. А из партии потом исключили. Через два месяца восстановили. Ответ пришел, и подпись — «Сталин». Так у нас портрет его большой висел. До 43-го года, пока отец не погиб. Потом мама икону повесила. Вот говорят, мы маршировали строем! Но мы были равные все!!!»

Идеализация времени своей юности делает многих «мягкими» сталинистами.

«Сталин — самый дорогой человек. И сейчас так думаю. В 30-е годы мы жили лучше, чем сейчас, свободные мы были, не боялись, хулиганов не было, это уж потом, после войны, хуже да хуже. Читаешь сейчас газеты — ужас, что творится в городах. То убили, то потерялся. А раньше и не слыхали, чтоб кто-то потерялся, да и ходили мало куда. Счас сложнее жить» (1921).

Взрослеющая на фронте с именем Сталина молодежь сохранила до седин чувственно-эмоциональное отношение к слову «Сталин». Вера в доброго царя и его негодных помощников помогла им избежать дальнейших разочарований. «Сталина я уважаю. Все, что о нем болтают, — ерунда. Мы в бой за него шли, умирали. Это все Берия там у него творил, а его обманывал. Я как относился к нему, так и буду относиться. Сейчас бы его к власти — все бы изменилось: никаких бы ворюг не было, ни бюрократов. Раньше мы хоть во что-то верили — кто в Бога, кто в Сталина, а сейчас люди ни во что не верят, живут каждый для себя» (И.В. Рогожин, 1920).

Острая потребность людей 1920–1930-х годов в величественном объекте их веры привела к тому, что вождь стал, в некотором роде, их собственным творением. Он стал неотделим от жизни каждого человека, и любое его слово воспринималось как свое, родное, глубинно выстраданное. Вождь стал стержнем своей эпохи. Убери его — и эпоха рассыплется. Анатолий Александрович Кожевников (1925, сельский учитель) считает именно так: «Сталин. Для любого народа был вождь, даже у диких племен, и народ всегда верил. Хорошая ли была жизнь, плохая — верил. После смерти Ленина в 1924 г. управлял страной Сталин, почти 30 лет. И годы коллективизации, они проходили трудно, нужно было убирать кулаков. Мы верили Сталину, и школа воспитывала так, и деды, и вера была настоль-

ко сильна, что просто не могли не верить. Если Сталин выступал по радио, а выступал он очень редко — раз в год или в два года, то все слушали Сталина. Он выступал, и его речи совпадали с верой народа. В годы войны он сыграл большую роль. В атаку с именем Сталина ходили и умирали с именем Сталина. И мы, воспитанные в социалистическом духе, в вере в Сталина, выиграли войну. Порядок на заводах, на фабриках был строгий, не опоздай, не болтай зря, ибо твой язык на руку врагу, не подрывай авторитет своего правительства. И кто выступал против — того наказывали. Сейчас называют это репрессиями. Сталина любили. К Сталину отношусь с почтением и сейчас. После Сталина никого не любили».

Обратим внимание в предыдущем тексте на три момента: 1. Вера народа была настолько сильна, что в Сталина не могли не верить; 2. Он выступал, и его речи совпадали с верой народа (подлинный национальный вождь и учитель); 3. Сталина любили. После Сталина никого не любили. (Вот такое чувственное отношение к вождю и правителю — явление уникальное в русской истории.)

Думается, что для поколения 1920-х годов все эти три момента гораздо более характерны, чем для более ранних и более поздних поколений людей.

Все, что делалось в стране, освящалось его авторитетом. Любое действие человека было обращено к вождю, могло быть проверено на каноничность. Тень вождя накрыла всю огромную державу. Грешниками могли быть все, непогрешимым — только он один. «В нашей школе собрания проводились, особенно когда все эти были троцкисты, зиновьевцы, пятаковцы, много было всевозможных. Нам все говорили: это враги народа, и мы поддерживали, клеймили. Один только Сталин был у нас непогрешим, и все мы его признава-

ли. В него верили, как в Бога, чего бы ни делали — все от имени Сталина».

Сказочное, мифопоэтическое восприятие революции, социализма, Москвы, руководства страны было характерно для многих крестьян, детей той эпохи. Рассказывает В.А. Ведерникова (1925), учитель: «Наш пионерский отряд 4-го класса в 1937 году вышел победителем в соревновании отрядов школы, и четверых лучших пионеров послали на экскурсию в Москву. В числе самых счастливых оказалась и я. Всего 100 пионеров Кировской области приехали в Москву. Трудно тогда было найти слова, чтобы передать нашу радость и волнение от встречи с Москвой. Мы всем сердцем почувствовали ее красоту и величие. Для нас все было загадочно, интересно, сказочно: и станции метро, залитые чудесным светом, и электропоезда, и лестница-чудесница. И разные звери и птицы в зоопарке. Незабываема была встреча в Москве с нашим тогда наркомом просвещения тов. Бубновым. Я сидела почти рядом. Он говорил с нами просто о том, для чего надо хорошо учиться. Его речь была яркой, глубоко запавшей нам в души. Он подарил тогда всем пионерам подарки. С прекрасным настроением мы вернулись из Москвы, вопросов к нам и наших рассказов о виденном было не счесть. Но из моей головы какие-то тревожные мысли не выходили. В 1938-е годы вдруг мы узнали от наших учителей, что Бубнов, с которым мы встречались в Кремле, вдруг объявлен врагом народа. Почему? Какие-то неясности возникают в нашей жизни. И с другими тоже. И как раз в это время печать, радио, песни — все славили Сталина. Хотя бы вот такие куплеты:

От края до края, по горным вершинам,
Где вольный орел совершает полет,

О Сталине мудром, родном и любимом
Прекрасную песню слагает народ.
Мы эту песню поем горделиво
И славим величие сталинских лет,
О жизни поем мы прекрасной, счастливой,
О радости наших великих побед!

Я тоже пыталась сочинить что-то, хотя бы небольшое стихотворение о Сталине, не получилось. Я слышала о Сталине торжественные песни и стихи, в которых его называли учителем, отцом, сравнивали с орлом и солнцем. Но знала лишь то, что он родом из Грузии, сын сапожника Иосифа Джугашвили, немного о начале его революционной деятельности. Больше нам рассказывали на уроках о Ленине, его семье, соратниках.

Сохранились мои некоторые небольшие стихи в детском дневнике. Например, Ленин и дети:

Ленин в парк однажды вышел,
Чтобы отдохнуть.
А малышки, Таня с Машей,
Тут как тут.
Ленин как обычно
Начал говорить,
Ему всегда приятно
С детишками дружить.
Он улыбнулся нежно,
Танечку обнял,
И просто, интересно
Сказку рассказал».

Вера в божественную природу вождя не допускала и мысли о том, что он смертен, как любой другой простой человек. Поэтому-то у миллионов людей его

смерть вызвала такой шок. Кое-кто и сегодня поэтому не может поверить в его естественную смерть. Боги сами не умирают.

Василий Степанович Кузин (1923): «А Сталина в народе любили. Он не распускал дело, все в крепких руках держал. И хоть пишут, что Сталина никто не травил, а что он умер от кровоизлияния, я тому не верю. Его отравили, а потом, хоть и кровоизлияние, но своей смертью он не умер. Его родство 90 лет живет».

И все же здравый смысл зачастую во многих людях, если не побеждал эту слепую веру в вождя, то сеял зерно сомнения! Анастасия Ивановна Нелюбима (1913) говорит как раз об этом: «Сталин? Мы были воспитаны на нем, так что со Сталиным "вставали и спать ложились". А когда он умер, то горько плакали. Но все же была в народе к нему какая-то неприязнь. Ведь народу сколько погибло, и хотели мы верить, что он ничего не знал, что его обманывают помощники. Да ведь гибли-то не десятки, а миллионы, и плач по России шел. Его нельзя не услышать. А он не слышал или не хотел слышать. Думали, а говорить боялись. Зато и дисциплина была при нем. А может это и страх был».

Огромную страну накрыла тень от сталинских портретов, бюстов, скульптур. Вождь и учитель смотрел на каждого из своих подданных, и они с детства привыкали смотреть на него. Вошел он и в дома людей, в их личную жизнь. Борис Иванович Фролов (1913) верно связывает закрытие церквей, уничтожение икон и широкое распространение портретов вождя. Это, действительно, звенья одной цепи: «После закрытия церкви было требование убрать иконы из домов, но многие не пошли на это, перенося иконы в доме на другое место, не так видимое прихожим. Было и второе требование — иметь в каждом доме портрет В.И. Ленина, И.В. Сталина и других руководителей партии и

правительства. Это требование народом было выполнено, портреты руководителей стали появляться в квартирах и домах людей».

Атмосфера страха, религиозной нетерпимости в своей социалистической вере, иконопочитания в отношении портретов вождя была всеобщей. Насаждалась тотально и очень свирепыми методами: «К Сталину относились хорошо до “культа личности”. Звали “отец”. Боялись тогда лишка сказать, боялись всего. Даже из наших деревень ушли — и нет ни пены, ни пузырей. В лесу у нас, где работали, портрет висел. Один мужик взял ложку и сказал: “На, поешь!” Увели, и нет ничего от человека, а был простой мужик. Учитель у нас всю войну прошел, а забрали. И какой он враг народа?»

Оскорбление портретов Сталина приравнивалось к оскорблению вождя, было государственным преступлением, жестоко караемым. А.В. Клестов (1918): «Тогда во главе власти стоял Сталин. К нему народ относился как к Богу. Я, например, служил в армии с 1938 по 1940 годы, знал, что в это время начали садить, так что нигде лишнего слова, никакого анекдота. Вот я в артели «Север» работал. Мы сидели в столовой, ели, и ребята стали дуреть. Один в другого ложкой супа плеснул, и этот в него хотел плеснуть. А сзади портрет Сталина был. Капля супа попала на портрет, и этого парня завтра уже не стало. Его, видимо, посадили. Дак какое мнение было? Мнение-то у всех отвратительное было, но каждый про себя его знал. Нельзя было ничего говорить. Знали, что это наш великий вождь, наш самодержавец. Я же при нем воспитывался и рос».

«Был такой случай. Птицы запачкали портрет Сталина. Женщина вытирала портрет. Бросила неосторожное слово по поводу того, что наделали птицы. После этого случая женщину эту больше никто не ви-

дел. Случаи с исчезновением людей были. Все думали, что это провинившиеся в чем-то».

Именно патерналитет вызвал чувство всеобщего сиротства у миллионов советских людей, когда они узнали о смерти вождя. Эта скорбь была во многом вызвана страхом за свою будущую жизнь. «А Сталина все любили как отца родного, уважали. Волновались за его здоровье и жизнь. Верили ему как Богу. Помню, когда умер Сталин, все ходили в трауре. Траурные флаги в деревне приспущены. Нет-нет да и услышишь плачь из какой-нибудь избы. Все думали, как жить дальше будем. Без Сталина и жизни не мыслили» (К.П. Михеева, 1921).

Но разное отношение к вождю было не только среди разных поколений людей. Повторяю, что поколение 20-х годов было гораздо менее критично к нему, чем предшествующие и последующие поколения.

Власть отчетливо понимала, что вера должна быть слепой и хорошо заученной. На это работала колоссальная пропагандистская машина. Даже на фронте важно было правильно заучить малейшие нюансы в титуловании вождей. Вспоминает Г.З. Байшихин (1925): «Воевал за Родину, за Сталина. Ночью поднимут — должен назвать все ордена Сталина, его должность и про других тоже: Молотова, Калинина. Заставляли верить в них, а не в Бога».

Очень многие подтверждают, что пиетет в отношении вождя поддерживался постоянным страхом и всеобщим молчанием. «Сталина боялись. Спроси что тогда про него. Сказать страшно. Вышлют! Мне кажется, почему-то и он был не за народ. И сейчас мне нисколько его не жалко. Ничего хорошего от него не видела. В 20-е годы жизнь была на селе спокойнее, чем в 30-е. А в 30-е годы жизнь изломалася. Люди побежали в город. 40-е — это война. Трудные годы 50-е. Тут уж

одни машины, люди стали не нужны» (А.Т. Сапожникова, 1910).

Помимо официозной культовой литературы, песен, стихов, прославлявших Сталина, существовал пласт народного антисталинского фольклора, довольно неплохо сохранившийся в архивах ОГПУ и НКВД. Ироническая струя народного творчества не иссякла, хотя шутить было смертельно опасно. Смысл многих такого рода пословиц, частушек, сочинявшихся по конкретным поводам, сейчас утерян. Вот, например, такая поговорка: «Спасибо Сталину-грузину, что он одел всех нас в резину». А это просто в сельскую лавку привезли калоши.

Типичная антиколхозная частушка:

Очень плохо — Ленин умер.
Умереть бы Сталину.
Развалились бы колхозы.
Стали б жить по-старому.

Долго помнили крестьяне антибольшевистские частушки времен гражданской войны, 20-х годов. На Вятке записали, например, такие частушки:

Едет Ленин на свинье.
Троцкий на собаке.
Испугалися жиды —
Думали, казаки.

Сидит Ленин на дубу.
Гложет конскую ногу.
Фу, какая гадина
Русская говядина!

Частушки были чаще всего привязаны к каким-то конкретным событиям: «Была какая-то про Сталина.

Варюху за нее еще отец выпорол, не вспомнить. Наверное, что-то так:

Ныне Кирова убили.
До рублевки хлеб добили.
Если Сталина убьют,
До копейки хлеб добьют».

Любопытно, что никакой фактической информации о жизни и деятельности вождя в народе не было. Поэтому в своем принятии или непринятии обожествления вождя рассказчики руководствуются просто последствиями политики тех лет.

Характерно при этом утверждение, что кто такой Сталин — они не знают. Очень критичен Павел Алексеевич Колотов (1909): «Сталина я не знаю. Но мы его не любили. Раскулачивали неправильно, работали мы в колхозах, на лесоповале задаром. Обманывал он людей».

Меня поразило в рассказе Анфисы Васильевны Лузяниной (1907), что люди не могли громко сказать, даже на собрании, о смерти вождя. Язык не поворачивался. Это был, конечно, Великий Страх: «Сталин был строгий, много расстреливал, особенно во время войны. Раньше боялись лишнего слова сказать. Пал Никанорыч у нас был в селе доносчик, чуть-чего — в сельсовет донесет или на собрании расскажет. Его тоже боялись. Сейчас что говорят — в то время бы не жили. Начальства боялись. Когда Сталин умер, собрали собрание и всем сообщили почему-то шепотом: "Сталин умер! Сталин умер!" Его даже мертвого боялись. Некоторые плакали, не знали, что же дальше будет, как жизнь дальше пойдет. Местной власти тоже боялись. С властями, председателем никто не ругался, не спорил, так как грозились из колхоза выбросить. А документа

не давали, в город ехать нельзя. И без земли жить невозможно. Все терпели и жили как жилось».

Отцы и дети (поколения 1900 и 1920-х годов) в той ситуации не всегда понимали друг друга. Хотя отцы знали, что и в своей семье надо держать язык за зубами. «Понравилась мне своей яркостью красок картина «Утро», размером 60х30 см. Во весь рост, в парадном маршальском костюме, при всех наградах Сталин, а у ног яркое солнце всходит. Развертываю я эту картину, а отец с полатей: “Смотри-ка, Сталина выше солнца подняли. При царе Николае такого не было”. А ведь тогда еще мое поколение ему так верило» (А.В. Грязин, 1926).

Старики были, конечно, более критичны. В своих суждениях они шли от здравого смысла. «Отношение к Сталину деревенских мужиков было ироническое. Ну, вступать в колхоз? Так, что ли? Когда мне, подростку, доверили, как самому глазастому в деревне, прочитать в районной газете о расстрелянной троцкистско-бухаринской группе, как врагов народа, мужики выслушивали это сообщение с огромным вниманием, ухмыляясь и иронизируя, что, дескать, эти начальники и воевали за советскую власть. В этой далекой-далекой Москве что-то не так. Но и не доверять Сталину ни у кого не было оснований. Был вождь народа, знали. Отношение к Сталину было как к человеку, которого нельзя ослушаться. Все у него категорично, просто, поверхностно. Он приказывает, мы выполняем. Кто его ослушался, тот против его. Я верил, что врагов у нас, если поискать, найдется, но сколько ни присматривался к людям — так ни одного врага и не увидел» (Г.А. Сычев, 1920).

Для поколения 20-х годов XX съезд партии был колоссальным шоком. Часть людей просто отринули от себя его решения, оставшись убежденными сталини-

стами, часть людей пережила тяжелейшую ломку мировоззрения. Чем больше была вера в вождя, тем тяжелее люди переносили крах этой веры.

«Люди верили в Бога, а мы в Сталина! Везде были его портреты. Мы с этим именем росли. Он был живая икона. Нельзя сказать, что разоблачение Сталина было для меня разочарованием. Это был крах! Душа переполнилась гневом. Я даже выкинула медаль и уничтожила удостоверение!» (Ф.Ф. Губанова, 1919).

Во многих наивных и бесхитростных рассказах в отношении к Сталину много здравого смысла, спокойной рассудительности. «Как к Сталину относились? Мы его не видели. Ну, правитель и правитель. Война ведь была. Он ей руководил. Но бывало, что рассказывал народ, так слышно ведь, как он войну вел. Ведь когда трудно-то стало будто бы он кричал: "Братья, сестры, помогите!" По радио што ли. Помер. Так что о нем думать-то сейчас? Прожил век. Помер» (А.В. Сметанина, 1914).

Люди боялись рассуждать даже сами с собой. Критика Сталина замирала у них не на устах, а в мыслях. Матрена Андреевна Кудрявцева (1904) делится своими мыслями: «Правительство было тогда Бог и царь. За Богов их считали. Когда Ленин умер, море слез было. Когда Сталин умер, я тоже плакала, узнала от соседки и бегу домой рассказать, а сама реву в голос. Говорили чего? Жалели их, верили, любили. Вот когда репрессии были, поговаривали, что что-то тут не так, но больше молчали, а верили или не верили, кто знает, не принято было про то вслух говорить».

Многие крестьяне и сегодня сохраняют в глубине души доверие к вождю, помнят, что вера и надежда на Сталина помогла им выстоять в войну. Евдокия Федоровна Филимонова (1914): «Как я отношусь к Сталину? Мы ведь тогда не думали, что кто-то может, окромя

его, быть. Ему и верили, и считали, что так и должно быть. Тяжело было, так всем тяжело. А что сейчас говорят, так вроде и не всему верю. Не мог он один-то натворить так много. Вот и получилось — он сам по себе, мы сами по себе. Но в войну-то все только на него и надеялись, ему только и верили. Вроде как он сам и победил».

Другие только сейчас наконец поверили своим внутренним антипатиям к нему, получили возможность об этом говорить вслух: «Как отношусь к Сталину? Не знаю. Только разболок он всех. В самое голодное время был, да в войну. Отбирал коров, посылал продовольственный отряд. У всех забирали хлеб. Мы ревели, жить-то совсем нечем. Он, говорят, какой-то нерусский был. При Сталине жили очень плохо. Его-то уж никто не похвалит. Всех раздел и разул. Нашто теперь Сталина вспоминать? Все живут хорошо» (Е.К. Просвирякова, 1908).

Многим открыло глаза на мир участие в Великой Отечественной войне. «Помню, целые ряды заключенных во время коллективизации шли по нашей улице в тюрьму. На войне мы, конечно, кричали: “За Родину! За Сталина!”, но все равно доверия не было, потому что мы войну вначале чуть не проиграли. Сейчас я отношусь к Сталину так, как все. Таких бы паразитов не было бы больше над русским народом!» (А.В. Клестов, 1918).

Глава 6.
ОБ АРЕСТАХ

Атмосфера 30–40-х годов непредставима без ночных страхов, полночных арестов и обысков, шушуканий по углам, опасливых разговоров в надежном месте с надежными людьми полушепотом.

Дело ведь даже не в том — сколько миллионов было арестовано: дело было в том, что каждый человек мог быть арестован, независимо от заслуг и должностей. Дело было и в том, что каждый знал, что может быть арестован. Страх уравнял всех. Ощущение, что ты все время на крючке, под колпаком, острее было, конечно в городах. Но и в деревнях бывали случаи, когда машина подъезжала прямо в поле и забирала кого-то из работающих крестьян. Поводом к аресту чаще всего служило слово. Слово неосторожное, неправильно понятое или не так истолкованное. Надо было следить за своими мыслями. «В годы репрессий боялись обронить какое-то слово, боялись друг друга на работе, боялись соседей. Каждое слово взвешивалось. Поэтому, кто приходил из лагеря живым, молчали до самой смерти. Страшные были годы! Дай Бог им никогда не повториться».

Деление по классовому принципу на «чистых» и «нечистых» началось сразу после революции. В 20-е годы оно было законодательно распространено на школу, институты. Люди обрекались на гонения по факту, так сказать, своего происхождения. Атмосфера внутренней борьбы, чисток охватила все и вся к началу 30-х годов. «В 1928 г. началась чистка среди учащихся и учителей школ от "чуждых элементов". В 1929 г. поступила в Вятский пединститут. Чистка "чуждых" и здесь была в самом разгаре. За один 1929/30 учебный год было исключено 250 человек учащихся и многие преподаватели и профессора. Оставляли детей рабочих. Отменены были экзамены, введено бригадное обучение и бригадные зачеты по 6 человек в бригаде. Успеваемость падала. Часто вывешенные объявления внутри института пестрели грамматическими ошибками, которые кто-нибудь ночью подчеркивал красным карандашом» (А.И. Жуйкова, 1904).

В обществе культивируется всеобщая подозрительность. Старая мораль и нравственность, основанные на «чуждых» религиозных нормах, отвергнуты. Как в королевстве кривых зеркал, терялось чувство меры и здравого смысла, все можно было перевернуть. Вот любопытный рассказ школьницы 1937 года Касаткиной Тамары Уваровны (1923): «30-е годы в нашей стране были характерны всеобщей подозрительностью. Например, в рисунках на обложках школьных тетрадей мы, школьники, выискивали какие-то тайные знаки и надписи, которые якобы могли нанести «враги народа». Слова «Ленин» и «Сталин» нельзя было писать с переносом. В 1937 году в журнале «Пионер» была напечатана пионерская игра «Тайна белой ромашки», суть которой заключалась в том, что всем ребятам пишутся письма такого содержания: «Если ты не трус и не боишься опасности и хочешь узнать тайну белой ромашки». Нужно было по определенным знакам идти к определенному месту, где лежала такая же записка, направляющая идти дальше. Все это заканчивалось адресом школы, где прибывшему вручалась конфета «Белая ромашка» и начинались игры и танцы. Мы ухватились за эту идею и решили организовать игру, назвав ее «Тайна черной смородины». Конфет «Белая ромашка» мы в магазине не нашли, купили «Черную смородину». Печатными буквами, чтобы не узнали по почерку (нас было трое ребят) мы написали всем одноклассникам, оставшимся летом в городе, такие письма, послали их по почте, определили маршруты, показали их стрелками на заборах в день встречи купили конфет «Черная смородина» и пошли в школу, чтобы встречать там наших ребят. И вот по дороге в школу нас задержал мужчина, который представился как сотрудник НКВД, и привел нас в комендатуру НКВД, где мы и просидели с полдня. Видимо, пока проверяли наши

личности. Оказалось, что все написанные нами письма изъяты по почте, и вот мы оказались в комендатуре. Когда позднее мы рассказали об этом случае директору школы, тот сказал, что он тоже решил бы, что это собирается тайная организация, 40-е годы — война, она, по-моему, оздоровила атмосферу».

Появилось множество людей, всматривающихся, вглядывающихся, домысливающих, а потом пишущих. В этой атмосфере всеобщего доносительства люди, хоть немного возвышающиеся над средним уровнем по уму, таланту, знаниям, трудолюбию, были обречены. Это была трагедия цвета нации.

«Когда узнали о смерти Ленина, было собрание в Малмыже. До этого Сталина знали как левака. Но сказали, что будет Сталин, так как его уже обработали, рассказали все недочеты. Потом уж изъяли все учебники Зиновьева «История РКП(б)» и Бухарина «История материализма». Очень хорошие учебники были. Об этом думали, что Сталин опять берет влево. И все время я думала, что он левак. Вдруг стали брать тетради учеников. Отбирали, что в рисунках на обложке нашли антипропаганду. Это ввел Ягода, и после этого считалось, что рисунки на тетрадях не нужны. Но я глядела и ничего не видела на рисунках. Говорили, что рисунки надо разгадывать, и поэтому отбирали. Мы думали, что все это Сталин. Затем стали исчезать люди. По ночам ездила машина «черный ворон». Если едет «черный ворон», то опять кого-то заберут. А книги у Сталина были хорошо написаны, ими премировали. Мы знали, что Сталин — соратник Ленина, левак, но и не уважать его не могли. Изучали его работы.

Мой брат был отличник учебы. А умных тогда не любили. Как чистка в институте, так ему говорят, чтоб он уходил из вуза. Как только окончил институт на инженера, послали его в Министерство обороны. А в

ночь на июнь 1941 года в возрасте 26 лет арестовали (проработал всего один год). Осужден брат был на 10 лет без права переписки, а просидел 13 лет. Сначала мы о нем ничего не знали. И только случайно его товарищ по детдому, приехав в Киров на совещание, нам сообщил его местонахождение — лагерь в г. Тавда.

Вернувшись, брат не знал, что была война. Он рассказывал, что в лагере они строили какие-то заграждения. Приехав домой, он не верил, что за ним не следят. Вернулся он весь больной, туберкулез легких, болезнь почек и др. А ведь был до ареста отличным физкультурником, с красивым телосложением. Но не мог без работы жить. Сначала на работу не брали, а потом он устроился на стройку инженером в г. Геленджике (у моей подруги). Ему там климат больше подходил. Дали ему пенсию. После этого прожил еще 8 лет и умер. Все время, пока жил в Геленджике, я его материально поддерживала.

А я замужем не была. Был у меня парень, но когда нужно было ехать знакомиться с его родителями, я не ответила ему на письмо и не поехала. Он снова мне написал, я опять не ответила, потому что в загсе заполнялась анкета, где стоял вопрос: есть ли в родне осужденные (а у меня брат — и таких не расписывали). И только спустя 40 лет я ответила на письмо своего жениха и объяснила ему свое молчание. Ведь я поддерживала связь с братом, пока он еще не был реабилитирован. А это запрещалось. Сейчас он живет тоже один, так и не женился. Я об этом узнала и ему написала» (А.А. Жуйкова, 1904).

Мощнейшим стимулом для написания доносов была зависть. В деревне, где все знали все обо всех, это чувство было более сильным. «Перед войной отца выбрали председателем колхоза. Ему начали завидовать в деревне, не знаю уж почему. Отец повез на фронт ло-

шадей под Старую Руссу. Лошадей нечем было кормить, но ведь отец делал все возможное, но все-таки его потом обвинили, что он привез плохих лошадей. И после этого стали собирать на него данные, что он и в плену в Германии был, якобы ему там хорошо жилось, да где уж там хорошо, если он бежал оттуда. И в 1942 году он был арестован, объявлен врагом народа, сослан в лагерь. Имущество описали, ничего такой громадной семье не осталось. И я свой офицерский паек отправлял родным, вот дома остались 5 сестер и братьев, старшему из них было 15 лет. В 54-м году отца освободили и реабилитировали» (Г.Ф. Мусихин, 1921).

Думается, правы старики, считающие атмосферу нашего времени производной от той эпохи. В нас еще очень много от 30-х годов. «Летом 1934 года была проведена чистка рядов партии. В моей работе придраться было не к чему — работал я неплохо, а придрались к тому, что будто наше хозяйство зажиточное (на 13 человек семьи была молотилка, 2 лошади и 2 коровы), и что я при поступлении в партию скрыл это. На самом деле хозяйство было трудовое и эксплуатацией чужого труда никто не занимался. Три брата и подростком был я могли все делать сами. Я понимал, что это было неладно, так как исключали таких же неплохих партийцев, но согласился на этом, подумав, что можно жить и беспартийным большевиком. С зам. редактора сразу же сняли и поставили в райсовет ОСОАВИАХИМ. Но работать было трудно, потому что я стал чужим для бывших своих товарищей и друзей. Стали меня сторониться, уходить от меня по другой стороне улицы. Этого я терпеть не мог и попросился у руководства ОСОАВИАХИМА перевести меня на работу в другой район. Я выбрал город Халтурин.

С 1934 года, то есть с тех пор как прошла первая чи-

стка партии, люди стали удаляться друг от друга. Если раньше наша семья состояла из 12-13 человек и никогда не бывало ссор, то сейчас не уживаются отец с сыном. Мне кажется теперь, что этот разлад порожден сталинской политикой. Стали подозревать друг друга, не стали говорить открыто, все было засекречено с верхов до низов» (М.А. Крысов, 1909).

Впрочем, многие люди и тогда, как птички божии, старались не задумываться над этими вопросами. Блаженное неведение порой могло спасти. «Знали мы об арестах, но думали, что и вправду есть что-то. Времена суровые», — так думали очень многие. Впрочем, люди, которых коснулась беда, сразу же меняли свои взгляды. Комсомольский активист тех лет Петр Петрович Малых (1917) рассказывает: «А в страхе-то уж это, особенно с 36-го года, все время в страхе. У отца и то сухари насушены были. Тогда ведь приедут ночью, заберут да и все. За все боялись, за все. Тогда в 37-м году написали на дядю и на тестя. Приехали, забрали. Даже свидания не дали. При Сталине весело жилось. Слезами умывались. Миллионы ведь убивали. Из тюрьмы-то чуть живые приезжали. У меня тесть весь в синяках вернулся. Ни за что забрали. Написал кто-то. Я секретарем комсомольской организации был. Меня вызвали и говорят: “Ты не знаешь, что у тебя дядя и тесть враги народа?” Дядя 11 лет отсидел. Тесть сидел 19 месяцев. На пересуд подавали. У него свидетели были».

Люди, получившие хотя бы незначительную власть, в условиях всеобщего произвола получили возможность свести личные счеты. Человек даже на маленькой должности в сельсовете мог обречь своего недруга на изгнание и смерть. Вспоминает Павел Егорович Яковлев (1904), бухгалтер: «В нашей деревне был кулак Репин С.Е., имел отдельный большой участок земли, сам с семьей на нем работал, а когда заготавливали корм

для скота и собирали урожай с полей, он ходил по деревне и заходил в каждый дом или стучал в окно, требовал : «Завтра хозяин этого дома должен со своей семьей выйти ко мне на работу» (на сенокос или уборку хлеба). Так в 1910 году было. Однажды этот Репин заявился к нашему дому и сказал, чтобы все, то есть хозяин и его семья, вышли на работу. Отец категорически отказался. Тогда кулак схватил его за грудь, хотел вытащить в окно, но отец вырвался и ударил его. Урядник Панков (его друг) вел следствие, и на отца возбудили уголовное дело. У Репина родной дядя работал в волости в должности волостного старшины. Отцу дали год тюремного заключения. Кулак поджег наш домишко, а рядом стоял амбар с собранным урожаем, пожаром было все уничтожено. Сгорела у нас и последняя коровенка. Я отлично помню, как мать сидела с нами, троими детьми, под изгородью и смотрела, как все уничтожается пожаром. Затем мы увидели, что плетется наша кобыленка, а на санях лежит весь в крови отец (после суда его отпустили на день домой). Полумертвого мы его внесли в дом соседа, затем он был направлен в больницу, а по выздоровлению — в Сычевскую тюрьму. А мать взяла нас троих маленьких, и ровно два года мы ходили по миру и собирали куски на пропитание. Меня взяла старшая сестра, она работала в швейной мастерской купца по фамилии Лайтус. После XVI съезда партии я немножко проработал в Подвраженском сельсовете и вот тут-то я и расправился с кулаком Репиным (имущество конфисковали, а его сослали на Соловки)».

Поводы к аресту могли быть ничтожными и случайными. Человек часто сам не подозревал — за что? Малейшее неповиновение, ирония, сомнение в правильности указаний руководства любого уровня каралось беспощадно как бунт. «В 1938 году меня взяли в армию. И

я находился в военно-морской пограничной школе. Был у нас такой случай. Шли строевые занятия. Во время перерыва разошлись кто куда. Один курсант пошел в туалет, а бумаги с ним не оказалось. Его товарищ дал ему газету. А на ней был портрет Сталина. Курсант взял газету, посмотрел и говорит: «О, Иосиф Виссарионович! Ну да ничего, надо же чем-то пользоваться». Когда закончились занятия и мы пришли в казарму, его вызвали в штаб и оттуда он больше не вернулся. Нам потом сказали, что это был враг народа. После демобилизации из армии в 1947 году некоторое время я был председателем колхоза. Помню, нас, председателей, вызвали в район для отчета. Колхозы после войны ослабли, народ жил плохо, голодно, ел траву. Вот стал отчитываться один председатель, тоже фронтовик, и сказал, что задание района выполнить не сможет. У него было две лошади всего, урожай немолоченный, а у него забирали этих лошадей на лесозаготовки. А ведь лошади нужны были ему на молотилку, такой был конный привод. Да еще хлебозаготовки вывозить. Поэтому, говорит, лошадей не дам. Председатель райисполкома встал и говорит, что вот это враг народа. Таких врагов народа надо искоренять, чтобы они нам не мешали. Прокурор района взял трубку телефона, сказал, чтобы прислали двух человек. Когда стали выходить в коридор, то увидели, как в кабинет вошли двое милиционеров, пробыли там минуты 2-3 и вышли с этим председателем. Вот тогда я и решил уйти из председателей. Уехал из деревни, поступил на комбинат слесарем, женился» (И.А. Бажин, 1918).

Очень часто слышу рассказы вроде этого: «Имя Сталина стали с боязнью произносить, за любое слово выселяли. Потом стали это диктовать как вредительство. Обстановка была такая, что даже по записке, что такой-то — враг народа, забирали. Живешь и не знаешь — заберут или нет, ночью или днем».

Люди знали о массовых расстрелах. Стремление спрятаться, не выделяться, быть как все — было всеобщим. Борьба с религией велась не теоретически, а физически. «А людей у нас расстреливали! Было. Много расстреливали. Когда мы еще в деревне жили, сосед у нас был хулиган, его потом ночью увезли — и нет его. Священство расстреливали — чудо прямо какое-то! Я еще девкой была — вдруг приехали и батюшку нашего с сыном в Чигирепе расстреляли. После него был отец Василий. Не стал по новому стилю служить — пулю в лоб! Четверых увезли от нас священников, и никто не знает, за что» (З.С. Медведева, 1914).

О тяжелой реальности бытия ничего говорить не следовало, ее нужно было не замечать. Все высказывания должны быть позитивными и оптимистичными. А.Е. Серкина (1910): «Мой отец в 1944 г. был репрессирован за то, что побыв в своей деревне в отпуске и вернувшись назад на завод, рассказал, что пахал дома на бабах землю. Расценили это как «дискредитацию советской власти, дали ему 10 лет. Срок отбыл полностью, вернулся в 1954 г. больным человеком и скоро умер».

М.В. Владимирова (1909): «Боялись что-то сказать. А если кто на кого сердит, пойдет, скажет в органы, и увезут человека. В 1939 году у нас в доме жил сосед один, бывший дьякон, и работал он бухгалтером. А однажды на дворе народу было много, и он вздохнул и сказал: «Да, тяжеловато живется». И кто-то донес. И как-то раз ночью, в два часа, к нам постучались два милиционера и спросили, проживает ли здесь такой-то. Мы сказали — да, проживает. Тогда нас взяли понятыми. Дьякона арестовали, якобы он жалуется на советскую власть. И ни слуху, ни духу больше о нем».

Количество секретных сотрудников (добровольных помощников) было огромным. Они были, судя по рас-

сказам, на каждом предприятии. Отказ стать таким сотрудником был делом рискованным, но, судя по всему, встречался. «У нас в бухгалтерии работал старичок. Однажды из Москвы я привезла снимки политбюро (их дали в нагрузку), все фотографии правительства. И сразу в бухгалтерию. А он прямой такой был, посмотрел и сказал: “Да, видать, что не 400 грамм едят”. А нам тогда по 400 грамм хлеба давали. Тогда в НКВД были завербованные в коллективах люди, которые следили за сослуживцами и доносили на них. И вот одна такая у нас передала эти слова. Старичка забрали, куда-то отправили, и только после войны он пришел. Но до дома не добрался. Вместо Горок вылез в Бурце. Ехали на пароходе. Он поднялся в гору и от переживаний умер. Разрыв сердца! Там вид красивый открывался на наше село. Очень уж хороший был мужик.

Меня тоже вызывали в НКВД. Ногин сказал: “Вы часто бываете в коллективе. Может, будете передавать кто что сказал?” Я ответила: “Нет, я часто бываю в коллективе, но разговоров не слушаю, только заставляю что нужно делать”. А потом они, видно, пригласили эту работницу. Платили ли за это, не знаю» (А.А. Новоселова, 1914).

Поручение следить и доносить о беседах с определенным человеком нередко давалось его друзьям, родным. Ни в ком нельзя быть уверенным. И.В. Киселев (1925): «Да, нельзя было даже зайти погреться, потому что были специальные люди, работой которых была слежка. Они, заметив, что человек отлучился с рабочего места, докладывали куда следует, что грозило провинившемуся потерей заработка, еще хуже — места работы или даже свободы. В то время везде было так, а не иначе. Однажды мой друг признался мне, что имел задание следить за мной, и по окончании командировки, а ездили мы в Москву на ВДНХ с делегацией ра-

ционализаторов, написать о моем поведении подробный отчет. Но, к счастью, это был честный человек, хотя подчинившийся подлости времени. Мне тогда повезло. В то время я еще не полностью осознал, что такие методы были нужны руководству для устрашения. Многие жили в страхе, боялись сказать лишнее, выразить неудовлетворение чем-либо, потому что стены имели уши».

Интересоваться тем, что делается вокруг тебя, не следовало. Комментировать события было еще опаснее. Крамолу можно было найти в самых невинных речах, если хорошо поискать. «Когда я работал уже на заводе в 30-е годы, очень часто, приходя на работу, не видел в цехе одного-двух человек. После выяснялось, что они арестованы. За что и почему, никто не знал и объяснить не мог. Даже интересоваться этим было запрещено. Репрессировали зачастую тех, кто больше боролся за правое дело и высказывал свое мнение, как лучше организовать то или иное дело. Ну а больше всего аресты производились просто за неуместную болтовню, за анекдоты. Помню, работал я на стройке МВД и спросил одного, знал, что он сидит по 58-й статье, за что же он посажен. Он говорит, работал после войны трактористом, а трактор был плохой, чтобы его завести, надо полдня крутить ручку. И он своим товарищам сказал, что на фронте работал на американском тягаче, который заводится от стартера мгновенно, и похвалил эту машину. Ну и дали ему 10 лет, как за выхваление иностранной техники и принижение нашей. Можно привести сотни примеров. При Берии ведь разговаривать двум-трем человекам между собой было опасно, так как каждый пятый или третий был завербован службами госбезопасности агентом-доносчиком. Поэтому и проходили такие массовые репрессии» (И.И. Зорин, 1918).

Эпоха была к юмору, смеху, шутке, острому слову беспощадна. Свободно могли высказывать свои мысли в то время, как некогда при Иване Грозном, юродивые и дураки. Правда, в отличие от XVI века, в 1936 году у дураков тоже требовали справку. К.И. Тарбеева (1909): «Так вот, работал мой муж на электростанции с одним мужиком, не помню уже, как и звали. Так вот, был тот очень грамотный, все газеты читал. А к ним все комиссии разные приезжали. И вот однажды вечером приехали вот такие "толкачи", привезли с собой водки, закуски и позвали выпить с собой мужа моего и вот мужика этого. Ну, они выпили, разговорились. И мужик-то стал над ними издеваться, что это, говорит, вот я в газетах все читаю три большие буквы и одна маленькая ВКП(б), и не знаю, что это такое. Ну, те ему расшифровали, что, дескать, это Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков. А он им и говорит: "А я как ни кручу, ни верчу, у меня все выходит всесоюзное крепостное право большевиков". Его тут же объявили врагом советской власти и забрали в город. Он там прикинулся дурачком, и вот по слабоумию его и отпустили, да еще справку написали. Что он ненормальный-то. Так люди рассказывали, когда шел он по базарной площади, там дети, продавая газеты, кричали: "Вятская правда", а он стал кричать "Вятская кривда". И когда его забрали, он показал свою справку, и его отпустили. Вот так мы и жили молча в то время, боялись слово сказать».

Органы НКВД внушали страх и ужас всему населению. Многие сейчас с уважением вспоминают их: «При жизни Ленина Сталина никто не знал. Когда его избрали генсеком, начали хвалить. Я при нем работал. В управлении. Страх у нас был. Здание НКВД построили в 36-м году. Возле него люди боялись ходить, ходили по другой стороне. Работали день и ночь, мно-

го было врагов у советской власти, шла политическая борьба, с богатыми боролись. Много было тех, кто против советской власти. Хлеб зажимали. Если бы не было НКВД, не удержать бы советскую власть. Когда секретари обкома ходили в НКВД, у них коленки тряслись. Тогда было там очень строго, все боялись. А теперь зато все командуют направо и налево, занимаются там теперь только пьяницами. Тогда все вокруг молчали, никто ничего. За разговоры судили, репрессировали. Безобразие это, конечно, было» (С.А. Перминов, 1908).

Нам сегодня трудно даже представить меру того страха, его качество, что ли. Это был Великий Страх, повседневный. Изматывающий. Не случайно многие чуть ли не с облегчением встречали свой долгожданный арест. Но и в НКВД работали люди. Видимо, порой с ними можно было договориться (если повод был незначительным). Но и мера ненависти к ним была велика: «Раньше, конечно, Сталин для каждого человека — это как отец родной. С таким уважением, трепетом относились и некоторые вместо иконы вешали, боготворили. Вот какое отношение было. И боялись: за 5 минут судили, 30-е годы — это смутное время было. От родителей помню, боялись уже слово сказать, боялись где-то собираться, ничего лишнего не говорили. В 30-е перед самой войной хватали на ходу. Я была свидетелем, как отца у меня чуть не упекли за частушку. Все продал, приехал голый. Ни сесть, ни лечь — ничего нет, и спел частушку. Спел и все, а ведь частушка-то к Сталину не относилась. Его бы расстреляли. Маму тоже. Если кто ночует из деревни, вызывают — кто да что. Ведь вверху жил над нами из «серого дома», так вот, как мы ему смерти просили! Скольких он упек! Когда уж война кончилась, все на реку ездили на лодках кататься. И он, видимо, со своей организацией из

«серого дома» ездил по реке на лодке, лодка перевернулась, и он на реке тонул. Все видели, а его никто не спас. И после войны не поймешь, что было. Почему в плену был? Да ведь он, может, раненый был, может, оглушило его, как он? Вспоминаешь, и волосы дыбом встают, вот какое время было!» (З.И. Чарушина, 1928).

Люди, наделенные властью, сами чувствовали себя на плахе. Психология временщиков, уверенности, что все можно решить силой, чувство зыбкости, ирреальности происходящего — «или пан, или пропал» — сильно влияло на их решения. «Бери сам, пока не взяли тебя!» — такой метод применяли многие.

«После фронта снова работал на заводе, меня приняли в члены партии в 1941 г. Работали тогда разные политические кружки. Мы углубленно изучали «Краткий курс истории ВКП(б)». Занимался я в кружке атеиста. В то время религия, колдовство и другие причуды людей были зажаты. Их просто не признавали, они находились в подполье. Например, за пропаганду евангелизма один из моих знакомых был осужден на 10 лет. А ведь он всего лишь предоставлял свой дом для собраний их секты. Все же аресты и расстрелы не прошли даром для нашей страны. В свое время был знаком с девушкой. А она была секретаршей первого секретаря Кировского обкома партии Столяра. Так она рассказывала: после каждого крупного партийного совещания, даже не после совещания, а прямо на нем арестовывали и выводили некоторых партийных руководителей. И помню такое указание — каждый рабочий должен подписаться на облигации на 120% от среднего месячного заработка. Не меньше, и никаких гвоздей! Иначе вооруженная охрана не выпускала рабочих с территории цеха домой. Кроме того, партийные работники, наделенные властью, употребляли ее не совсем правильно. Тот же Столяр, вернее, по его лично-

му указанию был разрушен ряд церквей. А ведь они были красавицами. Взрывали их на кирпич, но этот кирпич на строительство употребить не удалось, строили тогда не так, как сейчас. Столяр был в дальнейшем расстрелян по указанию Сталина как враг народа. Но нужно отдать ему должное — партийцем он был сильным. А церкви все равно жаль» (А.С. Паршаков, 1912).

Человеческие чувства: жалость, сострадание, доброту — на любой должности следовало отринуть. Они мешали службе. Только приказ сверху мог быть мотивом всех действий работника. Здравый смысл в спорной ситуации тоже мешал: «Был у нас такой случай. Женщина, ответственная за хранение зерна, раздала его понемногу бедным многодетным семьям. Так ее на другой день увезли, посадили на 5 лет. Таких случаев было немало. В деревнях шпионили тайные агенты, они следили за всеми этими делами и, проведав, сразу сообщали в милицию».

Опасно было доверять и близким родственникам, семье. Особенно ненадежны были дети. По искренности и доверчивости своей они могли быть использованы как угодно. Александр Степанович Юферев (1917) помнит: «А раньше и слово-то лишнее боялись болтнуть. Болтнешь не то, и уведут тебя Бог знает куда. Случай у нас такой был. Сын Константина Мельника дядю на 5 лет посадил. Да и было за что, а то за такое слово, что Ленин лучше был, чем Сталин. Увезли его, не знаю куда, и сейчас Бог только ведает, где он».

О лагерях рассказывали шепотом и только людям, которых хорошо знали. Но ведь лагеря располагались зачастую недалеко от населенных пунктов. Поэтому, что такое лагерь, знали многие. «С юга на телегах везли раскулаченных в лес — туда, где сейчас первый поселок. Там в лесу и высадили. Много народу тогда по-

гибло. Особенно детей, ведь глушь у нас была. Вначале они в землянках жили. Потом расчистили пашню, кто жив остался. Они ведь тружениками были, снова стали жить хорошо. Там и немцы были, и украинцы. Да, наделали тогда делов. Кого в тюрьму, кого на поселение. А у власти в Кирсе-то ведь тогда неученые были. Много людей напрасно сгубили. Нам ведь тогда ничего не говорили, ничего мы не знали. Страшно было! Так же и о Сталине мало что знали. Муж мой сильно его не любил. А сказать в открытую нельзя было, особенно после войны. В войну-то ведь за катушку ниток или за опоздание на работу в тюрьму садили. Лагерей вокруг Кирса уйма была. И все заключенные там сидели. На 132-м километре западнее Кирса ужас что было! Много их умерло там от голода. Страшно и подумать. После войны-то садили в тюрьму всякого, кто вздумал что-то неладное сказать. Все и боялись. Больно много таких людей невинных загубили. Басурман он!» (А.В. Осколкова, 1904).

Немногие сегодня связывают свой страх и ужас тех лет, полную беспомощность и беззашитность человека перед лицом свирепого людоедского государства с советской властью. В.И. Перминов (1908, крестьянин) один из этих немногих: «А при советской власти все под страхом жили. Когда в Кирове работал на заводе, мальчик детдомовский сказал, что все равно Германия нападет. А начальник наш говорит: “Молись Богу, что ты из детдома, а то бы посадил”. Раньше про Сталина сказать было ничего нельзя, сразу посадят. Когда работал в Соликамске в шахте, видел там политических заключенных. Они жили в общежитии, в большом зале. Я сказал тогда машинисту: “За что это так много людей сослали?” А он мне ответил: “Это еще что?! Я целыми составами в Сибирь возил”. От человека тогда ничего не зависело, что хотели, то и делали власти».

Подневольным, крепостным был труд не только крестьян, но и рабочих, жестко привязанных к своему предприятию, лишенных возможности перехода на другой завод, находившихся под угрозой суда за 20-минутное опоздание. «В 40-м году вышел правительственный указ — за опоздание на 20 минут судили и давали принудительные работы сроком на полгода. Я сама судимая. Не хватало рабочих рук на предприятии — меня послали в кожзавод помочь. Я отработала там в ночную смену, кончила рано утром, как раз надо было снова начинать смену уже на своем месте. После ночной смены устала, замешкалась и опоздала на несколько минут. Под горой, на Вокзальной, было здание нарсуда. Меня туда вызвали. Идти я очень боялась, но что делать. Долго со мной не церемонились. Спросили фамилию, имя, спросили: «Опоздала?» Я говорю: «Да». Меня осудили на 6 месяцев принудиловки с вычетом 25% из зарплаты. Ой, ты, пожалуй, не записывай это, а то могут приехать за мной. Заберут еще старую! Ведь это все ненадолго. У Горбачева голова не выдержит, и это все кончится. Я уж все газеты с теперешними статьями припрятала» (А.О. Вершинина, 1921).

Но, несмотря на все это, а в какой-то мере и благодаря всему этому, отношение простого народа к правительству, партии, Сталину было положительным.

«На одной из станций в Сибири (1943 год) наш вагон оказался против вагона с заключенными, как они надрывно кричали нам, повисая на решетке железной небольшого окна: “Не верьте Сталину, он предал революцию! Это мы делали революцию! Сталин уничтожает честных людей”. Как вспомню этот вечер морозный, так и дрожь пробегает по коже. Такое мне слышать не приходилось до этого» (А.В. Грязин, 1926).

Положительно относились к Сталину и многие

спецпереселенцы, изгнанные из родных мест. Вот рассказ одной жительницы такого поселка: «Мы считались как заключенные. Шла война уже, а с нас все вычитали 15%. Паспорта были временные, на ограниченную территорию. Нельзя было выйти за определенную границу. Если нарушишь, то 5 дней ареста давали. Отменили после войны временные паспорта, дали настоящие. Мужиков всех на войну забрали, а с баб все 15% вычитали. Еще помню, мама приехала в 1930 г. на завод вольнонаемной, так нельзя было уйти к матери. Бегала тайком. Даже родишь ребенка — регистрация в комендатуре. Тяжело, тяжело досталось. Про Сталина сказать ничего нельзя было. Ничего не знали. Никто не бунтовал. Учиться не разрешали. Отношение к Сталину у всех было хорошее. Кто его знает?! Неграмотные были» (Е.С. Пирогова, 1913).

Массовые репрессии в армии вспоминают с нескрываемым ужасом. Федор Петрович Дмитренко (1913) рассказывает: «Наступило страшное время. Начались сплошные аресты. Мы узнали об аресте командарма 1 ранга — четыре ромба — Якира. Я его видел однажды. Проводили стрельбы. Он на них присутствовал. Объявил всем благодарность. Верили ли, что враг? Трудно сказать. Приводились ведь всякие доводы. Время было такое. В полку было арестовано пятнадцать офицеров: начальников штабов, командиров батарей. Каждый вечер партийное собрание. С трибуны говорили: “Ищите врагов среди себя! Пишите все про всех!” Писали! А как же?»

Слепая вера в вождя была спасительна в тех условиях: «Безоговорочно верили всему, шло это от Кремля. Мой муж с 30-х годов в штабе при колонии. Конечно, многое пришлось слышать. Но даже в мыслях не было какого-нибудь сомнения в политике нашей партии. Кино, книги — все говорило об этом. Когда объявля-

ли очередных врагов народа, ставили кресты черным карандашом на их портретах. И сейчас много есть книг дома, где перекрещены Блюхер, Бухарин, Зиновьев да много других. Свято верили Сталину и обвиняли Ежова, Ягоду. При этих именах просто трепетали от страха и, когда их разоблачили, Сталину еще больше поверили. Из наших близких два человека исчезли без всяких следов. Муж мало что рассказывал, тогда ведь такого судачества о политике не было, как сейчас. Анекдотов не рассказывали» (А.И. Бояринцева, 1911).

Крайне невысок был образовательный уровень и тех, кто судил. Сложная процедура судопроизводства была им просто непосильна. Кроме того, они были послушнее, меньше рассуждая. Клавдия Ильинична Енина (1906) работала в этой системе: «Я год училась, но, когда обгорели, я уже больше учиться не смогла. У моего мужа товарищ работал народным судьей. Тогда с тремя классами работали судьями и прокурорами. Меня взяли работать в народный суд делопроизводителем. Писала повестки, заводила и оформляла дела, делала всякие подшивки документов».

Сегодня очень многие связывают с террором тех лет снижение интеллектуального потенциала народа, утрату многих нравственных устоев. «Время было тяжелое. Сколько умных людей-то было, так ведь рта не давали раскрыть. Вот, к примеру, на заем подписывались, так попробуй-ка откажись, сразу расправу найдут. Проходимцам в то время волю дали, а умных-то людей топили. Помню, жили в Миассе, сколько там людей в ссылке отбывало. А за что же их выслали, чего же они худого сделали?

Много бед натворили, ничего не скажешь. Все церкви нехристи разрушили, а нельзя людям без веры. У нас, милый, 30 церквей было, красота-то какая. Так ведь все как косой скосили. Зачем же рушить-то было?

Нельзя людям без красоты, она силу дает» (А.П. Новоселова, 1917).

А вот рассуждения сельского учителя В.М. Мазеева (1919) о пережитом и испытанном: «В 50-е годы при Сталине продолжались репрессии, особенно против интеллигенции. А чего мне бояться, ведь я не был евреем. Тогда в основном уже против евреев, а с другой стороны коснулись политической интеллигенции — это секретари обкомов, райкомов. А простых не трогали. Тут и так было достаточно, особенно с военнопленными. Был в плену — еще 10 лет отсиди! В 57-м году они стали возвращаться, да и то сколько лет их таскали по ночам на допросы, работать не разрешали, никуда не принимали. В плену был, дескать. А немцы ничего. Они большими партиями были в поселениях, некоторые обустраивались, оставались. Сначала они были под конвоем, потом и конвой сняли с них. Вообще-то, лучше жили, чем наши, которые в плену побывали и в лагерях были. Конец 50-х — стало полегче, когда Хрущев стал производить перестройку. Колхозы хоть паспорта стали выдавать да налоги отменили. Полегче стало. Они хоть людьми, как паспорт стал, считаться начали, а то без паспортов до этого жили. Кто они, что они — никто не знал. Колхозник — и все. Чтобы ему выбраться из этого колхоза, его должен колхоз отпустить, выдать ему справку, что он освобожден от колхоза. В 40-е годы в основном из пленных брали. Горибанов потом вернулся, Малинин вернулся из лагерей. Ну что они рассказывают? Сначала они ничего не рассказывали, нельзя было рассказывать. Сейчас рассказывают. Издевались, конечно, здорово. И били, и голодом морили. Они ведь ни за что сидели, безвинные люди. Другое дело — он сам в плен сдался, это одно; а если его пленили без сознания, или группа, целое подразделение попадали в плен. Были особые

части, которые гнали на передовую, отступавших на месте прямо расстреливали. Идет наступающее подразделение, а сзади та часть, значит — готов, прикончат. Писали только про немцев, что у них такое есть. У нас тоже были особые части, которые наводили порядок. Как скот гнали на бойню.

Наш русский народ — он, в общем, добрый и отзывчивый. Но это начинает утрачиваться. Нравственная-то сторона утеряна. Ведь эти убийцы, ведь они не только уничтожали людей, ведь они убийцы, потому что нравственно убили человека. Попробуй-ка, восстанови это самое милосердие. Душу, душу человека убили. В 30–40-е убивали, особенно в последние 20-30 лет направленно убивали. Это самое страшное. Как говорят, деньги потерял — ничего не потерял, здоровье потерял — половину потерял, веру потерял — все потерял. Вот эту веру люди и потеряли. Я бы сказал, гуманнее, нежнее в наше время друг к другу относились, или нам так кажется, старикам, которые любят побрюзжать. Все не по-нашему».

В страшных испытаниях XX века личность в советской России оказалась один на один с колоссально возросшей страшной мощью государственной власти. Дегуманизация культуры, человека, раскрестьянивание России. Об этом можно и должно говорить. И мы сегодня отчетливо представляем, что возрождение нации как духовной общности людей возможно лишь на фундаменте русской народной культуры прошедших столетий.

ИСКУССТВО ЖИТЬ

Мы не просто живем на костях предшествующих поколений — мы живем их достижениями и неудачами, повторяем их ошибки, наследуем великую культуру не как готовое к употреблению блюдо, как процесс его приготовления. Многие десятки предыдущих поколений россиян дышат нам в затылок. Традиции, созданные за века и десятилетия (в том числе и традиция внезапного сокрушения вчерашних идолов), работают и сегодня. Лишь на первый взгляд мы вольны в своих решениях. Но даже наше безумство, буйно проросшее ныне, некогда упало в землю со спелого колоса и долго ждало своего часа.

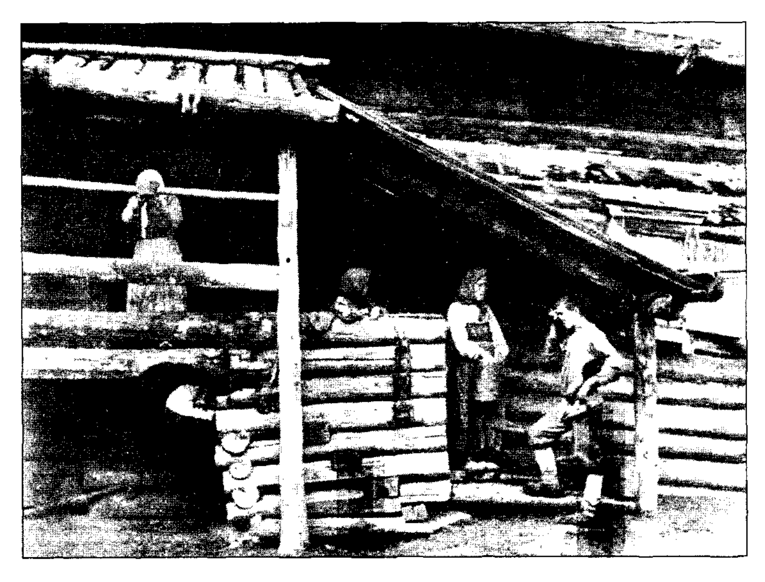
Да, Россия в XX веке раскрестьянилась. Ушел в прошлое самый многочисленный, да и самый культуроносный слой великой страны. Но, растворившись во времени и грандиозных коллизиях, войнах век, крестьянство осталось в нас, в каждой клеточке нашего организма. Мы созданы предшествующими поколениями — теми, кто пахал, и теми, кто за ними присматривал, теми, кого сажали, и теми, кто сажал. Опыт любой цивилизации драгоценен. Но опыт тысячелетней крестьянской цивилизации в России необходим нам сегодня, чтобы выжить, создать равновесное общество, не погибнуть в тупике истории. Духовность нашего народа —это

наш великий вклад в мировую культуру. Искусство жизни нации опирается на умение жить каждого рядового члена общества. В крестьянской России был создан отшлифованный до блеска во всех многообразных вариантах судьбы эталон жизни человека (крестьянина в первую очередь). Заметим, эталон с замечательными морально-нравственными устоями. Жизнь прошлых поколений в рассказах стариков раскрывается перед нами не как процесс безумной гонки или восхождения на тернистую и бесплодную вершину, а как возвращение путешественника в родные места. Все здесь ему знакомо, но радость встречи от этого двойная. Мы видим, что прошлое общество умело быть счастливым, несмотря ни на что. Мера счастья, радости и любви в нем была ничуть не меньше, чем сейчас. А по некоторым качественным сторонам жизнь этих поколений была выше, чем наша. Жизнь каждого отдельного человека выстраивалась по рецептам, апробированным веками, создавалась, как драгоценная чаша.

Строй, лад жизни русского крестьянина — это и сегодня величайшая духовная ценность нации. Что же с нами произошло? Наша книга не дает прямого ответа на этот вопрос. История задает вопросы, а отвечаем на них мы с вами. Если нам это посильно.



С.А. Лобовиков. Цикл «Русское крестьянство», 1900-е гг.
Хозяин в поле



С.А. Лобовиков
Рубленое крыльцо



С.А. Лобовиков

В дороге



С.А. Лобовиков

На базар



С.А. Лобовиков
Старый да малый



С.А. Лобовиков

В красном углу



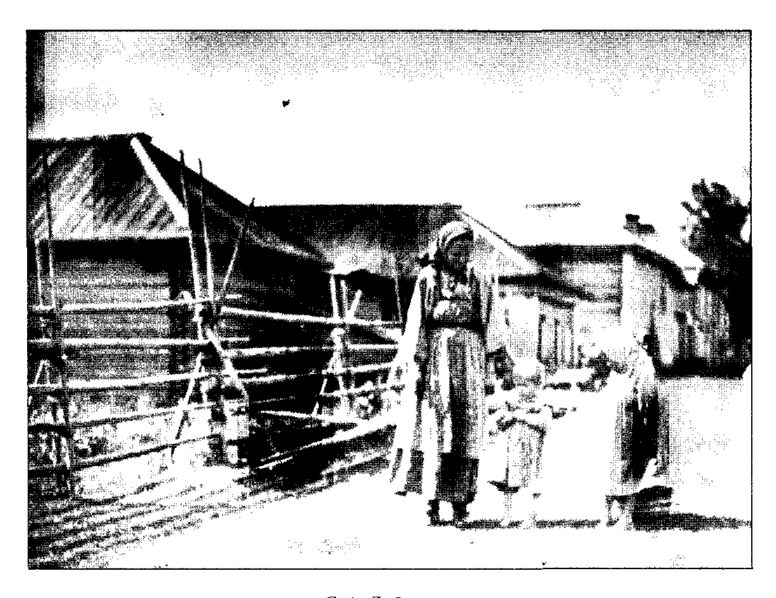
С.А. Лобовиков
Нянюшка



С.А. Лобовиков
Открытое окошко



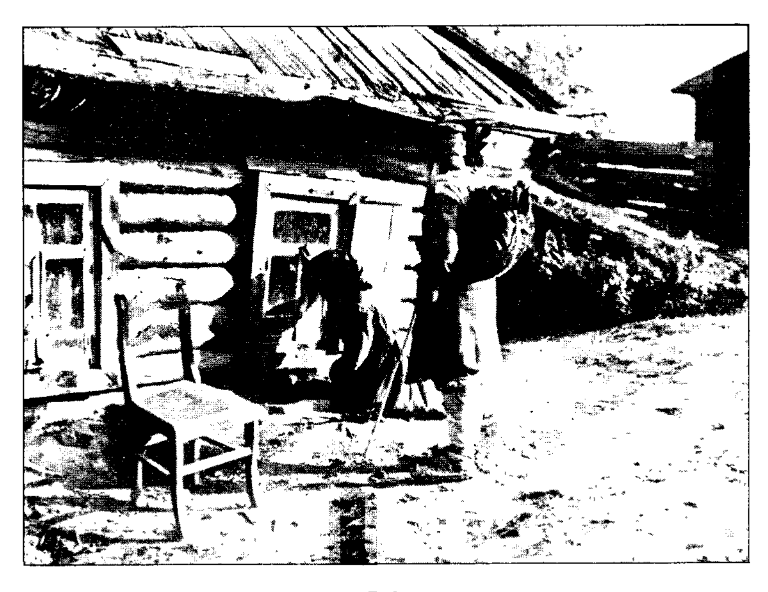
С.А. Лобовиков
Парное молоко



С.А. Лобовиков
Деревенская улица



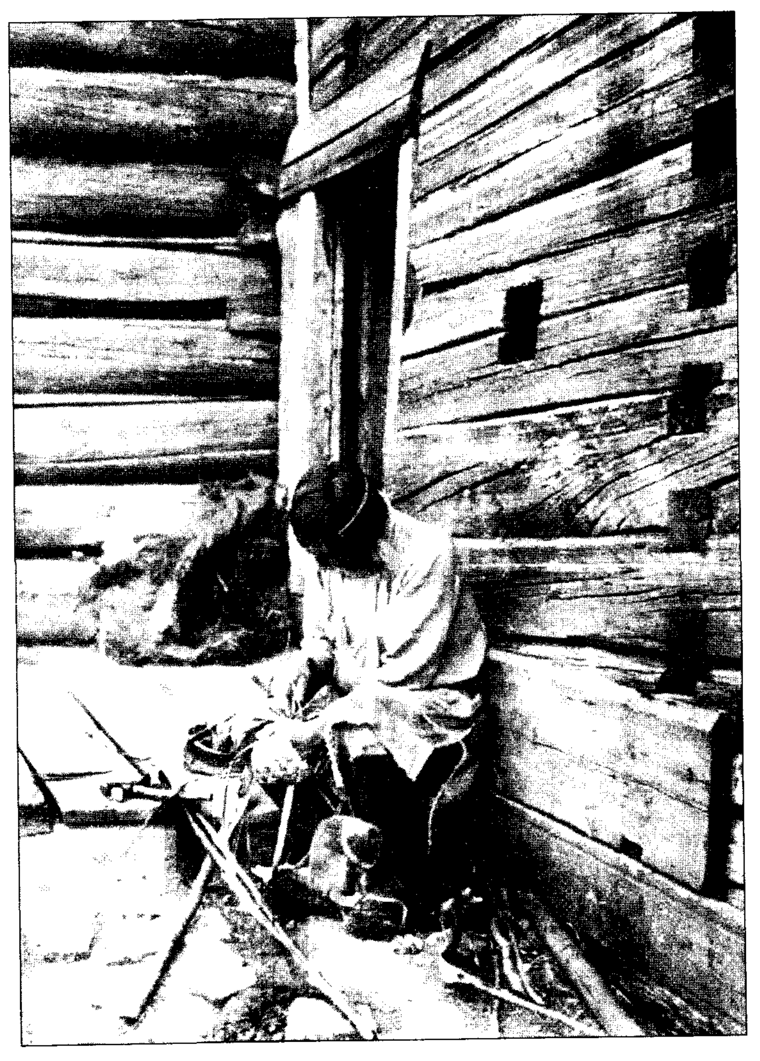
С.А. Лобовиков
Подружки



С.А. Лобовиков
Подайте Христа ради



С.А. Лобовиков
Деревенская беседа



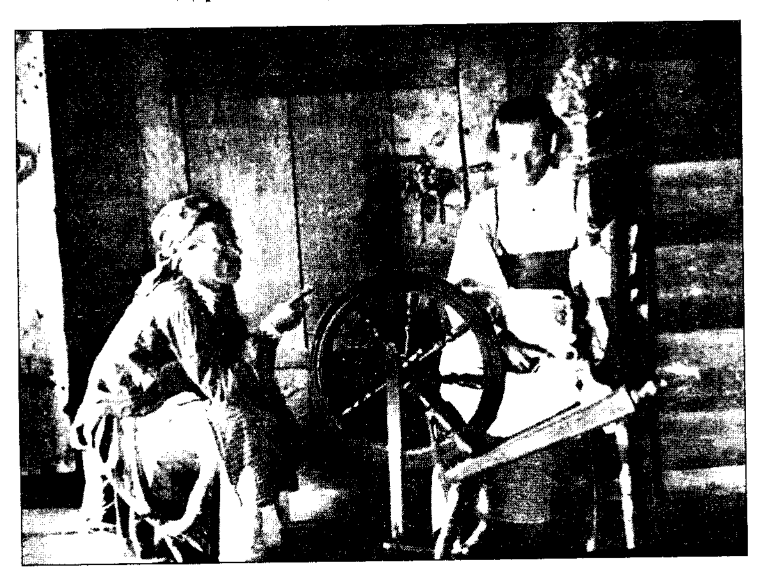
С.А. Лобовиков
Плетет лапти



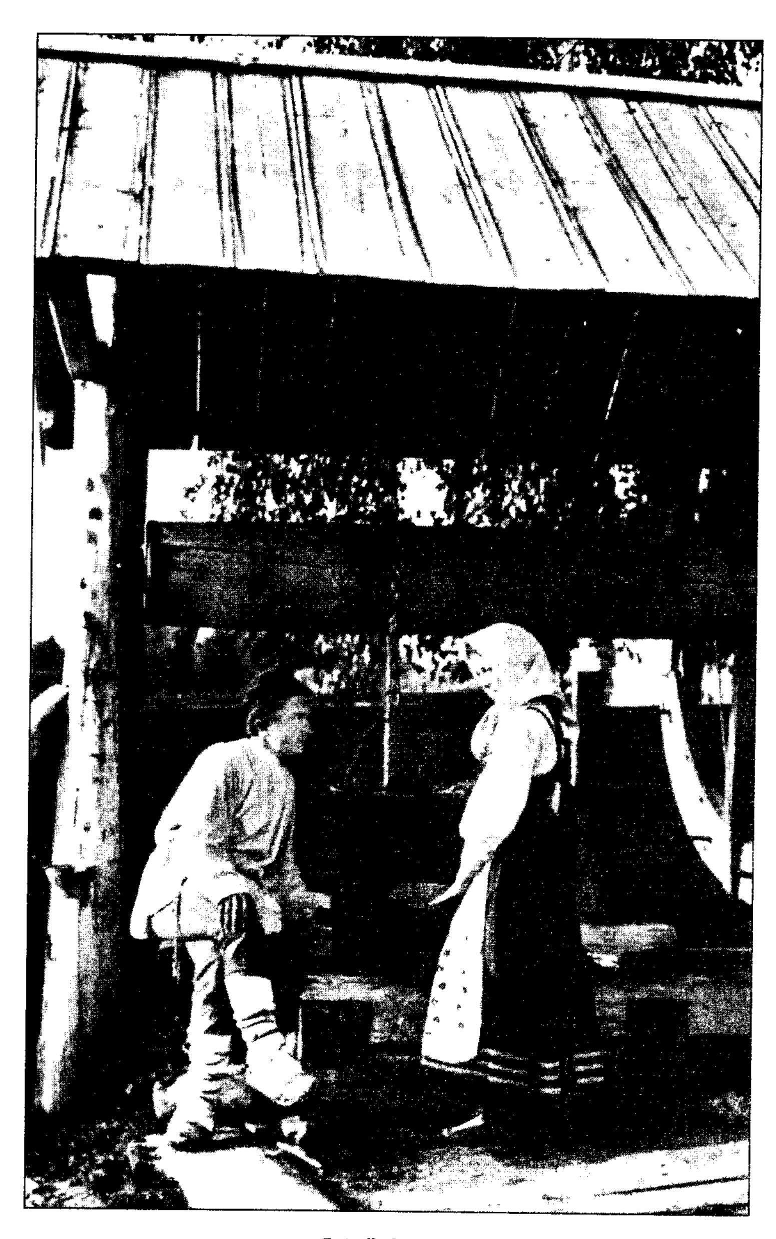
С.А. Лобовиков
В 1914 году. Вести с войны



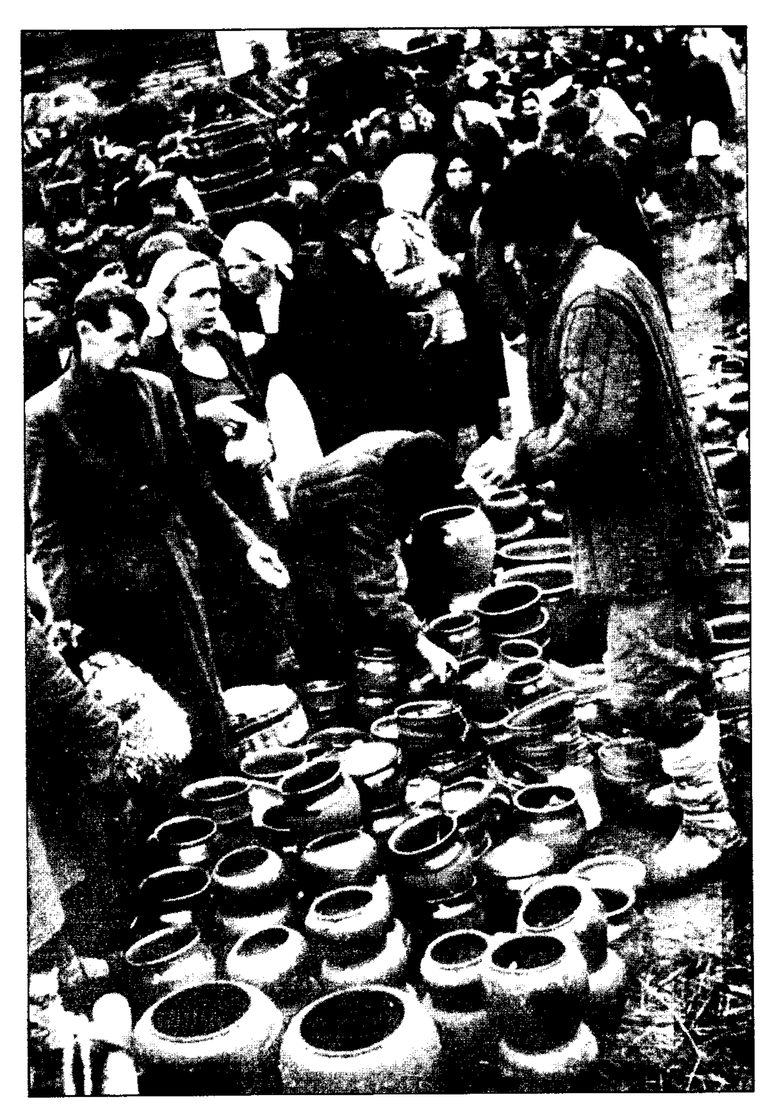
С.А. Лобовиков
Деревенские красавицы. 1914-1916 гг.



С.А. Лобовиков
Сваха



С.А. Лобовиков
Разговор у колодца



Л.А. Шишкин
Базар в райцентре. 1946 г.



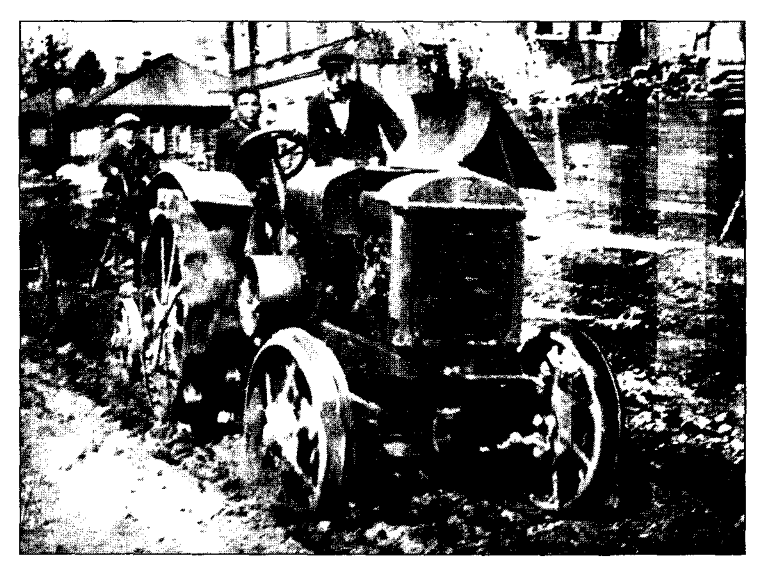
Л.А. Шишкин
г. Вятка. Первый детский сад. 1932 г.



Л.А. Шишкин
Сено государству. Коллективизация



Л.А. Шишкин
Дорожные работы. 1933 г.

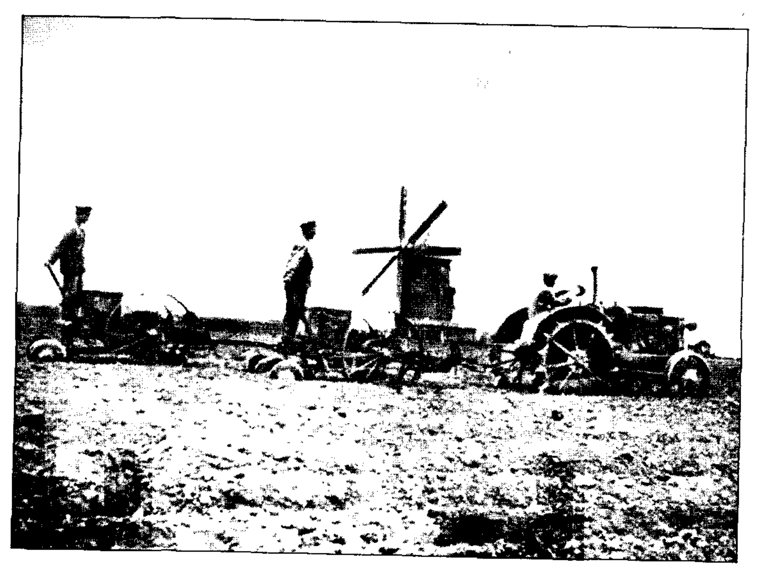


Л.А. Шишкин
Первый фордзон. 1932 г.



Л.А. Шишкин

Грузчики парохода «Плеханов». Вятское пароходство. 1942 г.



Л.А. Шишкин

Сев в поле возле ветряной мельницы. 1948 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 3. КРЕСТЬЯНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Глава 4. ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ

Глава 5. ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ

Глава 6. СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

Глава 7. О СМЕРТНОМ ЧАСЕ